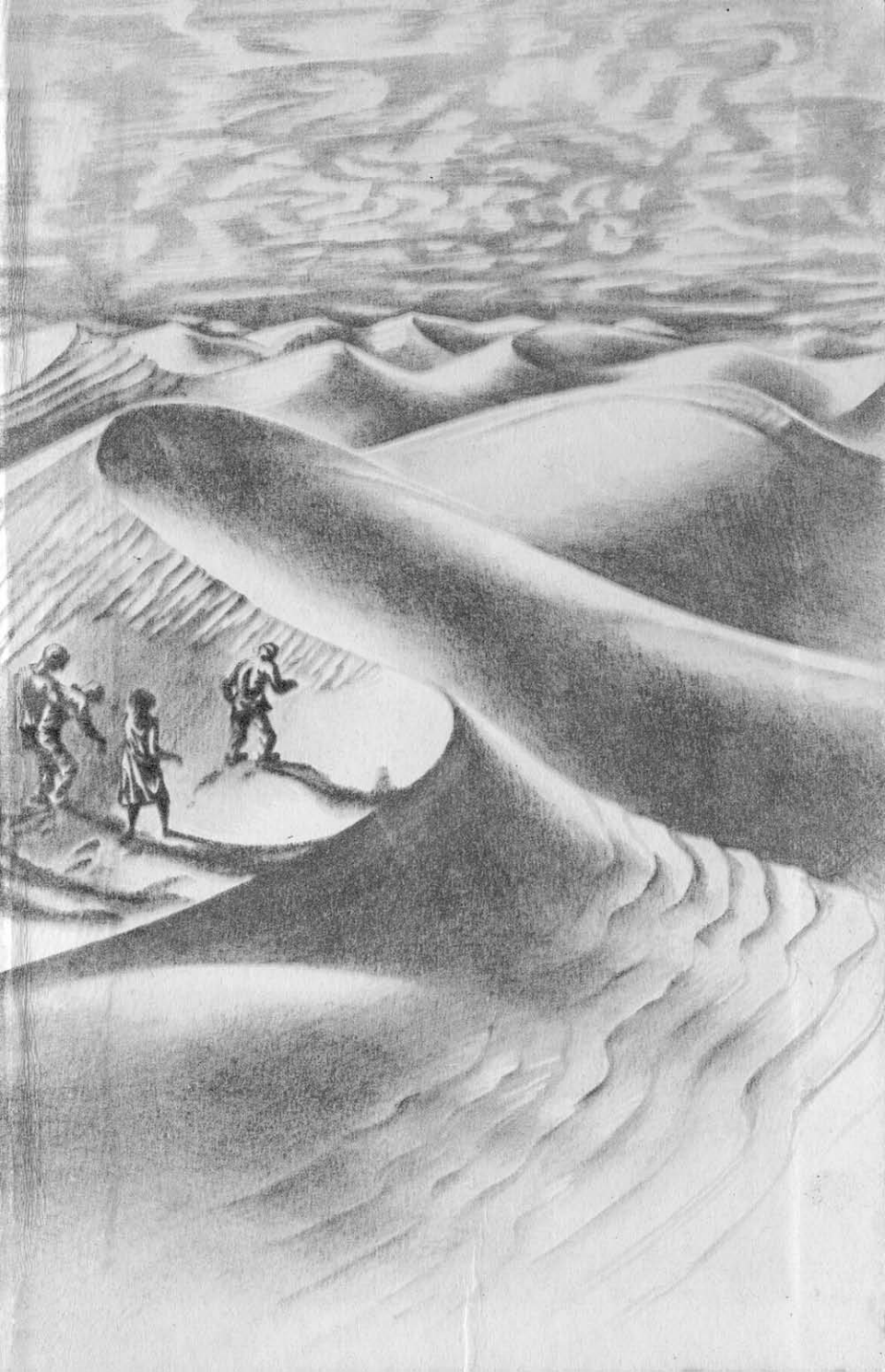




СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ
ТРИ ШАГА
К ОПАСНОСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







**БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**



МОСКВА ~ 1969

Север Гансовский



ТРИ ШАГА К ОПАСНОСТИ

*Научно-фантастические
рассказы*

РИСУНКИ
С. МУХИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Человек и машина, человек и его отношения с техникой — главная тема вошедших в книгу рассказов. Удастся ли нам когда-нибудь без специальных приспособлений летать по воздуху, сможем ли мы существовать под водой, не пользуясь ни аквалангом, ни водолазным костюмом, сумеет ли человечество, отказавшись от ночного освещения жилищ и городов, заменить его собственным «внутренним светом»?.. Сегодня мы склонны ответить на эти вопросы отрицательно, но писатель-фантаст последовательно проводит мысль о том, что до сих пор нам неизвестны колоссальные возможности, тающиеся в человеческом организме, что эти силы неисчерпаемы и ждут лишь смелых исследователей, чтобы быть поставленными на службу обществу. Что машина и большинство других технических устройств являются лишь слабым осколком того, что уже заложено в человеке.



МЕЧТА

В Ялте, в доме отдыха, на веранде сидели несколько человек и разговаривали. Там были Биолог, Физик, Техник, Медик, Поэт и еще один отдыхающий, которого все в доме сначала приняли было тоже за поэта, но который оказался Строителем.

Вечерело. Дневная жара спала. Внизу, под верандой, волны на пляже медлительно таскали взад и вперед шуршащую гальку.

Биолог сказал:

— Вот именно. Я согласен с тем, что в науке происходит переворот. Но какой? В чем он заключается? Откуда нам ждать самых поразительных открытий, с какой стороны? В последнее время говорят, что наименее изученной областью на земле является сама Земля, вернее, ее внутреннее устройство. И в самом деле, космонавты уже поднялись в космос на высоту в триста тысяч метров, а внутри Земли никто еще не опускался глубже чем на два с половиной километра. Мы даже не знаем сегодня, что же скрывается за таинственной «границей Мохоровичича».

Он посмотрел на Физика, ища подтверждение своим словам, но тот молчал. Биолог продолжал:

— Но вместе с тем это и не совсем так. Я думаю, великие открытия придут не отсюда. По-моему, самым неисследованным феноменом на Земле и самым перспективным является тот, который исследовался больше всего: сам Человек. Его способности, его возможности... Действительно, что такое мысль? Что такое мечта? Что такое воля? До сих пор мы отступаем перед этими вопросами. Мы прячемся за формулировками, которые скорее можно назвать отговорками, чем ответами. «Мышление есть продукт особым образом организованной материи». Этим можно было удовлетворяться сто лет назад. Продукт!

Биолог оглядел всех. На миг ему показалось, что Строитель хочет что-то сказать. Но Строитель чуть заметно покачал головой.

Наступило молчание. Потом заговорил Техник:

— По-моему, мы отклонились. Речь идет не о предмете исследования, а о сущности современного переворота в науке. Я считаю, что главное, что сейчас происходит в науке,— это ее, так сказать, промышленнизация. Базой научного исследования становится не лаборатория, а цех...

— Индустриализация,— прервал его Физик.

— Что вы сказали? — спросил Техник.

— Я сказал, не промышленнизация, а индустриализация.

— Да, пожалуй,— согласился Техник.— Я имею в виду

ту роль, которую играет теперь инженерное оборудование эксперимента. Сейчас невозможно исследовать без сложнейших приборов и устройств. Раньше это существовало отдельно: ученый и инженер. Эдисон совсем не знал современной ему науки, а тогдашние ученые были далеки от техники. Теперь не так. И это самое важное. Именно здесь перспектива.

Все помолчали, и Биолог опять посмотрел на Физика.

— А вы как думаете?

— Я? — Физик задумался на миг. — Та же мысль, — он кивнул Технику, — но в другом ракурсе. Я бы назвал современный процесс не индустриализацией науки, а онаучиванием индустрии. Вы понимаете, наоборот. Большинство крупнейших достижений в промышленности пришло в нее сейчас именно из науки. Кибернетические автоматы, полупроводники, полимеры — все было сначала разработано в теории. Одним словом, наука приобретает теперь преобразующую роль в народном хозяйстве. И благодаря этому — в жизни общества.

Тут Поэт беспокойно задвинулся в своем кресле, и все посмотрели на него.

— Не знаю, не знаю, — сказал он и покачал седеющей головой. — Наука приобретает преобразующую роль в жизни общества. Сомнительно... Конечно, я дилетант, но хочу попросить вас взглянуть на вопрос с другой точки зрения. Недавно я вернулся из поездки по Германии, побывал там в Бухенвальде. Хотя прошло уже почти двадцать лет со времени тех страшных преступлений, все равно душит гнев, когда смотришь на эти бараки и колючую проволоку. А ведь в гитлеровской Германии наука была развита высоко по тем временам. Понимаете, что я хочу сказать?.. В прошлом веке ученый обязательно считался благодетелем рода человеческого. Автоматически. Пастер, Кох, Менделеев... От ученых ждали только хорошего, и их любили все. А теперь?.. Я считаю, что если первая половина XX века с ее газовыми камерами и Хиросимой и научила нас чему-нибудь, так это тому, что наука одна как таковая бессильна разрешить проблемы, стоящие перед человечеством. Это парадокс: чем сильнее ослепляют нас поразительные успехи знания, тем больше надежды мы возлагаем на те уголки человеческого сердца, которые заняты не наукой, а добротой, любовью, гуманностью. Не

будем лицемерить: каждому из нас известно, что много людей теперь попросту боится дальнейшего прогресса науки. Они опасаются, что какой-нибудь маньяк там, за океаном, изобретет новую бомбу, способную целиком уничтожить всю солнечную систему. Да что там говорить! Признаюсь откровенно, когда я читаю в газетных статьях о кибернетических автоматах, которые, по мысли некоторых ученых, должны в недалеком будущем заменить нас, когда я слышу этот похоронный звон над человечеством, мне самому хочется приказать науке: «Хватит! Дай нам передохнуть, оглядеться. Остановись!»

Он замолчал, покраснел и стал закуривать папиросу.

Наступила пауза.

— Она не остановится,— сказал Биолог,— это исключено.— Он оглядел всех сидевших на веранде.— Но мы, кажется, опять ушли от темы — будущее науки. И вместе с тем то, что вы говорите,— он кивнул Поэту,— льет воду на мою мельницу.— Он задумался.— Человек... Вы замечаете, что те, кто говорит об этих кибернетических автоматах, молчаливо предполагают, будто о Человеке нам известно все. Но они ошибаются. Они исходят из неправильной предпосылки. В действительности мы еще почти ничего не знаем о Человеке, именно как о Человеке — члене общества. Вот вы Врач.— Он повернулся к Медiku.— Я убежден, в вашей практике бывали случаи, которым вы не могли найти решительно никакого объяснения.

— Бесспорно,— сказал Медик. Он встал и прошелся по веранде.— Я как раз хотел сказать об этом. Не зная Человека, говорят, что машина превзойдет его. Но превзойдет что или, вернее, кого?.. Вчера мы узнали, что Человек может видеть кончиками пальцев: ведь это в течение тысячелетий не приходило нам в голову. А что мы узнаем завтра?.. Две недели назад приятель привез мне из Индии фотографии. Факир привязывает к ресницам гирию в два килограмма и силой век поднимает ее. Или вторая серия фотографий. Перед факиром насыпают дорожку из горящих, добела раскаленных углей. Он снимает обувь, босиком идет по этой дорожке, а потом специальная комиссия осматривает его ступни и не находит никаких следов ожога. Что это? Какими резервами обладает организм, чтобы достигнуть такого? Причем интересно, что сам факир ничего не может объяснить. Ему известно только, что он

знал, что не будет обожжен... Да что там факиры! Во время Отечественной войны я был начальником госпиталя. Тысячи раненых прошли через руки моих коллег и мои. Но мы ни разу не слышали, чтобы кто-нибудь болел язвой желудка, гриппом, мигренями. Вы понимаете, миллионы людей на четыре года забыли о множестве болезней. Что это, как не окошко в какую-то другую страну, где мы с вами еще не бывали?.. В научной литературе описан случай, когда физически слабый человек, клерк, во время пожара один вынес из горящего здания сейф весом в двести килограммов. Я спрашиваю вас: обязателен ли пожар?

— Вот именно,— сказал Техник,— обязателен ли пожар? — Он задумался, потом оживился.— Однако все это было. Влияние центральной нервной системы на организм. Об этом говорил еще Павлов.

— Да нет,— вмешался Поэт.— Речь идет о другом, если я правильно понял. Тут перед нами массовый феномен — вот в чем дело. Скорее, влияние центральной нервной системы всего человечества на организм отдельного человека. Факт некоего общественного вдохновения, что ли. Однако к таким явлениям у нас нет ключа. Приближаясь к человеку, наука останавливается на механической сути происходящих в его организме процессов. Но ведь это все равно, что с помощью кувалды пытаться разобрать микроскоп. Даже хуже... По-моему, речь идет об этом.

— Да,— сказал Биолог.— Вы хотите сказать, что и к Человеку и к остальной природе мы подходим с одними и теми же инструментами. И что это неправильно.

— Конечно,— подхватил Поэт.— Весь арсенал точных наук исторически был создан для изучения природы — камня, растения, животного. И вот теперь с этими же методами мы беремся за Человека. Естественно, мы его тем самым низводим до уровня остальной природы, и нам начинает казаться, что кибернетическому роботу ничего не будет стоить перегнуть его.

— Но почему? — не согласился Физик.— Во-первых, у нас действительно есть методика, созданная исключительно для изучения живого,— методика условных рефлексов, которая нигде больше не применяется. И во-вторых, есть науки, изучающие именно Человека: философия, история, политэкономия. Целая область гуманитарных наук.

— Они изучают общество,— опять вступил в разговор Медик.— В том-то и дело, что они изучают общество. Понимаете, здесь разрыв. Естествознание изучает физиологию человека, а гуманитарные науки — человеческое общество. И между ними нет связи, нет перехода от одной методики к другой. Мы знаем то, что происходит в обществе,— социологию. Но нам совершенно неизвестна та грань, в которой физиология делается социальной. Однако именно это и есть Человек. Здесь и лежит то, что нас больше всего интересует: талант, чувство, воля, энтузиазм, те случаи удивительного общественного вдохновения, которые нам всем известны... Короче говоря, по-моему, будущее науки не только в том, о чем пока шла речь. Не одна лишь «индустриализация науки» и «онаучивание индустрии». Все это чрезвычайно важно, но это не все. Я уверен, что вторая половина двадцатого века станет эпохой очеловечения науки. Вот. Точное знание приобретет человеческий характер, избавится от равнодушия к морали и станет гуманным по своей природе.

Наступило молчание. Техник поднял голову и спросил:

— А как оно к этому придет?

— Не знаю,— сказал Медик. — В том-то и вопрос. Пока наука оперирует только отношениями количества. Но сможет ли она с одним лишь этим ключом проникнуть в области духовного? Нет. Ей придется как бы превзойти себя. Взять на вооружение что-то новое. Но что?

Тут в первый раз вступил в разговор Строитель:

— Такой ключ уже есть. Наука может превзойти себя и получить новое качество.

— Как? — спросил Биолог.

Строитель помедлил. У него были блестящие глаза и быстрые легкие движения.

— Я хотел бы, чтоб вы послушали одну историю. Она имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Об удивительных возможностях человека... Здесь многое может показаться вымыслом, но все действительно так и было. Эта история начинается в столице польского государства, в Варшаве, больше двадцати лет назад — в трагическом для польского народа 1939 году... Собственно говоря, это рассказ о человеке, который мог летать.

...Прежде чем звонок кончил звонить, Стась с облегчением сказал себе, что это не дверной звонок, а только

будильник. Он вздохнул и засмеялся. Нет, это не отец с экономкой вернулись с дачи в Древниц. Никто не придет ни сегодня, ни завтра. Он один в доме.

Вскочив о постели, он с удовольствием оглядел свою комнату: занавеску на окне, уже нагретый солнцем подоконник, где в беспорядке валялись листы гербария, книжный шкаф с Сенкевичем, выцветшие обои десятилетней давности, на которых ему было известно каждое пятнышко. Он один в квартире — и здесь, и в столовой, и в гостиной, и во всех комнатах вплоть до кабинета отца.

Никто не придет. Он наедине с тем удивительным и новым, что вошло в его жизнь.

Стасю исполнилось семнадцать, и он в это лето впервые выпросил разрешение остаться одному в доме и в городе. Отец, старый молчаливый нотариус, неохотно согласился, и для юноши настали дни блаженства.

Июнь, июль, август плыли над Варшавой жаркие, сухие, пыльные. Вечерами в нагретом душном воздухе солнце садилось за крышами медно-красное. На центральные улицы высыпали вернувшиеся с курортов загорелые до черноты дамы, всюду было оживленно.

Много говорили о войне, но в газетах одна партия обвиняла другую. Любовцы, «Фаланга», национальная партия — во всем этом трудно было разобраться. Стась тоже пережил вспышку крикливого официального патриотизма, ходил на рытье зигзагообразных противобомбовых траншей, жертвовал на авиацию. Но однажды сержант полевой жандармерии в зеленой засаленной форме грубо вырвал у него лопату и оттолкнул его в сторону. Рывших окопы снимали для газеты, и жандарму показалось, что мальчик будет неуместен на фотографии. Стась, глубоко оскорбленный, ушел, дав себе слово никогда не участвовать в таких представлениях.

Впрочем, он был уже не мальчик. Для него начался тот ломкий и опасный период, когда ребенок становится юношей и в первый раз задает себе вопрос: «Я и мир — что это?»

По утрам старая молочница, которую Стась помнил еще с тех пор, когда ему было два года, кряхтя взбиралась к ним на третий этаж. Небольших денег, оставленных отцом, хватало, чтобы еще забежать в скромную харчевню и съесть лечо или рубец. Время до полудня Стась прово-

дил дома, наслаждаясь одиночеством и свободой после нудных гимназических занятий. Старая квартира хранила много неожиданностей и тайн. То вдруг в сундуке в передней среди связок писем, каких-то футлярчиков, лент обнаруживалась пачка старинных гравюр с латинскими надписями, и можно было часами разглядывать странные скалы среди бушующих вод, дворцы, обнаженных мужчин и женщин, в экстазе протягивающих руки к небу,— химеры, видения и сны давно уже умерших художников. То в гостиной останавливала потемневшая от времени картина с потрескавшейся поверхностью. Из мрака вырисовывались руки, плечи под сутаной, длинный нос и острый преследующий глаз. Кто этот человек? Но ведь он был, он жил.

Таилось какое-то сладкое и вместе мучительное счастье в том, чтобы повторять эти слова — он был, он жил.

После того как спадала дневная жара, неясная тоска гнала Стася на улицу, к людям. Он заходил в парк, в Лазенки. На зеленой воде прудов кораблями скользили белые лебеди. Плакучие березы склоняли над травами свои волосы-ветви. Девушка-гимназистка сидела на скамье, задумавшись, опустив на колени томик стихов. Брел, опираясь на палочку, старик пенсионер. Бабочка трепетала в пронизанном солнцем и тенью воздухе. Свершалось мгновение жизни...

Вечерами Стась отправлялся к старому учителю географии Иоганну Фриденбергу. Начинались длинные разговоры. Старик, похожий на библейского пророка, рассказывал о дальних странах, о великих произведениях искусства. Он много путешествовал в молодости, а потом еще больше читал. Его библиотека среди варшавских знатоков считалась одной из интереснейших.

Но чаще юноша просто бесцельно шагал по городу. На Свентокшискую, на Вежбовую, Маршалковскую... Тротуары переполняла толпа, над головой висел неумолчный шум разговоров, шаркали саги, шуршали платья. Стась шел, сам не зная, зачем он здесь.

Хотя в газетах одни известия сменяли другие и военная опасность то назревала, то отходила куда-то вдаль, атмосфера в городе была тревожной, нервной. В ресторанах отчаянно кутили, как перед концом света. Дверь какого-нибудь «Бристоля» отворялась, оттуда вместе со

звуками бешеного краковяка вываливался вдребезги пьяный хорунжий, миг невидяще смотрел на прохожих, тряс головой, оглушительно кричал:

— Нех жие! Да живет Польша!

На Вежбовой толпа расступалась перед посольской машиной с флажком, секунды, провожая ее, длилась тишина, потом начинался шепот. Очень надеялись на союзников, на Англию и Францию.

Ночь заставляла Стася где-нибудь на Аллеях Уяздовских. Оглушенный, уставший от напряженности своих неясных желаний, он садился на скамью. Все вокруг стучалось в душу: освещенные окна в домах, глухой ночной запах цветов, свежее прикосновение ветерка, шелест проехавшего автомобиля, негромкая фраза, брошенная прохожим своей спутнице.

Мертвые днем, дома и камни мостовой теперь оживали, начинали дышать, чувствовать, слышать. Стасю казалось, что вся Вселенная — от бесконечно далеких, огромных, молча ревущих в пустоте протуберанцев на Солнце до самой маленькой былинки здесь рядом на газоне — пронизывается какой-то одухотворенной материей. Тревоги надвигающейся войны, случайный женский взгляд на улице, искаженное лицо на старинной гравюре дома в сундуке — все чего-то просило. Требовало крика, движения, действия... Чтобы вернуть себя к реальности, он дотрагивался до жесткой, пахнущей пылью веточки акации у скамьи. «Ты есть, ты существуешь».

Иногда, возвращаясь домой, он задерживался у особняка, расположенного в глубине небольшого сада. На втором этаже, за растворенным окном с занавесью, кто-то часами сидел за роялем. Порой это были прелюдии Шопена, часто Баха.

Дома у Стася отец играл на флейте, а на пианино исполнял четырехголосные псалмы наподобие итальянских и даже сам сочинял небольшие марши и танцы. Но в игре старика был какой-то сухой академизм, раздражавший мальчика, да и самые звуки этих маршей связывались в сознании Стася с отцовскими бледными, чисто вымытыми пальцами.

Теперь, в летние ночи 1939 года, чудесная сила музыки вдруг открылась ему. Станислав даже страшился тех чувств, которые возбуждали в нем хоралы Баха. Он стоял,

опершись о высокий трухлявый забор, из садика несло запахом заброшенности и сырости, а повторяющиеся аккорды возносили его все выше и выше. Музыка обещала прозрение, раскрытие всех тайн, разрешение всех трагедий мира...

За два месяца одиночества Стась сильно похудел и вырос. Ему чудилось, будто через него постоянно проходят какие-то токи. Иногда он вытягивал руку и был уверен, что, стоит ему приказать, из пальцев истечет молния и ударит в стену.

Потом пришла любовь.

В доме напротив жила девочка. Несколько лет подряд он видел ее — зимой в пальто, летом в синей гимназической форме,— шмыгающей в темный провал парадной. Но теперь, в начале августа, однажды они шли навстречу друг другу на узкой улице, и Стась почувствовал, что ему неловко смотреть на нее. Неловкость эта не прошла, стала увеличиваться, и юноша вдруг понял, что весь мир сосредоточился для него в этой худенькой фигурке, с черными глазами на бледном лице.

Она каждый день ходила в Лазенки. Борясь с мучительной неловкостью, он садился неподалеку, завидуя тем, кто оказывался рядом с ней на скамье. Потом набрался смелости, они познакомились. Ее звали Кристия Загрудская, она была дочерью бухгалтера. Во время второй встречи в парке она сказала, глядя ему в глаза:

— А вы знаете, я наполовину еврейка. Мой папа поляк, а мать еврейка.

Он молчал, не зная, что говорить, и ужасаясь при мысли, что она неправильно истолкует его молчание.

Она была взрослее его умом, хотя по возрасту они оказались ровесниками. Часто говорила о политике, о том, что если в Польшу придут фашисты, она не станет терпеть унижений и убьет какого-нибудь гитлеровца. Он тоже горячо мечтал о борьбе, об опасности, о том, чтобы спасти ее или во главе кавалерийской атаки мчаться на врага.

Но иногда во время оживленного разговора оба одновременно начинали думать о том, что вот их свидание скоро кончится и они попрощаются за руку. И это будущее рукопожатие делалось главным, заслоняло все другое. Они смущались, краснели. Секунды бежали, они не знали, как начать оборвавшийся разговор.

Потом Кристя уехала на две недели к тетке в Ченстохов. Перед отъездом они объяснились. Стась сказал, что любит. Девушка твердо и прямо посмотрела ему в глаза и взяла его за руку.

Дни после ее отъезда были особенно счастливыми. Юноша ходил как пьяный. Он даже стыдился своего богатства, не верил, что она может любить его.

Он сделался очень чувствительным. Стоило ему увидеть слепого нищего у церкви или бедно одетую женщину с золотушным ребенком на руках, как в глазах у него появлялись слезы, и он должен был прислониться к стене, чтобы не упасть от охватившей его огромной жалости. В другие дни он ходил по квартире, наполненный настолько сильной радостью, что ему казалось, даже вещи, которых он касается — стол, книги, истертые половицы паркета, — не могут ее не чувствовать.

В таком состоянии восторженности и силы он и почувствовал первый раз, что может летать. Просто собственной волей подниматься в воздух.

Это было поздним вечером, почти ночью. Он возвращался домой на свою улицу из Лазенок, где, мечтая, просидел несколько часов на скамье у пруда.

В переулке из раскрытого окна особняка звучал рояль. Вернее, на этот раз было два инструмента. Стась остановился и стал слушать. Одна вещь кончилась — он не знал ее.

Настал миг напряженного ожидания.

Один из пианистов за окном взял несколько аккордов.

Еще миг ожидания...

И звуки полились. Это был Первый концерт Шопена, переложенный для двух фортепьяно.

Стась слушал и вдруг почувствовал, что сейчас совершится нечто. С каждым новым аккордом миг прозрения все приближался и ужасал своей близостью. Юноше казалось, что еще мгновение, и он все поймет, все сможет и взлетит над землей, над садом, над городом.

В концерте было место, Стасем особенно любимое, — тема в ми-миноре: си, соль, ля, си, ми, фа-диез...

Он стал ждать этого места. Оно пришло.

Почти непереносимая боль ожидания пронзила тело юноши, слезы хлынули из глаз. Что-то вдруг произошло, и он понял, что может лететь.

Звуки лились дальше, и они подтверждали и подтверждали, что это есть в нем, есть, есть...

Он несмело отошел от ограды садика. Через дорогу в двадцати шагах, освещенный лунным светом, белел приступок у входа в бакалейную лавочку.

Он сказал себе:

— Если я захочу, я могу быть там.

Он приказал себе, приподнялся над землей. Пыльные булыжники мостовой проплыли под его ногами, и он стал на приступок.

А звуки рояля неслись и неслись над спящим переулком и подтверждали: есть, есть...

Стась наметил еще место — витрину парикмахерской. Приказал себе. Опять под ногами поплыли булыжники. Он опустился на тротуар, а за стеклом, как из темной воды, на него глянул нелепый бюст дамы из папье-маше.

Ему захотелось подняться выше. Он сделал какое-то усилие — он сам не знал какое — и взлетел над одиноко стоящей старой липой. Он повис в воздухе, протянул руку и потрогал пахнущие пылью и свежестью шершавые крепкие листья.

Потом он почувствовал, что устал. Ему было уже трудно держаться в воздухе. Он осторожно, наискосок, чтобы не застрять в ветвях, опустился на землю.

Чудо — но это было.

Несколько минут он стоял, набираясь сил. Он не понимал, каких именно сил, но чувствовал, что они были ему нужны для полета. Затем глубоко вдохнул и стал подниматься вверх. Он поравнялся с окнами второго этажа, третьего... В незнакомом окне какой-то мужчина, худощавый и взъерошенный, быстро писал у стола, задумался, посмотрел в потолок и потер себе щеку. В окне четвертого этажа женщина шила, рядом девушка читала книгу, перевернула страницу и посмотрела на Стася, не видя его.

Он поднялся выше и как бы вышел из какого-то тепло-го слоя. Сделалось свежее. В новом ракурсе знакомая улица предстала внизу крышами, вся сразу охватываемая взглядом.

Он знал, что может взлететь еще выше, и сделал новое усилие. Это было похоже на какие-то ступени, которые он брал одну за другой.

Улица ушла далеко вниз, со всех сторон поднялся тем-

ный горизонт. Стасю было ничуть не страшно. Сделалось еще холоднее. Под ногами, у него мерцала в провале спящая Варшава: костелы, светлая лента Вислы и мосты через нее, черные пятна парков. А над ним было небо. Такие же далекие дрожали звезды, а серп освещенной части луны почему-то казался таким близким, что только протяни руку.

Потом он почувствовал, что устал, начал осторожно спускаться, вошел в один теплый слой, в еще более теплый, спустился еще ниже, стал на ноги, утвердился и, счастливо рассмеявшись, побрел, пошатываясь, к себе.

Он разделся в своей комнате — перед глазами у него все была ночная Варшава: мужчина, пишущий кому-то письмо, девушка с книгой и необъяснимого цвета светлая Висла с мостами.

Утром, проснувшись от звона будильника, Стась сразу спросил себя:

«Могу ли я повторить то, что было вчера?»

И почувствовал полную уверенность, что может.

Он полежал некоторое время, глядя, как пылинки безостановочно и беспечно перемещаются в прорезающем занавеску солнечном луче.

Он знал, что ему предстоит удивительно счастливый день. Должна была приехать Кристия.

Это чудо, и Кристия...

Стась поднялся, неторопливо оделся и вышел на улицу в одиннадцать часов.

Люди бежали.

Несогласно ударяя в землю пыльными сапогами, прошел взвод солдат-резервистов под командой подхорунжего.

Было 1 сентября 1939 года.

Повторялось слово «война».

Он почувствовал, как что-то внутри оборвалось и исчезло.

...Минуло около двух лет, и однажды Стась снова шел по Варшаве.

Ему пришлось много испытать. В начале сентября 1939 года он вместе с группой юношей гимназистов сумел пробраться на запад и присоединиться к армии «Познань». Однако смелость молодых поляков была уже ни к чему. 6 сентября главнокомандующий Рыдз-Смиглы и польское правительство бросили столицу. Части познаньской армии

еще сражались, но были обречены. Стась попал в плен и там едва не умер от голода. Потом в суматохе, когда гитлеровцы объединяли «гражданские лагеря» с лагерями для военнопленных, ему помог бежать пожалевший его солдат из крестьян. Не имея документов, чтобы вернуться к себе, юноша полтора года скитался по крестьянским дворам в глухом углу возле Пшегурска. Потом он добрался до Варшавы, узнал, что отец уже умер, и сам, заразившись где-то по дороге тифом, слег.

Старуха молочница, продавая их домашний хлам, выхаживала его. Стась пролежал два месяца, потом поднялся, бледный, как картофельный росток.

Как это часто бывает после тифа, у него отшибло память. Незнакомыми казались ему квартира и все вещи в ней. Надо было спрашивать себя, видел ли он прежде эти книги, гимназическую парту, потемневшие старые портреты на стенах. День он слонялся по комнатам, постепенно привыкая к ним и восстанавливая по ниточкам связи с прошлым.

Потом его ударило: «Кристя!»

Он спустился на улицу и пошел в парадную напротив. Незнакомая женщина, подозрительно посмотрев на него, сказала, что прежние жильцы уехали.

— Куда?

Она не ответила и закрыла дверь.

Стась побрел по городу, смутно надеясь, что случайно встретит девушку.

Жутко выглядела Варшава третьего года оккупации.

Стояла глубокая осень. Листья на деревьях облетели. На улицах было пустынно. Большинство магазинов закрылось, окна нижних этажей были задернуты решетчатыми ставнями, а то и просто забиты досками.

Стась зашел в Лазенки. Ему хотелось посидеть на той скамье, где он познакомился с Кристей. Он приблизился к скамье и с отвращением отшатнулся. По спинке скамьи шла отчетливая надпись: «Только для немцев».

Он огляделся и увидел, что в парке никто не садится на скамейки. Лишь на одной развалился немецкий сержант в мундире со стоячим воротником. Немногочисленные посетители парка шли, не останавливаясь, по аллеям, а немец с усмешкой, сунув руки в карманы и вытянув ноги, как бы руководил этим молчаливым хороводом.

На Маршалковской было люднее. Иногда даже попадались нарядные женщины. Прошел пожилой щеголь аристократического вида под руку с молоденькой нагловатой дамочкой. Немецкий офицер презрительно перебирал поздние хризантемы на лотке. Проезжали автомобили с военными, извозчики.

Мрачный сгорбленный мужчина с ведерком и кистью в руках обогнал Стася и наклеил на стену листок из пачки, которая была у него в сумке.

«УБИЙЦА МАТУШЕВСКИЙ НЕ ЯВИЛСЯ!»

До 18.X.41 убийца Матушевский Збигнев, покусившийся на жизнь немецкого военнослужащего, не явился сам и не был схвачен благодаря содействию населения.

Поэтому я распорядился сначала о расстреле 25 заложников из местного населения, главным образом интеллигенции, то есть врачей, учителей и адвокатов.

От поведения и помощи населения в дальнейших розысках убийцы зависит судьба остальных заложников.

*Начальник СС и полиции
г. Варшавы».*

Прохожие, не останавливаясь, отводили глаза в сторону.

Пожилой щеголь взглянул на объявление и вздрогнул.

Без цели Стась свернул с Маршалковской в Сасский парк, прошел через площадь Железной Браны, где, продавая всякий скарб, толпился народ, и углубился в узкие улицы Муранува.

Смутное воспоминание о чем-то хорошем, даже прекрасном в его прошлом пробивалось в сознании юноши.

Он вышел на Налевки. Улица была вся пуста.

Станислав остановился, озадаченный.

Впереди послышался шум. Озираясь, пробежал черно-волосый мужчина с лицом, опухшим от голода.

Потом из-за поворота показалась толпа стариков, женщин и детей, сопровождаемых эсэсовцами.

Они прошли совсем близко от Стася.

Маленькая девочка, держась за руку матери и торопясь, чтобы поспеть за скорыми шагами взрослых, спрашивала:

— Куда нас ведут, мама? Куда?..

Эсэсовец с автоматом что есть силы толкнул Стася, и юноша ударился о стену.

— Эй, с дороги!

Толпа прошла.

Стась повернул на Ново-Плиски. Шли и пробегали люди, и на всех лицах была одинаковая печать обреченности и голода. Послышался крик:

— Облава!

Стась все еще не понимал, где он находится.

Он вошел в какую-то жалкую харчевню. Несколько мужчин с бородами сидели за пустыми столиками. Его появление удивило всех.

Стась, усталый, сел за столик.

Все молчали. Потом юноша услышал за спиной:

— Слушайте, у вас продукты?

— Может быть, он продает яд?

Стась опять обернулся:

— Какой яд? Зачем вам яд?

— Он не понимает...

Старики отвернулись от Стася, приглушенными головами заговорили на незнакомом языке.

Яд?.. Для чего им яд?.. И вдруг он понял, где находится. Гетто! Варшавское гетто — вот куда он попал. Он смутно вспомнил, что проходил через какие-то высокие ворота, все в колючей проволоке. Вспомнил, как усмехнулись солдаты охраны, когда он миновал их.

Дверь в харчевню вдруг распахнулась. На пороге стоял тяжело дышащий мужчина.

Он сказал:

— Облава. Сюда идут убийцы.

Поспешно пробежал в дальний угол комнаты и сел за столик.

Еще две тени скользнули с улицы. Оттуда доносились крики и стоны. Бородатые старики съежились.

Шум и вопли на улице приблизились, потом стали уходить. Когда стало уже почти тихо, раздались гулкие уверенные шаги и в дверях вырос эсэсовский офицер в черной шинели.

Кто-то охнул.

Офицер холодно оглядел комнату. Потом, шагая четко и бездушно, подошел к пустой стойке, повернулся и еще раз стал осматривать все столики.

А у двери стали два автоматчика без лиц — только с касками, где был нарисован череп с костями.

Напряжение в комнате сделалось совсем ужасным.

И вдруг Стась почувствовал такую жалость к несчастным старикам и такую ненависть к тому, что готовилось произойти здесь, что, сам не сознавая этого, вскочил.

—Люди! — закричал он. — Люди, что вы делаете? Опомнитесь! Ведь я же могу летать! Человек может летать! Смотрите!

Он подпрыгнул, повис в воздухе, повисел две секунды и стал на пол.

—Подумайте! Ведь вы же все люди. Что вы делаете? Все молчали.

Безликие маски солдат и офицера на миг сделались человеческими лицами.

—Ну, смотрите! — крикнул Стась.

Он еще раз поднялся в воздух, над столами перелетел к стойке и опустил возле офицера.

Тот отшатнулся, потом, показывая на юношу, закричал:

— Взять!

И стал вырывать парабеллум из кобуры.

Солдаты, расшвыривая столы, бросились к Стасю.

Секунду он смотрел, как они приближаются, сознание опасности защемило его сердце, потом тоска овладела им — он чувствовал, что той давней чудесной силы в нем совсем мало. Что ему не удастся бежать.

К счастью, у дверей никого не было. Неловко, как птица в тесной клетке, он подскочил, ударился о потолок, вытирая спиной побелку, скользнул к выходу, упал на четвереньки, вскочил и побежал по улице.

Сзади раздались выстрелы, крики. Цепь солдат с автоматами перегораживала ему дорогу, они расставили руки. Он опять подпрыгнул, из последних сил перелетел эту цепь, увидев на миг под собой удивленные физиономии и разинутые рты.

Он повернул куда-то за угол, еще раз за угол, бросился в подворотню, пробежал двор. Каменный забор преграж-

дал ему путь, он перескочил его, попал в другой двор и убежал на улицу.

Было тихо. Погоня отстала.

Стась огляделся. В глаза ему бросилась табличка над воротами: «Улица Милы». Он вспомнил, что много раз бывал здесь до войны, навещая старого учителя гимназии Фриденберга.

Станным, нереальным получился этот разговор.

— Пан учитель,— сказал Стась,— я могу летать. Это удивительно, но это так. Это было со мной до сентября, и теперь этот дар вернулся. Хотите, я покажу вам?

— Нет-нет.— Старик протянул руки.— Я верю тебе. Мне не нужно доказательств. Я сам читал, что это когда-нибудь будет...

Они разговаривали в маленькой каморке.

Когда Стась разыскал квартиру Фриденберга, он не узнал знакомых комнат. Гетто было перенаселено. Там, где раньше жили одна или две семьи, теперь теснилось по сорок — пятьдесят человек. И тут тоже на полу под тряпьем повсюду лежали люди. Чей-то голос в темноте направил Стася дальше, в другую комнату, потом в третью, и лишь в самой последней, которая прежде была кладовкой, юноша нашел своего старого преподавателя.

Они зажгли коптилку. В ее тусклом свете старик казался еще больше, чем раньше, похожим на пророка. Его исхудавшие щеки глубоко западали, выпуклый лысый лоб стал еще выше, давно не стриженная борода разметалась по груди.

— Я хочу показать, как я летаю,— сказал Стась.

— Не нужно.— Старик затряс головой.— Я верю тебе. Не будем терять времени.

Он ходил от стены до стены среди наваленных на полу книг. Полы его халата развевались, и огонек коптилки то угасал, то оживал вновь.

— Это правда. Это должно быть. Ты понимаешь, самые удивительные способности таятся в нашем организме. Подумай только о маленьких детях, например. Ребенок, глядя на рисунок обоев, видит там дворцы, замки, чудесные деревья и персонажей своих любимых сказок. А взрослые люди смотрят на ту же стену, и для них там нет ничего, кроме грубо отпечатанных розочек и листьев. Почему? Потому что каждый ребенок — это поэт, живописец, танцор

и актер сразу. А взрослый человек в процессе жизни и борьбы за существование постепенно теряет многие заложенные в нем прекрасные способности, оставляя лишь те, что помогают ему добыть кусок хлеба... Но если бы эти способности могли проявиться? Если бы жизнь была другой... Я хожу здесь в гетто и вижу лица истощенные, лица равнодушные, лица циничные, лица больные и умирающие. И я знаю, что один из этих людей мог бы быть умен, как Ньютон, другой — рисовать, как Дюрер, третий — петь, как Шаляпин, или сочинять музыку, как Шопен. Каждый... Ой-ой-ой; идет страшная война, в человеке открылось такое, чего не было во все века. Людей заживо бросают в костры, убивают грудных младенцев, уничтожают целые народы. И все-таки я понимаю сейчас, что Человек — это безгранично...

Старик почти пел, раскачиваясь на ходу. Это было похоже сразу на плач и на молитву.

— В древних египетских папирусах я прочел указания о том, что люди умели видеть происходящее за сотни километров от них. Также описаны случаи, когда человек часами стоял на одной ноге на самых кончиках пальцев, и приводились сведения о том, что некоторые особенно выдающиеся мыслители обладали способностью видеть ближайшее будущее. А гипноз? А удивительная способность некоторых останавливать взглядом? Вернее, не останавливать, а заставлять оглянуться... А действие музыки на человека, которая почти приближает его к пониманию того прекрасного, что еще никогда не было понято нами... Слушай, мальчик, мы находимся сейчас накануне ночи. Идет тысяча девятьсот сорок первый год. Фашисты захватили всю Европу и в России ведут наступление на Москву. Но, заверяю тебя, будет рассвет. Сбереги себя. Сохрани свой дар.

Старик остановился и посмотрел на Стася.

— Тебе нельзя оставаться у меня. Вчера тут в гетто две девушки и трое юношей совершили нападение на солдат вермахта. Ночью фашисты убьют тысячи людей. Беги... Если ты можешь лететь, лети!

За дверью раздался шум, и они оба прислушались.

Шум повторился. Теперь это был уже грохот, стучали во входные двери. В соседних комнатах поднялись вопли и стоны.

— Это они,— сказал старик.— Пора.

В комнатах уже раздавалась гортанная немецкая речь.

...Застучали в дверь.

Стась вскочил на подоконник. Он и верил себе и не верил и оглянулся на старика.

Тот кивнул.

Юноша прыгнул. В ушах у него засвистело. Жутко и гибельно понеслись навстречу тускло освещенные булыжники мостовой. Но, сжимая зубы, он замедлил падение, почти остановился в воздухе и мягко упал во дворе. Затем встал и вышел на улицу. Цепь солдат окружила толпу полуодетых кричащих людей, их загоняли в крытые машины.

Секунду Стась смотрел на все это, потом торопливо пошел в сторону.

— Стой! Стой, руки на затылок!





Это уже относилось к нему.

Он побежал, свернул в подворотню и оказался в глухом дворе-колодце. Он огляделся, отчаянно прося свою чудесную силу не оставить его в такой миг, вдохнул, оторвался от земли и стал подниматься. Солдат гулко протопал почти под самыми его ногами, но не увидел его. Во двор вбежало еще несколько эсэсовцев, один посмотрел вверх, закричал и вскинул автомат. Стась поднимался мучительно медленно. Уже дико кричали все эсэсовцы. Очередь просвистела мимо его плеча. Но рядом, к счастью, был балкон. Он спрятался за ним, по стене — почти карабкаясь и помогая себе

руками — поднялся до третьего этажа. Теперь он уже просто боролся за жизнь, молчаливо и упорно. Двор внизу весь наполнился гулом, как будто били по железному листу. Станислав поднялся до четвертого этажа, перевалил на крышу, побежал по ней, оскальзываясь и падая, потом, измученный, лег у карниза.

Но ему не пришлось долго лежать. По всем этажам уже топали сапоги, раздавалась гортанная тревожная речь. Из слухового окна недалеко от Стася осторожно выглянул солдат с автоматом.

Юноша вскрикнул, вскочил и, не раздумывая, прыгнул вниз. Но теперь странная сила уже вполне подчинялась ему. Он полетел косо, вправо, успел на миг увидеть, как из окна два автоматчика бьют по нему и как огонь вылетает из дул. Но автоматчики сразу пронесли мимо, он был уже снова на крыше, но на другой стороне улицы.

Несколько мгновений он отдыхал, затем стал подниматься все выше и выше. Опять, как в памятную ночь перед войной, он напрягал что-то такое — он сам не знал что — и поднялся метров на двести над домами в темноту и холод октябрьской ночи. Варшава лежала под ним, черная, неосвещенная. В гетто били автоматные очереди, сияли прожекторы на улицах, и в их свете метались маленькие фигурки. А в других районах города было тихо. По Маршалковской катила колонна автомобилей.

Стась наметил себе место за пределами гетто и направил свой полет туда. Он опустился на какой-то незнакомой улице возле тумбы с объявлениями. Ветер трепал край свежего, недавно наклеенного листка.

Стась подошел и прочел:

РАССТРЕЛЯНЫ!

Дальше говорилось, что за покушение на германских военнослужащих расстреляны бандиты. Первой в списке стояла Кристина Загрудская, 1927 года рождения.

Он стоял и смотрел на это объявление и чувствовал, как что-то обрывается у него внутри. Но вместе с тем в нем росла уже другая сила.

Он не вернулся домой в ту ночь, а взял направление на Древницу. Добравшись туда к утру, он отдохнул немного у знакомых, а затем лесами пошел на восток.

У Яновского бора его остановили вооруженные в штатском.

— Ты кто?

— Поляк...

— Во что веришь?

— В Польшу верю.

Но и так можно было видеть, кто он и во что верит. Через две недели в руках у него был пулемет, и очередь ударила по фашистской автоколонне, совершающей торопливый марш на русский фронт, где гитлеровские войска уже уперлись в оборону Москвы.

Станислав был в партизанах, потом присоединился к дивизии Костюшко, участвовал в боях за Варшаву и, раненный, вместе с фронтовой сестрой-санитаркой, ленинградской девушкой Татьяной, попал в Россию. Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Станислав остался в Советском Союзе, поступил в строительный институт и окончил его. Вместе с женой он работал на канале Волго-Дон, строил заводы в Сибири.

В 1957 году Станислав с семьей поехал на строительство Братской ГЭС...

— Но вот что интересно,— сказал Строитель. (Он заканчивал свой рассказ.) — В последнее время Станислав опять начинает ощущать это чувство. Все сильнее и сильнее. Впервые оно возникло, когда он был участником грандиозного митинга в честь окончания первой очереди строительства. Попробуйте представить себе эту картину. День. Панорама огромной реки. На двух берегах тысячные толпы людей, спаянных между собой, связанных общим делом. Высокое голубое небо над плотиной, вспугнутая шумом косо летящая птица на высоте, освещенная солнцем... Он, тоже участник строительства, вбирал в себя все это и вдруг почувствовал, что снова может лететь. Просто силой желания. Приказать чему-то и разом подняться над водохранилищем, над лесами. Взмыть и оказаться рядом с птицей. Его только остановило чувство неуместности полета, когда уже начался митинг... Дальше, в тот день, это ощущение ушло от него. Но теперь оно все чаще и чаще возвращается. Станислав еще ни разу не пробовал, но твердо знает, что, когда он захочет, когда прикажет себе, он полетит. И этот полет будет увереннее, сильнее того, чем это было раньше...

Рассказ кончился, и наступила пауза.

— Да-а,— протянул Техник. (Было непонятно, что означает его «да-а».) Он усмехнулся и сказал: — Как часто у меня бывало это чувство. Помните, то же самое, что с Наташей Ростовской. Вот, кажется, еще чуть-чуть, и ты взлетишь. Как хотелось бы, чтоб это было.

— А я верю,— сказал Биолог. Он встал, затем сразу сел и заложил ногу на ногу.— Вы знаете, я верю. И вот почему. Потому что мечта — я много думал об этом — вовсе не представляется мне чем-то стоящим уже совершенно далеко от действительности. В самом деле. Каждый ребенок мечтает летать вот так — силой желания. Да и не только ребенок. Не может быть, чтобы это были одни мечты. Если мы хотим быть материалистами и марксистами, мы должны понимать, что наши желания — а особенно длительные и упорные, проходящие через всю историю человечества,— возникают не просто так, а в конечном счете на материальной почве заложенных в организме возможностей. Что такое мечта? Разве она есть что-нибудь уж совсем противоположное действительности? Конечно, нет. И разум человека, и драгоценная способность мечтать не лежат где-то вне природы и не противоречат ей. Мечта — это законная дочь разума, который, в свою очередь, законный сын природы и человеческого общества. Это звучит напыщенно, но так оно и есть.— Он посмотрел на Строителя.— Одним словом, я верю в то, что было с вашим другом. Естественно, сейчас это кажется невероятным. Но сто лет назад невероятностью казалось превращение энергии в материю, например. Одним словом, я убежден, что человек полетит. И, может быть, очень скоро.

— Заметьте,— сказал Медик,— что все три раза этот человек ощущал в себе эту способность в периоды особенно сильных общественных переживаний. Во времена напряженного ожидания войны, в минуты любви, ненависти, жалости и радости... Да, кстати,— он повернулся к Строителю,— вы говорили, что уже сейчас есть ключ, который поможет очеловечить науку. Даст ей возможность превзойти себя.

— Есть,— ответил Строитель.— Искусство.

— Искусство? — переспросил Поэт.

— Да. Метод познания действительности, который человечен по самому своему характеру. Человековедение.

Понимаете, в нем есть все, чего не хватает сейчас науке, когда она подходит к человеку. Гуманизм, целостность, способность мыслить более общими категориями и вместе с тем чрезвычайно изощренные и неожиданные связи, сопоставления и отношения. Я уверен, уже в недалеком будущем наука, для того чтобы двигаться дальше, не сможет не позвать себе на помощь искусство. И даже не позвать на помощь, а просто подойти и стать с ним рядом. И этот синтез двух начал, которым так долго пришлось существовать отдельно, и будет новым шагом знания.

— Уф-ф-ф,— вздохнул Поэт.— Говорим целый вечер я наконец-то коснулись искусства. Вот скажите,— он обратился к Физику,— кого вы любите читать? Кто помогает вам в работе? Есть же кто-нибудь, да?

— Стендаль,— ответил Физик.— В частности «Люсьен Левен». Он мне дает настрой.

— Вот именно, настрой. Он помогает чем-то таким, чего не выразить точно словами... Понимаете, я долго не мог сообразить, чем раздражала меня та дискуссия, которая прошла в молодежных газетах: «Возьмет ли человек о собой с космос ветку сирени?» Теперь я понял и отвечаю на этот риторический вопрос отрицательно. Не возьмет. Потому что здесь — в такой постановке вопроса — искусство мыслится как пассивный момент любования прекрасным. Как фактор отдыха. Но ведь дело не в этом. Искусство — ветвь познания. Именно в этом качестве человек возьмет его повсюду. Он просто не сможет без него. Но с ним будет не ветка сирени, а то, что воспитано искусством: фантазия, человеколюбие, широта и богатство связей... Вы совершенно правы.— Поэт кивнул Строителю.

Уже зашло солнце. Резко и решительно спустилась темнота. В парке звучали голоса отдыхающих. На веранду уже два раза приходила розовощекая, пышная девушка из столовой звать к ужину.

Все встали, и Биолог подошел к Строителю.

— Простите, мне кажется, вы сами из Варшавы?

— Да.

Биолог посмотрел на Строителя очень внимательно.

— Скажите, а вы не...



ДОМ С ЗОЛОТЫМИ ОКОШКАМИ

...Если вы выберетесь на поверхность из подземки где-нибудь в районе Центрального рынка и по улице Бержер дойдете до Севастопольского бульвара, то на углу рю де Перпиньян вам встретится большое серое здание, весь нижний этаж которого занят рестораном «Черное солнце».

Почему ресторан так называется, неизвестно. Возможно, в этом состоит понятие владельца об оригинальности.

Из-под большого козырька выглядывают низкие широкие окна. Днем через стекло виден пустой темный зал, где, как рыбы в аквариуме, лениво плавают три-четыре официанта в белых фраках. Двери раскрыты, и в зал свободно входит воздух и уличный шум.

Но вечером все преобразается. У входа вырастает швейцар. Одних посетителей он впускает, другим говорит, что мест нет. Окна задергиваются нейлоновыми шторами, рядом со сценой в дальнем углу зала усаживаются оркестранты, а столики заполняются жадной, крикливой толпой.

Под низким потолком перекрещиваются фразы и восклицания:

— Андрэ, к нам!

— Какой сегодня курс доллара?

— Вы слышали? ОАС платит десять тысяч за одно убийство.

— Скажи, ты не видел здесь Надю?

— Два раза коктейль «Бруклин»!

— Со склада инженерной роты оасовцы вывезли пятнадцать автоматов.

— Сегодня не могу. Увидимся завтра в «Арене»...

В десять часов вечера, когда шум достигает апогея и официанты — их уже целый взвод — не бегают, а летают, в зале пригашивается свет и в круге прожектора на сцене появляется бледное напудренное лицо мосье Валиханова. Мосье Валиханов — постановщик танцев в «Черном солнце». Владельцы ресторана платят ему больше, чем он получал бы, если б ставил танцы в «Гранд опера». И не зря, потому что Валиханов знает дело. В «Черном солнце» все чинно и даже чуть-чуть старомодно. Но несколькими точно отработанными жестами и особо подобранными костюмами мосье Валиханов достигает таких эффектов, какие не под силу и самому наглому стриптизу. За столиками устанавливается полная тишина, мужчины бледнеют, а женщины, усмехаясь, отворачиваются.

Номер идет за номером. Монгольский танец — монголы ни за что не признали бы его своим — сменяется яванским, от которого настоящие яванцы с презрением отrekliсь бы. В конце первого отделения программы мосье Валиханов

старческим хриловатым голосом называет имя следующей исполнительницы — Лиз Обельдуайе. Раздвигается черный бархатный занавес, и перед зрителями появляется рослая девушка в традиционном костюме французской пейзажки, с большими глазами и свежим, чуть наивным лицом. Она как будто поражена тем, что попала в этот шумный, прокуренный зал. Возникают нежные, чистые звуки песенки Куперена. Веет незлобивым восемнадцатым веком — тем временем, когда не знали ни алжирской проблемы, ни радиоактивности. Дрожит высокий звук флейты, и, как флейта, льется голос. Песенка кончилась, вдруг следует взрыв в оркестре, грохот, отчаянный вой трубы. Девушка испуганно застывает, на лице ее выражается ужас, и вот она начинает вертеть на сцене сальто. Но какое сальто! Руки простерты в стороны, левая нога сильным движением взлетает выше головы, гибкое тело совершает полный оборот на месте. Еще один, еще... Труба смолкла, рубит барабан и тоже обрывает, а побледневшая девушка все крутит. Кажется, дальше уже невозможно. Уже не может хватать дыхания и сил. Но что-то беспощадное вертит и вертит ее. Ей начинают аплодировать, хотя, чтобы это кончилось... Аплодисменты длятся и замирают, растроившись в напряженной тишине, а сильные ноги все мелькают в свете прожектора. Уже кто-то встал, вцепившись руками в край столика. Но вот еще несколько оборотов, еще раз взрывается оркестр, последний немислимый прыжок совершает девушка и падает плашмя на сцену. Зрителям кажется, что она разбилась чуть ли не насмерть, но они еще не успевают додумать этой мысли до конца, как исполнительница вскакивает на ноги и, подняв руки, раскланивается с сияющей улыбкой.

Зал облегченно вздыхает, длится миг молчания, и обрушивается шторм воплей, аплодисментов, свистков. Оркестранты встают, вспыхивает яркий свет. Первое отделение концерта окончено. Официанты, сгрудившись у стойки бара, зорко смотрят за своими столиками. Сейчас последуют новые заказы...

Если вам случится прогуливаться по рю Монмартр от Центрального рынка к Большим бульварам, то вскоре после того, как вы пересечете Пуассоньер, с левой стороны вам попадется отель «Бургундия». Нижний этаж дома занят галантерейной лавочкой, небольшим кафе, где лохма-

тый сенбернар подает посетителям свежие газеты, и лавкой с устрицами, которые лежат там в больших деревянных лотках в траве, покрытые сверху кусочками льда.

Кроме первого этажа, в доме есть и подвальный. В маленькой квартирке проживает консьержка мадам Фетю, полная пожилая женщина, которую почти постоянно можно видеть сидящей с вязаньем на стуле возле открытой двери в галантерейную лавку. Мадам Фетю не относится к распространенному в литературе типу злобных парижских сплетниц. Напротив, она скромна, доброжелательна, и то, что от нее приходится услышать, обязательно оказывается впоследствии правдой. Еще несколько подвальных помещений занимают склады отеля, а в угловой квартире живет служащий обувной фирмы мосье Сэрель. Эта семья, вернее, дети этой семьи являются гордостью квартала. Их четверо — маленьких розовых ангелов. Мальчикам — семь и пять лет, девочкам — четыре и три. Когда мадам Сэрель выводит их прогуляться, улыбки расцветают по всему околотку, потому что таких упитанных, хорошо одетых, таких воспитанных и безмятежно счастливых ребятишек встретишь далеко не везде. Жалованье у мосье Сэреля небольшое, жене его хватает хлопот с детьми, и, чтобы сводить концы с концами, служащий обувной фирмы должен еще прирабатывать. Это он и делает. Каждую ночь через решетчатые окна подвала вверх пробивается свет, и, остановившись, можно видеть, как супруги Сэрель сидят за столом и прилежно раскрашивают некие поздравительные открытки. Муж наносит на заранее заготовленный контур клеевой состав, а жена покрывает этот контур желтой, розовой и зеленой красками. Работают супруги молча, споро, без лишних движений. А в соседней комнате мирно спят дети в своих постельках и ничего не знают об этих постоянных ночных бдениях. Утром мосье Сэрель, небольшого роста, прямой, полнеющий, чуть бледный, но всегда тщательно выбритый, в белом воротничке, отправляется на работу, вежливо кивая по дороге знакомым, а его жена, бодрая и свежая, будто всю ночь крепко спала, принимается мыть, кормить и обхаживать ребятишек.

Сам отель «Бургундия» построен экономно. В нем узкие крутые лестницы с зеркалами в рост на каждой площадке, узкие, длинные, как на корабле, коридоры. На дверях номеров висят литые бронзовые пластины с циф-

рами. Постояльцам второго этажа предоставляется возможность занимать по три комнаты, третьего — по две, а четвертый этаж отдан однокомнатным номерам. Впрочем, отель никого не балует разнообразием. По всем трем этажам в комнатах стоят одинаковые гигантские кровати с желтыми одеялами и маленькие желтые диванчики, в каждой комнате окно с балкончиком, желтая ваза с цветами на столе и радиоприемник, в который нужно бросить сантим, прежде чем он заговорит.

Номера подороже выходят окнами и балкончиками на рю Монмартр, номера чуть подешевле — на внутренний двор, где по асфальту белой краской разлинованы места для автомобилей.

Комнату под номером 315 на четвертом этаже, выходящую во двор, занимает девушка, которая в ресторане «Черное солнце» вертит сальто. Провинциалам может показаться, что девушка-танцовщица живет жизнью необыкновенной и увлекательной. В действительности же, когда она на улице, это означает, что либо она идет в «Черное солнце», либо возвращается в «Бургундию». По пути она иногда заходит на Центральный, чтобы побродить по рядам цветов, фруктов или свежей рыбы, а порой прогуливается по набережной Сены от Двух мостов до площади Согласия. Вот и все ее развлечения. Ей приходится много тренироваться, чтобы постоянно быть в форме.

Когда девушка в толпе, бросается в глаза недостаток, который незаметен, если она одна стоит на сцене. Девушка очень велика ростом. В ней никак не меньше, чем метр семьдесят пять. Фланеры парижских бульваров бросают на нее снисходительно-ироничные взгляды, присяжные кокетки с превосходством усмеваются, и, чтобы не видеть этих ухмылок, девушка старается ни с кем не встречаться глазами. Она шагает в туфлях на низком каблуке, в роскошной перлоновой шубке или в превосходном платье — смотря по сезону, — гордая, с холодно прикрытыми глазами, неприступная. И никто не знает, как открылось бы ее сердце всякому, буквально всякому, кто по-настоящему полюбил бы ее.

Эта девушка — я.

Меня зовут Лиз Обельдуайе. Но если посмотреть на меня вблизи и без грима, девушкой меня никак не назовешь.

Когда я бесцельно хожу по набережной или сижу где-

нибудь на сквере, то каждый раз мне кажется, будто все моложе и моложе становятся мальчики в черных рубашках, которые, потягивая сигаретку, ждут своих подруг, и будто все тоньше и неуклюжее делаются локотки, выглядывающие из-под коротких рукавов у девчонок, которые приходят к этим мальчикам. Но на самом-то деле я знаю, что совсем такие же тонкие и неуклюжие локти были и у меня, когда я спешила на свои первые свидания, и таким же безусым был мальчишка, ожидавший меня.

Нет, дело не в том, что те, кто сейчас первый раз втихомолку целуются, становятся все моложе. Дело в том, что я становлюсь все старше.

Когда я не на сцене «Черного солнца», я выгляжу на тридцать пять лет. Да мне и есть столько. Я старею. Я стареющая дочь своих родителей.

Иногда это кажется мне самым главным из всего, что вообще происходит в мире. Главнее, чем спутники, летящие в космос, чем взрывы ОАС в Париже. Мне хочется остановить толпу на рю Монмартр и крикнуть:

— Слушайте, люди, мне уже тридцать пять, и я одна! Остановитесь! Задумайтесь!

Но я, конечно, молчу. В своей роскошной шубке я иду с неприступным и гордым видом. Со стороны может показаться, что уж у кого-кого, а у меня-то все в порядке.

А что же у меня есть на самом деле? Я могу перечислить. У меня есть шесть выходных платьев, три домашних, два демисезонных пальто, плащ и несколько пар туфель. Как воспоминание об отце, морском офицере, в номере на стене над кроватью висит кортик в ножнах. (К счастью, родители не дожили до того, чтоб увидеть, как их дочь вертит сальто в ночном ресторане.)

Кроме того, есть ваза с бегонией, принадлежащая мне, а не отелю, комплект журнала «Вог» и Жорж.

Что такое Жорж?.. Ах, ведь это так понятно! Жорж — знакомый, который приходит, когда ему нужны деньги, что, правда, бывает не так уж редко.

И все.

Больше у меня ничего нет.

И даже в голове у меня больше ничего нету. Мне не о чем думать. Это для меня постоянная проблема — о чем думать, когда свободное время.

Такова я, танцовщица Лиз Обельдуайе.

Вспоминайте иногда о нас, господа великие политики, банкиры и ученые. Есть много женщин, которым, как и мне, часто хочется крикнуть что-нибудь в толпу на Мон-мартре...

В тот день — это было 12 ноября — я поздно вышла из отеля, позавтракала в кафе, где собака подала мне свежую «Матэн», и пошла пройтись по Бульварам.

В газете было сообщение о новых взрывах ОАС: «Восемнадцать покушений за прошлую ночь в Париже!», заметка о том, что со склада 5-й инженерной роты террористы по фальшивым документам вывезли три пулемета, и большая статья о переговорах в Алжире. Все это я просмотрела, не задерживаясь, поскольку твердо убеждена, что политика не мое дело. ОАС или не ОАС — мне от этого ни лучше, ни хуже.

Кроме того, была маленькая заметочка об английском астрономе Ловелле. Рассказывалось, что будто бы в ночь на 11 ноября этот самый Ловелл обнаружил над Ла-Маншем на высоте в тысячу километров появление какого-то неподвижного, парящего на месте тела.

И, наконец, был репортаж с фотографией об очередной свадьбе балерины Насти Лопуховой. Свадьба-то меня и задела. С этой знаменитостью мы когда-то вместе учились в балетной школе мадам Жоссеран, и если она чем-нибудь отличалась от других, то лишь нахальством. Тогда она была никакой не Лопуховой, а Жаклин Паньоль. Но поскольку всюду считается, что талантливой может быть только русская балерина, Жаклин стала Настей.

Вообще надо сказать, что я завистлива. Да все мы в этом возрасте, пожалуй, делаемся такими. Чужие успехи нас огорчают, а несчастья радуют. Хотя, возможно, дело и не в зависти. А просто каждый человек, которому после сорока, считает, что теперь от жизни следует ждать скорее плохого, чем хорошего, и, узнав о чужом несчастье, радуется, что на этот раз удар судьбы попал не в него. То же самое и со счастьем. Видимо, люди полагают, что удачи распределяются на земле равномерно, и, если уж повезло другому, наверняка не достанется тебе...

Размышляя таким образом, я брела по Бульварам, и на углу рю д'Анжу мне попался инвалид на костыле, который продавал флоксы. Он держал в руке букет и тупо повторял:

— Поставьте их в воду, и все будет в порядке.

Я спросила:

— Неужели все будет в порядке?

Он тупо подтвердил:

— Поставьте их в воду, и все будет в порядке.

— Все-все?..

— Все! Только поставьте в воду.

С деньгами у меня было туго, потому что в свой последний визит неделю назад Жорж выманил у меня целых триста франков, утверждая, что собирается с кем-то на паях открыть красильню. (Когда он пришел, то сначала говорил, будто ему нужно внести залог в рекламное агентство. Но потом забыл об этом.) Так или иначе, я взяла несколько флоксов и потом всю дорогу домой повторяла: «Теперь все будет в порядке».

И действительно, кое-что в моей жизни готовилось измениться.

Но это было уже поздно вечером в «Черном солнце».

Я исполнила свой первый номер с песенкой и сальто, потом отдышалась, протерлась спиртом и спустилась в зал. В ресторане порядок таков, что после выступления девушки не имеют права отсиживаться в нашей общей уборной. Они должны быть в зале и увеличивать оборот буфета и кухни. Нас можно пригласить на твист, можно пригласить за столик, и тогда мы будем заказывать, уж конечно, не самое дешевое вино. А порой мы и сами присаживаемся за столики к знакомым или к незнакомым, но к таким мужчинам, относительно которых есть уверенность, что они не станут возражать. Впрочем, это никого ни к чему не обязывает. Посидеть, поболтать, и на этом обычно все заканчивается. А тщеславию большинства мужчин почему-то льстит выпить рюмку с девушкой, которая только что крутила сальто на сцене.

Итак, я спустилась в зал и огляделась. Несмотря на понедельник, почти все столики были заняты. Возле бара устроилась знакомая мне компания биржевых спекулянтов, и, кроме того, я могла сесть к двум журналистам, которые издали уже кивали мне. Но я почему-то не хотела разговаривать ни с теми, ни с другими.

А под низкой пальмой на самом неудобном месте в центре зала сидел мужчина лет тридцати пяти или сорока. Один.

Я подошла к нему, остановилась как бы случайно и улыбнулась. Есть такая специальная улыбка, от которой сразу можно отказаться, если она не производит должного впечатления. Вы улыбаетесь чуть растерянно и искательно, и на лице у вас написано, что вы кого-то ищете, но этого «кого-то» в зале нет. Дальше все зависит от поведения мужчины.

Мой мужчина секунду подумал, встал и спросил, не посижу ли я с ним. При этом он смутился.

Немало можно бы написать о том, как вообще встают мужчины, если вы собираетесь сесть за их столик. Это целая поэма. Один вскакивает с подчеркнутой вежливостью, расправляет плечи, выкатывает грудь и делает отрывистый кивок одной головой, как адъютант, только что сообщивший своему генералу, что историческая битва проиграна. Так и слышишь звон шпор. Мужчина вежлив, но вежливость разбавлена изрядной долей хамства. Он как бы говорит: «Замечаете, как я воспитан? Я буду корректен даже с самой последней уборщицей и тем горжусь». Короче, он не упускает случая оскорбить тебя своим благородством. Другой едва-едва привстает, на физиономии у него написано, будто его ничем не удивишь, за столик к нему сдилились и не такие актрисы, как ты, а сама Марлен Дитрих. А сам до смерти рад, что ты стала рядом именно с его столиком, через минуту уже начинает победоносно оглядываться и чуть ли не по пальцам пересчитывает тех, кто обратил внимание на это обстоятельство. И так далее, и так далее...

Мужчина, у столика которого я остановилась, на этот раз был не то. Он просто встал. Без всяких задних мыслей.

Мы помолчали. На первый взгляд он показался мне провинциальным учителем. Провинциальным, потому что его окружала атмосфера свежести, вообще чуждая нашему кабаку. Но вместе с тем я-то знаю, что провинциальные учителя и государственные чиновники самая противная публика. Такой чиновник, когда ему становится известно, что предстоит поездка в Париж, несколько месяцев подряд экономит и копит, тираня свою жену, при каждом удобном случае поносит развращенный Монмартр, а потом является в Париж, рассчитывая до конца испить чашу недоступных дома наслаждений. Однако, попав в наш либо такой же ресторан, он вскоре замечает, что ему не хватает ни



Тут я в первый раз внимательно посмотрела на его лицо...

денег, ни лоска, чтобы быть наравне со столичными прожигателями жизни, и что на него все плюют. Тогда совершается полный поворот. Чтобы спасти свое самолюбие, он принимается внушать себе, будто ему противен весь этот ложный блеск, что он хотя и скромный, но честный человек и ему, знаете ли, в высшей степени свойственно понятие долга.

Но мой новый знакомый был что-то другое.

К нам подошел гарсон и остановился в выжидательной позе. Мужчина как бы очнулся от каких-то своих дум, миг соображал и спросил, не хочу ли я чего-нибудь. Я «захотела» рюмку муската и кусочек остандской камбалы.

Мы посидели чуть-чуть, и я спросила, как ему показался наш концерт. Он снова очнулся, сосредоточился на моем вопросе и сказал:

— Да, конечно... Конечно... очень хороший концерт.

В действительности же концерт ему не понравился. Я это чувствовала. Он хотел сделать мне приятное. Но не умел врать.

Тут я в первый раз внимательно посмотрела на его лицо и увидела, что он красив. Потом я взглянула еще раз и убедилась, что он очень красив. Еще потом я поняла, что никогда не видела ничего прекраснее этих черт. И то была не внешняя, а глубокая, проникающая красота.

У человека, который сидел рядом со мной, было лицо гения.

Я немножко разбираюсь в таких вещах. Мой отец был довольно известным в свое время математиком-любителем, и в нашей квартире — мы жили тогда на авеню Фош — иногда собирались ученые: математики и физики. Когда я была маленькой, я два раза видела Поля Ланжевена.

И вот у мужчины, за столик которого я села, в лице было то же, что было и у Ланжевена. Что-то совсем особенное.

Его лицо светилось необыкновенным, всеобнимающим умом.

Впрочем, сначала, в первый момент, когда я почувствовала, что он за человек, я вдруг обозлилась на него. Мне стало обидно оттого, что он такой, в то время как я сама плохая. (Я-то ведь знаю, что я плохая.)

Неожиданно для себя я сказала:

— Послушайте, вы, наверное, ужасно умный, да?

Знаете все обо всем. Можете сосчитать в уме, сколько будет корень двадцать пятой степени из трехсот сорока трех.

Он тотчас догадался о том, что происходило у меня в голове, смутился и сказал:

— Нет-нет, что вы! Я совсем ничего не знаю... Совсем ничего...

Последние слова он произнес очень тихо и опустил голову. Потом поднял ее и прямо посмотрел на меня.

И странно, но от этого взгляда вся моя злоба испарилась, как вода на горячей сковороде. Мне сразу сделалось так хорошо, как бывает только в молодости.

Это даже трудно объяснить.

У него был такой взгляд... Понимаете, как неожиданный запах свежего сена... Представьте себе, скажем, что вы годами — нет, десятилетиями — живете где-нибудь между площадью Республики и Центральным рынком, к семи утра являетесь к станку или вот в ресторан, как я, по окончании работы кидаетесь по магазинам, затем дома хватаетесь за стирку, уборку, мытье посуды и к вечеру без ног падаете, наконец, спать. А если в субботу или воскресенье выдается свободная минута, то вы идете в кино и дремлете на каком-нибудь дурацком фильме. Представьте себе, что такая жизнь длится десятилетиями, и вы совсем забываете и природу, и то, что у вас было когда-то детство, и то, что мать возила вас в деревню, и то, как пахнул свежескошенный клевер, когда вы были еще совсем девчонкой...

Даже не знаю...

Его взгляд как-то возвращал человека к самому себе, к тому глубокому и чистому, что, наверное, есть в каждом из нас и что наша повседневная жизнь забрасывает мусором и загрязняет.

Ведь, собственно говоря, в определенном возрасте мы все начинаем жить постоянным ожиданием. Оцениваем каждый миг не по тому, что он сам собой представляет, а только как некое преддверие к тому хорошему, что, возможно, наступит в будущем.

Но тогда, рядом с ним, я вдруг почувствовала, что живу именно сейчас. Это ударило как открытие — я ведь живу! Вот то, что сейчас происходит вокруг меня, действительно происходит.

И я другими глазами посмотрела на наш зал. Сначала

был каба́к как каба́к. Пласты дыма, разговоры, и пьяные выкрики, и звуки какого-то вальса, которые извлекал из рояля наш маэстро Адам. Все было слитно, все в груди, оглушающе и отупляюще. Но потом общий шум разделился на составляющие, как общий гул моря разделяется на голоса отдельных волн, когда подходишь к самому берегу. Я услышала вальс, который играл Адам, и подумала о том, что он талантливый пианист. Я увидела лицо одной из наших девушек за соседним столиком и подумала о том, что если бы этой девушке сбросить маску притворства и лжи, то это было бы действительно прекрасное свежее лицо. Стало вдруг просто-просто и покойно, и хотелось, чтобы вечно лились звуки вальса, исполняемого лысым согнутым человеком с морщинистым лбом, и вечно длилась эта минута. Я сама сделалась молоденькой и простой и при этом знала, что я уже взрослая и стареющая женщина, но от этого мне не было обидно.

И неожиданную цену получило то, как мужчина рядом со мной бережно подвигает мне тарелочку с рыбой, как он поднимает свою рюмку и приглашает меня пригубить вино, сделанное и доставленное ко мне на столик трудом многих незнакомых мне людей.

Но тут на сцене, на фоне черного занавеса, возник мосье Валиханов, и Адам оборвал игру. Я встала.

Во втором отделении у нас все «экзотические танцы». Мне приходится изображать какую-то африканку. Во время своего номера я старалась не смотреть на него, но два раза ловила его взгляд, дружеский и чуть-чуть сочувственный.

По понедельникам мы кончаем рано — в час. Я задумалась: подойти к нему или нет? И решила не подходить. Но в глубине сердца у меня была надежда, что завтра он тоже придет в «Черное солнце».

Я переоделась, но пошла не домой, а села в метро и доехала до Эглиз де Пантэн. Я люблю иногда выбраться ночью далеко за Внешние бульвары, за окраину и брести по незнакомым улицам туда, где кончается город. Доходишь до последнего дома, до последнего фонаря, а дальше уже начинается безлюдье, темнота. Ничто... Кустарники, потонувший в поле одинокий огонек, и кажется, будто за этой чертой неизвестность и другие законы, которых ты совсем не знаешь.

Так и на этот раз. Я вышла из метро, ночным автобусом на Сен-Дени доехала до самой окраины и вышла к последнему строящемуся дому. Не было ни души, горела висящая на проводе лампа, где-то наверху ветер шевелил на крыше отставший кусок железа.

Передо мной лежало черное поле, а на другой стороне его, далеко-далеко, почему-то стоял один огромный дом, светясь сразу всеми бесчисленными окошками... И мне пришло в голову, что в том доме люди живут совсем не как мы, а другой, полной, счастливой и какой-то немножко сказочной жизнью.

Мне хотелось дойти до большого дома с сияющими окнами. Но, к сожалению, туда не было дороги. Асфальт кончался. Начиналось темное поле, грязь и канавы, в которых тускло поблескивала вода.

Домой я добралась на такси в начале четвертого. На углу Пуассоньер стоял полицейский патруль, и, пока я шла, еще два раза навстречу мне попадались полицейские машины. Оасовцы недавно передавали по подпольному радио сигнал: «Скоро зацветут апельсиновые деревья». В Париже опасались, что это знак к началу фашистского мятежа, и правительство нервничало.

Из подвального этажа отеля пробивался свет в комнате Сэрелей, и, проходя мимо, я увидела, что муж и жена не спят, а работают. Мосье Сэрель был бледен, он сидел в рубашке с расстегнутым воротом, его руки двигались подобно машине.

Этот Сэрель является едва ли не единственным из знакомых мне мужчин, кого я полностью и глубоко уважаю. Он всегда верен самому себе. Он скромненький, тихий, его почти незаметно в доме. Но когда в Париже была всеобщая демонстрация против террористов ОАС, на Монмартре во главе колонны я увидела его. Мосье Сэрель шел такой же спокойный и скромный, как всегда, а в лацкане у него была ленточка Почетного легиона. И оказалось, что во время войны он был бойцом Сопротивления, прошел гестаповские тюрьмы и в лагере уничтожения был избран членом Интернационального комитета. А потом я видела его еще в ноябрьской демонстрации бывших узников фашизма, и там он шел знаменосцем колонны...

Я поднялась к себе на четвертый этаж. В вестибюле мне сказали, что заходил Жорж, а в комнате на полу я

нашла подsunутую под дверь записку: «Был. Приду еще раз позже. Жди».

Когда-то Жорж установил, что его почерк похож на почерк Наполеона, теперь видит в этом сходстве некое указание судьбы и кичится им. Его «р» всегда отделяются от других букв и хвостиком чуть не налезает на нижнюю строчку. Вообще он суетен, лжив, весь поза и игра. Сегодня воображает себя несбывшимся великим артистом и напропалую врет о необыкновенных способностях, якобы проявлявшихся у него в детстве. Завтра решает, что в нем заложен гениальный писатель. (При всем этом он не стесняется и украсть, если что плохо лежит.) Последний его конек — патриотизм. Он прикидывается, что весьма озабочен будущим Франции, и произносит туманные речи о необходимости «действовать». У меня было подозрение, что он вступил в «Союз армии и нации», и в этом подозрении я укрепила тем, что раза четыре видела его вместе с неким Дюфуром, относительно которого все знают, что он связан с руководящим конспиратором ОАС полковником Аргу.

В ту ночь мне противно было даже и думать о Жорже, и я надеялась, что он не придет. Переделась в домашнее платье и пошла в ванну, которая у нас в конце коридора.

Но когда я вернулась, в номере горел свет и за столом сидели Жорж и Дюфур. Жорж был слегка пьян, его короткие черные волосы растрепались и торчали в разные стороны.

Увидев меня, Дюфур вскочил и сказал:

— Ага, вот и явилась наша крошка. Ну, оставляю вас вдвоем.

Дюфур совсем молод, ему двадцать пять лет. У его родителей усадьба где-то под Ораном, и вообще они владеют землями в Алжире. Но сына постоянно можно видеть на Елисейских полях, одетого по самой последней моде и всегда при деньгах. Он блондин, с ясными синими глазами на дерзком и очень красивом лице, хорошо сложен и развращен до мозга костей. При каждой встрече Дюфур считает своей обязанностью поиздеваться над моим ростом.

Он подскочил, чтобы поцеловать мне руку, и я выдержала ее. (Ростом он на полголовы ниже меня.)

Он сделал шаг назад и театрально развел руки.

— Что? Королева сердится?..— Потом переменял тон: — Так, значит, Жорж, мы договорились? Не подведешь? Слово джентльмена, да?

Жорж, развалившись на стуле, смотрел на него пьяно и задумчиво. И я тоже молчала. Встречаясь с Дюфуром, я как-то теряю дар речи и не знаю, чем отвечать на его гнусности.

— Ну, так как?

Жорж поднял руку и жестом показал, что все будет в порядке. Тогда я еще не знала, что именно должно быть в порядке.

Дюфур издевательски поклонился мне, потрепал Жоржа по плечу, назвал его счастливецом и ушел.

Я стала стелить постель и тут поняла, почему они оба очутились у меня в номере. Жорж был пьян не слегка, а вдребезги, и Дюфуру пришлось довести его ко мне. Жорж попробовал встать и опять рухнул на стул. Его не держали ноги.

Постелив, я подошла к нему и увидела, что на столе лежит куча кредиток. Там было около двух тысяч новых франков. Заметив мой взгляд, он поспешно стал пьяными движениями засовывать их в карман куртки, не попадая туда.

Я спросила, не принес ли он мне свой долг.

— Какой д-долг?

Он уже забыл.

Я спросила, откуда у него деньги.

Жорж тихо засмеялся, потом сделался серьезным, огляделся, приложил палец к губам:

— Тс-с-с...

Затем сказал голосом, вдруг совсем отрезвевшим:

— Родина знает, кому из ее сыновей надо помочь.

И снова рассмеялся.

На другой вечер в ресторане всю первую половину концерта я из-за занавеса выглядывала в зал. Но его не было. Я чувствовала, что у меня от этого даже лицо делается все темнее и темнее. Перед моим номером одна из наших хористок спросила, здорова ли я.

Подошел мой выход. Я начала петь, и в середине песенки мне показалось, что воздух как-то переменялся вокруг и стало легче дышать. Неподалеку от входа — тоже возле пальмы — за столик садился он.

Я кончила номер, поспешно переоделась и чуть ли не бегом направилась через зал к нему.

Он еще издали встал.

Я подошла, протянула руку.

Пожимая ее, он попросил разрешения познакомиться со мной его друга.

Тут только я поняла, что он не один. Рядом стоял еще мужчина, которого я не заметила со сцены, потому что его скрывали ветки пальмы.

Я подняла глаза на этого второго. Сердце у меня на миг остановилось и лишь потом опять застучало.

У второго мужчины было удивительное лицо. Он тоже был гений.

Это чувствовалось ясно-ясно.

Даже не знаю, сказала ли я что-нибудь ему и услышала ли что-нибудь в ответ. Я была ошеломлена, опомнилась только через некоторое время и увидела, что сижу за столиком с ними двумя.

У Второго был взгляд, который тоже проникал во все до самой глубины вещей, проникал с симпатией и пониманием. Но он был чуть жестче Первого. Жестче не в смысле жестокости или какой-то сухости характера, а в смысле большей твердости черт его лица и большей определенности того, что он говорил. Они были разные — эти двое мужчин, — и оба отмеченные печатью гения. Второй часто как бы замыкался в себе, уходил от нас на какие-то мгновения, и тогда по его лицу проходили чуждые мне озарения и тревоги, которые он гасил, возвращаясь.

Тому, кто в будущем прочтет эти записи, сможет, вероятно, показаться странным, что эти люди не спросили, как меня зовут, и не назвали своих имен. Но тогда я ничуть не удивилась. Почему-то это не было ни оскорбительным, ни обидным, и я чувствовала, что так и нужно.

Странно быстро прошло время, и на сцене снова появился мосье Валиханов.

Я встала. Они тоже, и Второй спросил, не окажу ли я им честь провести с ними весь сегодняшний вечер. У них есть еще друзья, они остановились в Нейи и были бы очень рады, если б я согласилась навестить их.

Я согласилась.

После концерта мужчины подождали меня у входа в ресторан.

Мы взяли такси и поехали по ночному Парижу. Бульвары уже опустели. Бесчисленные магазины безмолвно вползли, светились витринами, вереницами пробегали фонари, и темнели массы каштанов. По узким улочкам шофер пересек Елисейские поля, по мосту Альма мы переехали на ту сторону Сены. Мой Первый сказал, что, поскольку их друзья, пожалуй, еще не все собрались, можно еще немного проехаться по городу. Мы поехали мимо церкви святой Клотильды.

Потом Первый взглянул на часы и попросил шофера ехать в Нейи.

Мы опять проехали над черной Сенной по мосту Пасси, пересекли широкую авеню Фош и миновали Пор Дофин. Слева у нас был неосвещенный, темный Булонский лес, справа — особняки. И у одного мы остановились.

Видимо, эти люди сняли на время весь дом, потому что, кроме них, там никого не было.

Мы поднялись на второй этаж. Там в большом круглом зале с камином и развешанными по стенам старинными гобеленами сидели за столом трое мужчин. И еще один — четвертый — поднялся по лестнице почти сразу за нами. Во всяком случае, он как раз поспел к тому моменту, когда трое встали, встречая меня.

И все четверо были гении.

Впрочем, я уже не удивлялась. Я ожидала этого.

Они были гении. Все не такие, как я, и не такие, как обыкновенные люди. От них исходил магнетизм, как и от первых двух. Магнетизм разума, духовной красоты и добра.

Я, пожившая женщина, показалась себе маленькой рядом с ними. Но не обидно маленькой, а просто еще не выросшей.

Стол был заранее накрыт. Мы сели.

Тут Второй, который приехал со мной, спросил мужчину, пришедшего позже всех, какие у него впечатления. И мужчина ответил, что хорошие. Все другие тоже посмотрели на него, раздалось еще несколько вопросов, и я поняла, что этот последний мужчина только что вернулся с завода Рено.

Потом по разговору я поняла, что они вообще как бы исследовали Париж, разделив его на сферы. Они бывали на заводах, в тюрьмах и судах, на бирже, в магазинах, на

рынках и в кафе. Они свели знакомство с рабочими, лавочниками, дипломатами, аристократией, артистами и художниками.

И все это длилось в течение всего лишь двух или трех суток.

Они были явно приезжими, раньше никогда не бывали в Париже, и в то же время их французский язык был таким, как если бы они родились и выросли где-нибудь между площадью Согласия и островом Сите.

Очень тактично и деликатно они расспрашивали меня о том, как я живу, но это было совсем недолго. Уже минут через пятнадцать после того, как мы сели за стол, у меня возникло такое чувство, будто мы все давно-давно знаем друг друга, будто они всегда следили за моей жизнью, радовались, если мне что-нибудь удавалось, и печалились, когда мне бывало плохо.

В их манере разговаривать я заметила, впрочем, одну странную вещь. Друг к другу они не обращались по именам, да как-то и не испытывали в этом нужды. Если один хотел что-нибудь сказать другому, он просто говорил свое, а тот, другой, каким-то способом сразу понимал, что обращаются именно к нему. Как если б у них вообще не было имен.

Они были совершенно разные. Один удивлял огромными черными глазами и гипнотизирующим взглядом. Я просто тонула в его глазах, если он останавливал их на мне больше чем на секунду. Заметив свой гипноз, он тотчас старался уничтожить его действие, отводя глаза в сторону и стесняясь этого так же, как мой самый Первый стеснялся своего взгляда в ресторане. (Между прочим, у него была сломана рука и положена довольно неумело в маленький гипсовый лангет. На бинте чернела пятном засохшая кровь, что показывало открытый перелом. Рука беспокоила его, он порой болезненно морщился, забываясь.)

Другого характеризовала удивительная пластичность и красота движений. Хотелось непрерывно любоваться их законченностью. В Третьем как бы постоянно пела музыка, ритмы пробегали по его лицу, он прислушивался к ним и снова пускал их на свободное течение.

И вместе с тем этих людей объединяло какое-то общее качество. Качество некой странной неисчерпаемости и бесконечности, что ли. Остановив взгляд на лице одного из

них, уже не хотелось отрываться, хотелось смотреть бесконечно, открывая все новое и новое. Так же как бесконечно можно смотреть, например, на скульптурный портрет египетской царицы Нефертити.

Мы разговаривали. Попытайся я передать здесь их слова, это прозвучало бы банально. Все дело было в том, как слова говорились и что они значили. Миры открывались в одной короткой реплике, сопровождаемой взглядом. Пожатие плеч показывало, как бесконечно много понято в том, что сказала ты.

Сначала я решила, что они ученые, занятые исследованием проблем физики, поскольку виден был их интерес к научным учреждениям Парижа. Но потом я отказалась от этой мысли. Выяснилось, что они недавно пережили какую-то катастрофу — сломанная рука была ее следствием, — в ходе которой взорвался и пришел в негодность некий агрегат. На миг мне пришло в голову, что они и приехали к нам исправлять поломку, но потом оказалось, что, напротив, неисправность агрегата каким-то странным образом ограничивала их пребывание в столице.

Вскоре мы встали из-за стола. Я уселась в кресло у камина, и снова остановилось время, я поняла, что живу сейчас. Душа была омытой и чистой, жизнь выпрямилась, исчезла всегдашняя жуткая пропасть между надеждами детства и разочарованиями зрелого возраста, и не хотелось ничего другого, как только сидеть с ними вот так в зале со старыми гобеленами по стенам, смотреть на этих людей и слушать, как они обмениваются репликами о каком-то своем общем деле — неизвестном мне — которое привело их в Париж.

Когда Первый провожал меня в «Бургундию», я уже знала, что сама переменялась. Знала, что не буду теперь завидовать чужим успехам, как раньше, что, встретив на улице больную старуху, не обрадуюсь тому, что это не я, а просто пожалею ее...

Среда — после той ночи была среда — оказалась у меня хлопотной. В ресторане начали готовить новую программу, старик Валиханов гонял нас с двенадцати до трех. Потом мне пришлось зайти в ателье примерить юбку и в страховую контору — я застрахована от несчастного случая на сцене.

Но я была рада этим хлопотам. Мне хотелось, чтоб вре-

мя бежало быстрее, так как мы договорились, что вечером я снова приду к тем шестерым в Нейи.

В страховой конторе я освободилась только около пяти и зашла в «Арену» перекусить.

В кафе было тесно и шумно. Половина посетителей в «Арене» обычно иностранцы, которые, как правило, всегда подозревают, что их обслуживают не так, как надо. Гарсоны носились совсем уже оглушенные, никого не удавалось дозваться. Но бармен мне знаком. Я подошла к нему, попросила жареный картофель с чашкой простокваши, и, улучив момент, он сам сбегал на кухню.

Я уселась в уголке зала со своей тарелкой и тут увидела, что через несколько столиков от меня сидит Жорж.

Вообще Жорж обычно ходит в каких-то куцых мальчишеских куртках, которые придают ему моложавый вид. Но сейчас он был в хорошем коричневом костюме. На миг я удивилась, откуда этот костюм взялся, но потом вспомнила о деньгах, которые видела у него.

За столиком с ним были две иностранки. Шведки, судя по розовым, с детской кожей лицам и светлым льняным волосам. Но скоро я поняла, что шведки сами по себе, а он тут сам по себе. Женщины разговаривали, а Жорж кого-то ждал, поминутно поглядывая на двери.

Я наблюдала за ним как-то механически, разделиваясь со своим картофелем, и в какой-то миг по его лицу догадалась, что тот, кто ему был нужен, появился наконец.

Как я и предполагала, это был Дюфур. Он подошел к столику свободной походочкой, сел, и они с Жоржем заговорили, прижавшись друг к другу и чуть не прикасаясь лбами.

Они сидели ко мне спиной, и я увидела, как рука Дюфура скользнула в карман, вынула оттуда какой-то небольшой продолговатый пакет и сунула в ладонь Жоржу. Потом Дюфур встал, быстро огляделся, покровительственно похлопал Жоржа по плечу и ушел. А Жорж остался сидеть, задумавшийся.

Мне не хотелось с ним видиться. Я встала и стороной пошла к дверям.

Но вообще чем-то эта встреча мне не понравилась.

Я была на Периньер, когда меня сзади окликнул Жорж.

— Ты куда?

— Домой.

— Я приду к тебе сегодня.

Я сказала, что буду занята весь вечер допоздна.

— Тогда я приду завтра вечером.

Я ответила, что не знаю, буду ли я у себя и завтра.

Он страшно удивился, маленькие глазки вытаращились, на физиономии выразилась растерянность. Даже веснушки побледнели.

— Ты что, завела себе кого-нибудь?.. Но понимаешь, мне завтра ночью обязательно надо быть у тебя. Обязательно.— Он даже расстроился и сразу постарел лет на пять.— Клянусь тебе — это очень важно. Честное слово. Это касается нас обоих.

Он так меня просил, что в конце концов я разрешила ему прийти.

На этом мы расстались. Я приехала в «Бургундию», полежала час, потом пешком пошла в ресторан, и вечером после концерта мой Первый отвез меня в особняк у Булонского леса.

Снова было то же ощущение гармонии.

На этот раз они меньше занимались мною. Было молчаливо согласовано, что я уже свой человек, что теплая и тесная дружба между нами не требует того, чтобы одни развлекали других.

Один из них быстро писал что-то за столом. Однажды я заметила, что он писал, не касаясь пером бумаги, а только водя в воздухе над ней.

В час мы сели ужинать, и разговор сделался общим. Кое-что в их поведении подсказало мне, что они уже заканчивают сбор материала о Париже и их пребывание в нашем городе близится к концу. В то же время я начинала догадываться, кто эти люди, и догадка стала терзать меня.

Прощаясь, мы договорились с Первым, что завтра днем отправимся гулять в Булонский лес.

Эта прогулка останется со мной на всю жизнь. Я никогда и не думала раньше, что Булонский лес может быть так прекрасен.

В отель за мной зашли Первый и еще тот мужчина, у которого был гипнотизирующий взгляд.

Мы поехали по авеню Фош, потом мимо Большого озера, там на какой-то аллее оставили такси и пошли просто куда глаза глядят.

Осень была уже в полном своем умирании и в полном своем торжестве. Чем дальше мы уходили от озер, тем безлюднее становилось на аллеях, а когда мы в глубине пересекли Лонгшан, огромный парк оказался только наш.

Мы были одни.

Деревья стояли, утопая в ковре желтых листьев. Березы и тополь уже облетели, но липы еще были зелеными, а дальше в глубину шло совсем царственное буйство красок. Темные буки, желто-зеленые кроны дубов, багряная и оранжевая рябина и бурые грабы — все перемешалось в каком-то хороводе. Плакучие ивы стояли в прудах на островках, как серебряные кусты, а клен в последнем отчаянном усилии жить, в последнем прощании выгнал в верхние листья горящий багрово-красный цвет, как яркую кровь природы.

Мы молчали. Было тихо, только падали листья и шуршали.

Осеннее небо сияло ясно, чисто. Стоял редкий для ноября день. Дышалось легко.

Мы шли всё дальше и дальше. И уже в какую-то музыку складывались, заворачивали и буйство разноцветных крон, и безлюдье пустынных аллей, и шепот падающих листьев.

Изредка за поворотом одиноко белела статуя античного бога, задумавшегося среди облетевших кустов акации. Иногда вдали, в густоте желтых ветвей, четко обрисовывался край крыши уединенного шале. Мелькало озерко, заросшее перламутровой тиной. Кричала птица.

И казалось, захоти — и к шуршанию листьев прибавится легкий шорох шагов, появятся дамы в кринолинах, Ронсар сядет на скамью, закусив губу, слагая стих; бледный Паскаль с напряженным лицом пройдет стороной; юноша в шегольском мягком цилиндре прошлого века обнимет девушку из предместья.

«Сколько слов о любви здесь прошептано...»

Мы молчали.

Аллеи сплетались и расплетались, то уводя в даль, затянутую прозрачным маревом голубоватых теней, то лукаво поворачивая к неожиданной беседке в узлах опавшего плюща.

Неожиданный порыв ветра шумел порой наверху в сомкнутых кронах. Ветви стонали, испуганными стаями

слетали листья. Потом опять все успокаивалось. Становилось тихо, и казалось, что темные стволы огромных старых лип шепчутся друг с другом, вспоминая тех, кто здесь гулял, надеялся, верил, любил.

Старый парк соединял прошлое с настоящим. Осень говорила, что все это уже было, было, было: и молодость, и увяданье. Все было, проходило и растворялось в вечной жизни людей и вечном круговороте природы.

Чего же ты просишь, осень?..

Мы шли и молчали.

Свежо и горько пахло палым листом. Иногда длинная аллея раздвигивалась, раскрывался луговой простор. В бурных осенних травах синими глазками глядели несдающиеся поздние васильки, ромашка, заблудившаяся во времени, еще удерживала беленький лепесток на жухлой головке. Фиолетовые леса окаймляли горизонт, с прощальным резким криком стая журавлей тянула в высоком небе.

Как прекрасна Земля! Наша Земля...

Первый проводил меня на Монмартр, и там я узнала, что это была наша прощальная прогулка. Впрочем, я уже и сама догадывалась. Первый попросил прийти проводить их. Они покидали Париж в два часа дня.

Я поднялась к себе на четвертый этаж. В номере как раз шла уборка. Я остановилась в коридоре подождать, и тут на меня налетела мадам Ватьер из 314-го. Мадам Ватьер — вдова коммерсанта. Она живет в отеле уже лет пять, готова всегда и во всем помогать всякому и горячо любит посплетничать.

Меньше всего мне хотелось разговаривать с мадам Ватьер в этот момент. Но деваться было некуда, и она вывалила на меня целую грудку новостей. Посыльный нашего отеля женится на второй дочери владелицы кафе, уже объявлен день свадьбы. Вчера у сквера Темпл был митинг против оасовцев — она сама тоже ходила. Сегодня вечером будет митинг возле Архива, но очень поздно. Туда пойдет мосье Сэрель, и его жена беспокоится. У нее, у мадам Ватьер, в номере протекает потолок...

Когда я опять вышла на улицу — довольно рано, потому что перед рестораном мне нужно было еще зайти к портнихе, — жена Сэреля как раз прогуливала своих четырех ребятишек перед отелем. Я остановилась на минутку полюбоваться ими. Такое изобилие жизни выражалось на

четырёх розовых мордашках, такими аккуратными были шерстяные синие костюмчики, так блестели начищенные ботиночки, что казалось невероятным, что одна только мать может обстирывать и обхаживать все это семейство.

Мы перекинулись с мадам Сэрель несколькими словами.

Две девочки чинно сидели рядом с матерью на стульях возле устричной. А мальчишки гонялись по тротуару, отнимая друг у друга мяч.

Глядя на них всех, я подумала, что Сэрель выше всего, выше всяких политических убеждений ставит возможность воспитать здоровыми и счастливыми своих четырех детей. Для того, собственно, он и жил. Но потом оказалось, что я была неправа...

В этот день в «Черном солнце» концерт был коротким. Поскольку мне лишь завтра надо было встретиться с моими друзьями в Нейи, я решила проехаться по своей привычке на окраину. Я добралась до Эглиз де Пантэн и оттуда пешком пошла к пустырю, где за темным полем далеко стоял большой дом и светил всеми окнами.

Я стояла, глядя на этот дом, и мне вспомнилась старая, читанная в детстве сказка о деревенском мальчишке, который каждый вечер любовался золотыми окошками в дальней деревне за большим полем. Сказка так и называлась — «Золотые окошки». Мальчику очень хотелось дойти туда, где к закату солнца окна всегда загорались удивительным расплавленным золотом. И в конце концов он выполнил свое желание...

На обратном пути я проехала в такси мимо Архива. Перекресток был весь освещен, еще продолжался митинг, и толпа заполняла даже половину Рамбута.

Но дальше все было пусто и тихо. Город засыпал. На узеньких переулочках между Севастопольским бульваром и улицей Ришелье в домах свет горел только в редких окнах.

У меня было такое чувство, будто в последние дни упала завеса, отделяющая меня от мира, и я снова могу смотреть на людей, верить им, любить их. Но потом я вспомнила, что завтра те шестеро уже покидают Париж, и тоска охватила мое сердце.

Возле отеля тоже было совсем тихо. Светились окна в подвале Сэрелей.

В номере я разделась, около часа пролежала в постели без сна. И тут в дверь постучали.

Жорж.

Впрочем, я даже не сразу его узнала. У него было какое-то незнакомое, переменившееся лицо. Глаза бегали. Костюм весь был измят.

Сначала я подумала, что он пьян. Но его странный вид объяснился не этим. Он был чем-то испуган, у него дрожали руки и тряслась голова. Неверными шагами он прошел к столу и сел.

Я спросила, что с ним.

Он посмотрел на меня и сказал:

— Слушай, со мной случилось несчастье. Ты поможешь, если надо будет?

— Какое несчастье?

Он покачал головой. Его трясло, и он никак не мог справиться с этим.

— Принеси чаю. Мне холодно.

Я сходила в коридор, принесла кипятку и заварила чай. Он сделал несколько глотков, и вдруг его стало рвать. Я едва успела поднести полотенце. Несколько раз его чуть не выворачивало наизнанку. Потом это прошло, он откинулся на спинку кресла, осоловело оглядываясь:

— Нет. Это не для меня.

— Что не для тебя?

— Это не для меня. Зря я впутался в это дело.

— В какое?

В коридоре кто-то прошел. Жорж глянул на дверь и весь сжался. Потом шаги стихли.

Жорж взялся за сердце, и мысли его приняли новое направление. Несколько секунд он молчал, прислушиваясь к себе, потом сказал с трагическим пафосом:

— Я знаю, от чего я умру. От сердца.

Ему стало так жалко себя, что у него даже слезы на глазах выступили.

— От сердца. Это точно. У меня недостаточность митрального клапана. Ей-богу... — Затем перескочил на другое: — Это все Дюфур. Гнусный Дюфур.

Так продолжалось полночи. То его начинал бить озноб, и он просил горячего чая. То он начинал допытываться, помогу ли я, если возникнет нужда. Потом вдруг успокоился, повеселел и заявил, что в самое ближайшее время ему

надо поехать в Фронтиньян. Он уйму времени не был на море, а ему давно пора отдохнуть и поправить здоровье.

В конце концов мне все это надоело, я легла спать, а ему постелила на диванчике.

Я проснулась поздно, около двенадцати. В комнате стоял запах винного перегара, табака и одеколона, который употребляет Жорж. Сам он спал, свернувшись на диване калачиком, как ребенок.

Я оделась и спустилась вниз, чтобы позавтракать.

День снова был хороший. Светило солнце, и голубое небо отражалось в не просохших после ночного дождя лужах на мостовой.

Все четверо детей Сэреля опять возились на веранде кафе, и тут же сидела полная мадам Фетю, присматривая за ними. А жены Сэреля не было.

Напротив отеля, на другой стороне улицы, у аптеки, почему-то толпился народ. Я поздоровалась с консьержкой и спросила, что случилось там, через дорогу.

У мадам Фетю дрогнули губы, она глазами показала на детей и затрясла головой. И только тут я заметила, что у нее ужасно расстроенное лицо.

Сердце у меня сжалось. Не слыша уличного шума, я пересекла мостовую и протиснулась сквозь толпу к самой аптеке. В дверях стоял полицейский. Я оттолкнула его.

Посреди помещения стоял длинный стол, и на нем лежал маленький мосье Сэрель. Убитый. Он был, как всегда, аккуратен, в чистом воротничке, и только по пиджаку на груди расплзлось пятно уже засохшей крови. Его мертвые глаза безучастно смотрели вверх, но выражение лица было спокойным и даже вежливым. А руки, работающие руки, которыми он разрисовал по ночам столько открыток, были бессильно простерты по бокам на столе. Во мне все как-то оцепенело.

Рядом с Сэрелем стояла его жена как каменная статуя. В ее глазах была такая безнадежность, что даже страшно было смотреть.

Кто-то сказал рядом:

— Они оставили записку.

Превозмогая себя, я шагнула вперед. На столе у руки Сэреля лежал серый клочок бумаги. Две строчки были набросаны наспех, торопливо: «ОАС наносит удар, где хочет и когда хочет».

Большое наполеоновское «р» отделялось от других букв.

Я тихонько выбралась из аптеки — как раз подъехала машина «скорой помощи», — пересекла улицу, все такая же оцепеневшая поднялась на четвертый этаж и вошла в номер.

Жорж спал, по-детски посапывая, уткнувшись лицом в подушку. Его черные волосы растрепались ежиком.

Я села рядом и просидела, наверное, с четверть часа, глядя на эти волосы. Потом протянула руку и потрясла его за плечо.

Он проснулся, поднял голову и заморгал.

Я сказала:

— Послушай, ты убил Сэреля.

Мне было тяжело говорить. Слова не шли. Их приходилось выталкивать.

Жорж быстро спустил ноги, сел на диване и спросил:

— Откуда ты узнала? Кто сказал?

Я ответила, что поняла это сама.

Миг он смотрел на меня, потом так же быстро поднял ноги в носках и лег, натягивая на себя одеяло.

— Это недоказуемо. У меня есть алиби.

И закрыл глаза.

Я опять потрясла его за плечо.

— Послушай, но ты убил человека, у которого четверо детей.

Он приоткрыл глаза.

— Ну и что? — Он посмотрел на меня, стараясь понять, о чем я говорю. Но его глаза заволакивало сном. — Дай мне спать. Ты же знаешь, как я устал.

Через минуту он уже снова посапывал.

Еще с полчаса я сидела и смотрела на него. Потом мой взгляд упал на часы, и я сообразила, что через час нужно быть в Нейи.

Я написала Жоржу записку, чтобы он не уходил без меня, оставила ее на столе, вышла в коридор и постучалась в 314-й, к мадам Ватьер.

Она открыла мне вся заплаканная.

— Какой ужас! Вы уже знаете...

Но я не дала ей кончить.

— Знаю. Я не об этом. Вчера, когда мы разговаривали, я забыла извиниться перед вами за позавчерашний скандал.

— Какой скандал?

Ее глаза все-таки чуть-чуть оживились.

— Ну как же? Вы же слышали. Позавчера ночью. У меня был Жорж.

— Да, Жорж...

(Жоржа она знала.)

— Так вот этот скандал,— сказала я.— Между Жоржем и Дюфуром. Они ужасно кричали. Неужели вы не слышали?

— Я?.. — Она пожала плечами.— Конечно, слышала.

(Она была уже сама уверена, что слышала.)

— Вы знаете, я просто боюсь. Они так ссорятся. Жорж бывает вне себя.

— В случае чего стучите ко мне,— предложила она.

Дети Сэреля все так же играли на улице возле мадам Фетю и пока ничего-ничего не знали о том, как переменялась уже их жизнь и какие совсем иные дни ожидают их впереди. Толпа возле аптеки рассеялась, и равнодушный быт улицы вступил в свои права.

Я взяла такси и, пока ехала до Нейи, все повторяла себе, что сейчас я должна не думать о Сэреле, не думать, не думать, не думать!.. Что сейчас я еду провожать моих шестерых, самых лучших моих друзей.

Но мне не удавалось не думать.

Шестеро ждали меня. В зале со старинными гобеленами мы выпили по рюмке вина. Тот, с гипнотизирующим взглядом, сказал:

— Ну что же, пора. Пойдемте.

И мы пошли. У них не было никаких вещей, да им и не нужны были никакие вещи — я знала почему.

Мы пошли прямо в Булонский лес.

Мужчины выглядели усталыми, и я подумала, что, может быть, они ни часу не отдыхали, трудясь днями и ночами все те пятеро суток, что провели в Париже.

Мы миновали Лонгшан, за озером свернули влево и уже по тропинке пошли в самую глушь. Солнце скрылось за тучей, заморосил ноябрьский дождик. Пахло мокрой травой, за предыдущую ночь листья с дубов все облетели, и парк казался совсем-совсем покинутым.

Мы вышли на большую поляну и постояли чуть-чуть. Опять у меня было такое чувство, будто они знали меня давно-давно, были друзьями еще моего отца и матери и

тогда уже любили меня, как любят теперь. Что они рады, что я выросла как раз такой, какой они и надеялись меня видеть.

И это было все.

Они стали прощаться, целовать мне руку и уходить.

Как они уходили?.. Да очень просто!

Огромный корабль стоял на поляне. Похожий на наши земные ракеты, фотографии которых можно видеть в журналах и газетах. Только он был прозрачный. Почти совсем прозрачный, так что его и видно было лишь временами, и то едва-едва. Он стоял на огромной треноге, и такая же прозрачная, как бы стеклянная, лестница вела к прозрачному люку.

Порой на фоне неба и обнаженных верхушек дубов делалась видна внутренность корабля. Помещения, переходы, какие-то блоки. Но только мельком, и все тоже прозрачное.

Мои друзья уходили. Они поднимались по лесенке и одновременно делались прозрачными, постепенно исчезая.

Я не удивлялась этому. Я знала, что будет именно так.

Последним остался тот, который был для меня Первым. За столик которого я села тогда в «Черном солнце».

Он взял мою руку, и я спросила:

— Скажите... Как вы считаете, если зло...

Он сразу все понял, его лицо стало твердым и решительным. Он сказал:

— Да. Конечно.

Но у меня были еще сомнения: имею ли я право, могу ли-я брать это на себя?

Я спросила:

— И, значит, я сама...

Он ответил:

— Да. Безжалостно. Каждый должен брать на себя... Но вы не должны быть одна. Ваш мир тоже будет прекрасен, но имейте в виду, вы не должны быть одна. Помните это.— Потом лицо его смягчилось, и он прошептал: — Прощайте, моя дорогая. Мы вернемся, но это будет не скоро.

Он поцеловал мне руку, сделал несколько шагов по желтым и черным мокрым листьям и стал подниматься по лесенке, постепенно стекленея и исчезая, как все они.

А я стояла и стояла. Дождь шумел. Чуть колыхнулись

ветви деревьев, что-то огромное и призрачное мелькнуло, поднялось и растворилось в сером небе...

Я вернулась на Лонгшан, прошла пешком около двух километров по сырому асфальту, остановила такси и приехала в отель.

Жорж уже встал и гладил свой пиджак. Его ночные страхи кончились, он был бодр и беззаботен...

Я сказала, чтоб он пришел ко мне вечером вместе с Дюфуром.

— Зачем?

— Мне надо.

— Но зачем? Ты же понимаешь, я не распоряжаюсь его временем. Он занятой человек.

Некоторое время Жорж артачился, но потом по моему тону понял, что лучше подчиниться. Было уже пять вечера. Я сказала, что буду ждать обоих в семь.

Жорж ушел, а я опустилаcь в подвал к мадам Фетю и выслушала ее рассказ о том, как Сэреля нашли сегодня в парадном возле аптеки, и о том, что следы убийц смыло ночным дождем. Мы разговаривали минут пятнадцать, и как бы между прочим я ввернула, что очень боюсь за Жоржа, который постоянно ссорится с неким Дюфуром.

В номере я сделала кое-какие приготовления и стала ждать.

Жорж пришел первым, точно в семь, и принялся допытываться, для чего мне понадобился Дюфур. Но я помалкивала.

По своей привычке перескакивать с одной мысли на другую, он заговорил опять о поездке в Фронтиньян, потом без всякой связи стал поносить де Голля за нерешительность и нежелание примкнуть к «патриотам» и кончил тем, что ему, Жоржу, обязательно нужно купить маленький «ситроен».

В половине восьмого постучал Дюфур.

Он вошел своей независимой походочкой, модный и благоухающий.

— В чем дело, птичка? У меня не очень много времени.

Я усадила их обоих в кресла, а сама села напротив рядом с кроватью.

Жорж был чуть-чуть смущен, а Дюфур снисходительно улыбался, У него было отличное настроение.

Я сказала:

— Итак, вы убили Сэрею. Вы вдвоем.

Дюфур бросил мгновенный взгляд на Жоржа — проболтался. Но тот возмущенно развел руками.

Я с силой повторила:

— Вы убили Сэрею. Вы вдвоем. Один заплатил за убийство, а другой убил... И вы знали, что убиваете отца четырех детей. Что два мальчика и две маленькие девочки останутся сиротами. На всю жизнь. Вы знали это и все равно убили его...

Жорж воскликнул:

— Послушай, чего ты хочешь, дура?

Но Дюфур взглядом приказал ему молчать.

— Допустим,— согласился он.— И что дальше? Вы собираетесь донести?

— Нет. Не собираюсь.

Он кивнул:

— Разумно. Но зачем тогда мы здесь?

— Затем, что я убью вас,— сказала я.— Вы убили его, а я убью вас. Обоих скотов.

— Ну... хватит.— Дюфур встал.— У меня на сегодня есть общество поинтереснее.

Но я толкнула его, и он сел обратно в кресло. Дело-то в том, что я гораздо сильнее их обоих. Мне каждый день приходится по два-три часа тренироваться для выступлений.

Дюфур упал в кресло, как мешок. Он нахмурился, чуть побледнел, и его рука скользнула к карману брюк.

Тогда я вскочила, вцепилась ему в одну хорошую затрещину, которая его оглушила, выхватила из-под подушки обнаженный отцовский кортик и резко ударила его в грудь. (А на руке у меня уже заранее была надета перчатка.)

Он ахнул и как бы вздулся на миг, но потом захрипел и опал. Как проколотая шина.

Я сказала Жоржу:

— Держи.

И сунула ему кортик в руку. Он был так растерян, что послушно взял его.

Тогда, испустив ужасный вопль, я бросилась вон из комнаты в коридор, заперла дверь и заметалась, зовя на помощь...

Потом была полиция, толпа в коридоре, был желтый,

трясущийся Жорж, которого уводили. Были допросы. Мадам Ватьер подтвердила, что еще несколько дней назад слышала крик и угрозы в моей комнате, мадам Фетю вспомнила о моих опасениях, и сама я несколько раз объясняла и показывала, как Жорж схватил со стены кортик и в припадке ярости вонзил его в грудь Дюфуру.

Это длилось долго. Но кончилось. И настал день, когда я пошла по Монмартру, сознавая, что все позади. Шипя, катили автомобили. Стоял уже декабрь, холод подбадривал пешеходов. Усиливался террор «активистов», но я-то не боялась их. И не боялась того, что я старею. Ничего меня не страшило. Я была уверена, что в конце концов обязательно дойду до того большого дома, где сияют все золотые окошки...

Таковы записи танцовщицы Лиз Обельдуайе, попавшие к нам способом, о котором не имеет смысла здесь упоминать. Процесс Жоржа Армана, тридцати двух лет, без определенных занятий, обвиненного в двойном убийстве, уже кончился, и смертный приговор приведен в исполнение. Так что тут уже ничего не исправишь, даже если бы кому-нибудь и захотелось.

Сама Лиз Обельдуайе уже не танцует больше в ресторане «Черное солнце» и выехала из отеля «Бургундия». Она проживает сейчас неизвестно где и переменила, по всей вероятности, фамилию.

Нас интересует в данном случае другое.

Действительно, как и сообщал в свое время ряд европейских газет, сэр Бернард Ловелл уловил с помощью своего гигантского радиотелескопа в Джодрелл Банке наличие некоего неподвижного тела в космосе над Ла-Маншем. Он наблюдал этот предмет в течение пяти суток — с 11 по 16 ноября. При этих обстоятельствах остается лишь пожалеть, что пришельцы из другой звездной системы или даже Вселенной попали в столицу Франции как раз в момент разнузданных бесчинств ОАС.

Вместе с тем вот что интересно. Принимая на веру то, что сообщает Лиз Обельдуайе, можно прийти к выводу, что люди будущего или более высоких, чем наша, земная, цивилизаций по внешнему облику и даже по уму будут отличаться от нас очень мало.

Только удивительной человечностью.



СОПРИКОСНОВЕНИЕ

I

Жуткое настроение у меня, и весь последний год я сам не знаю, что со мной делается.

Кто я такой? Посмотрим трезво.

Меня зовут Миша Лебедев, мне пятнадцать лет, я перешел в восьмой класс и еще ничего в жизни не сделал.

А другие в это время! Гагарин, например. Или Шампильон... То есть Шампольон... Одним словом, который прочел египетские иероглифы. Ему десять лет было, когда он напечатал свою первую книгу — «Жизнеописание знаменитых собак».

В то же время сила воли у меня есть. Вот, например, терпилки. В прошлом году у нас в классе все стали увлекаться этими терпилками. Мальчишки, конечно. Возьмешь спичку, отлочишь кусочек и воткнешь себе в руку. Возле большого пальца, где место такое мясистое. Потом зажжешь и терпишь, пока спичка вся не сгорит. Так вот этих терпилок я ставил штуки по три, и ничего. Терпел не хуже, чем другие ребята. Мать даже спрашивала, отчего у меня все руки в прыщах... Короче говоря, терпилки я могу. А вот заставить себя за геометрию сесть или гимнастику по утрам — не выходит.

Интересно, как же великие люди закаляли свою волю? Спартак, например, или Ломоносов?

Между прочим, я как раз хочу стать великим человеком. Вернее, я просто уверен, что буду. Хотя даже не знаю, в чем. Ничего меня особенно не привлекает, и талантов у меня никаких нет. Другие хоть там поют, рисуют, а я ничего. Просто самый обыкновенный. Даже хуже обыкновенного, потому что я слабо развит физически, и от этого у меня застенчивость. У нас, когда на физкультуре в спортивные игры играют, каждая команда старается от меня отделаться и спихнуть в другую. Поэтому я и сам ловчу, чтобы заболеть как-нибудь и не ходить на физкультуру...

Стоп! Калитка стукнула — мама идет с работы. (Она на работу здесь устроилась на два летних месяца, потому что у нас с деньгами туго.) Эх, мама, мама! Каждый день ссоримся...

...Да, с завтрашнего дня начинаю делать зарядку. Каждое утро, не пропуская.

Мать ходила с соседкой прогуляться на пляж, а теперь легла спать.

Пока тут, вообще говоря, довольно скучно. Подобрал на берегу три красивые ракушки и нашел зеленый камешек. Думал, минерал, но потом оказалось, что просто осколок бутылочного стекла так отшлифовался об гальку...

Говорят, что тут совсем недалеко граница. Турция.

Начал делать зарядку. В саду на лесенке подтягиваюсь на руках. Сегодня три с половиной раза. Как и предвидела наша толстая соседка, сюда начинают съезжаться. Сегодня от нечего делать вертелся возле автобусной станции и видел много молодежи. На автомобиле приехала целая семья, и там парень лет шестнадцати. Потом на автобусе из Батуми еще две девчонки с родными. Одна очень хорошенькая. В зеленом беретике...

Вообще, если честно говорить, я довольно влюбчивый. В прошлом году, например, влюбился в Тамару Конькову из 7-го «А». На переменках старался на глаза ей попасться. Она красивая. Глаза голубые, волосы такие рыжеватые. Как картинка. И я все представлял, как я ее из-под трамвая, например, спасаю или как на историческом кружке читаю замечательный доклад, а она удивляется.

Все это время делаю зарядку и подтягиваюсь четыре раза свободно.

Ту девчонку каждый день на пляже вижу. На море она ходит в полосатом купальнике.

Молодежи уже много. И у них компания. Главный заводила тот, который приехал с отцом и матерью на автомобиле. Зовут его Игорь. Он такой развитый, плечи широкие. В волейбол играет здорово, но уж очень воображает. И вообще неприятно. Станут все в кружок, а он пассивки дает только Але — той, которая была в беретике. Попадет ему мяч, он его в руках держит и все: «Аля!.. Алка!..» Чтобы она на него смотрела. А остальные стоят и ждут. Он себя так ведет, будто, кроме него и Али, на пляже никого нету.

Меня удивляет, как это другие не замечают, какой он задавала.

Познакомился я с этими ребятами. Лучше бы не знакомился... Эх, черт, все паршиво так получилось! Даже думать об этом не хочется.

Во-первых, они сегодня играли уже не в кружок, а через сетку. За вчерашний день кто-то столбы на пляже вырыл и натянул сетку.

Пришел я на пляж, вижу — столбы. Сел себе на всегдашнее свое место возле лодок. Раскрыл книгу.

Потом является вся их компания. Принесли мяч, стали команды составлять. Разделились пополам, а одного игрока у них не хватает. Тогда один парень — белобрысый такой, худощавый, его зовут Борис — кричит мне:

— Эй, играешь в волейбол?

Я ему говорю, что играю. Но негромко так сказал.

Он опять:

— Эй, будешь играть?

Ну, я встал, подошел к ним.

Начали играть, и сразу я на подачу попал. А подавать-то я как раз совсем не умею. И вообще играю довольно слабо. То есть если мне хорошие пассивки давать, то я отвечаю неплохо. Но резать, например, совсем не могу.

Стал я подавать и не добил даже до сетки. Ладно, проиграли мы подачу. Потом несколько раз передвинулись, я уже у сетки стою, и мне надо Борису на резку подавать. Один раз я ему подал почти что хорошо, но немножко в сторону. Потому что и мне мяч как-то сбоку достался. В общем, он не срезал. Потом я опять ему подал, но тут уж вышло сразу через сетку.

Тогда мне одна девчонка говорит:

— Слушай, как тебя зовут?

Я отвечаю, что Миша.

— Ты стань вот сюда, на шестерку. А я буду Боре подавать.

Ну, пожалуйста. Стал на шестерку. А потом смотрю, они начинают без меня играть. Забирают все мои мячи. Мяч прямо на меня летит, а эта девчонка выскакивает и берет. Лена ее зовут, рыжая такая, высокая. И все другие тоже так, как будто меня на площадке совсем нет.

А это хуже всего, когда твои мячи начинают забирать. Потому что уже не знаешь, что тебе делать — бежать на свой мяч или не бежать.

Конечно, оно так и вышло. С той стороны стали подавать, и прямо на меня. А я стою. Жду, что эта Лена сейчас возьмет. А она тоже стоит. И мяч мне прямо в грудь ударил.

Тогда все начали орать, что я марала. А чего орать, если из-за них самих не стал брать?

Мяч далеко откатился. Побежал я за ним, поднял, иду обратно. И вдруг вижу, что Лена мне улыбается. Радостно так. И все другие тоже. И Аля. Все стоят и улыбаются.

Ну, я сразу раскис и тоже улыбаюсь.

А потом чувствую, кто-то сзади меня стоит. Обернулся — Игорь. Тот, широкоплечий. Раньше его не было, а теперь явился.

Оказывается, это они все ему улыбались.

А потом обе команды заорали:

— В нашу! Нет, в нашу!

В общем, заспорили. Лена, длинная, кричит:

— Давай к нам. Мы слабее. Наша проигрывает!

И сама как будто не знает, что в нашей команде все шесть человек.

Игорь тогда спрашивает:

— А сколько у вас народу?

Тут Лена поворачивается ко мне и начинает на меня смотреть. И все другие тоже на меня смотрят.

Лена говорит:

— Слушай, как тебя зовут?

(Один раз она уже спрашивала.)

Я отвечаю, что Миша.

— Слушай, Миша, ты не хочешь отдохнуть? А мы сыграем.

Я молчу. Из принципа молчу. Потому что они сами виноваты, что я столько мячей пропустил. Если бы мне давали как следует, я бы тоже почти, как они, играл.

— Не отдохнешь?

Я опять молчу. И все другие тоже молчат.

Потом Борис говорит:

— Ладно. Доиграем так. После составим новую команду. Игорь, ты суди. Начали!

Все стали расходиться по местам. А Лена на меня так посмотрела, как будто я у нее украл что-нибудь. Презрительно-презрительно. И присвистнула. Я ее возненавидел сразу — жуть.

Кончилась эта игра — мне почти ни разу и не дали мяча, — наша команда перешла на то поле. А про меня никто не вспомнил. Слова даже не сказали. И никто в мою сторону не посмотрел.

Я постоял-постоял — стыдно как-то было уходить. Потом все-таки пошел, сел возле лодок...

Зря я, конечно, с ними начал играть. Одному гораздо лучше.

Эх, кошки у меня на душе скребут! А тут еще соседка

наша по даче бубнит под окном. Опять уговаривает маму гулять идти.

Вот она у нас противная, эта соседка. Ужас! Марья Иосифовна. С утра халат снимет, и в одном купальнике ложится в саду. Причем на самом видном месте. В кусты не лезет, а на лужайку. Кто бы мимо забора ни шел, ей до всех дело. Приподнимется, вытянет шею, как гусыня, и провожает от одного угла до другого.

Отдыхать приехала. Муж в Ленинграде остался, а она прикатила. А чего ей отдыхать, когда она и так не работает?

И еще у нее привычка все время меня обсуждать. Причем при мне же. Как будто я глухой или собака. Когда мы втроем в саду — она, мама и я, только и слышишь: «Что это у вас Миша так сутулится? Что это у вас Миша такой бледненький?»

Я нарочно вокруг дома обхожу, чтобы с ней не встречаться.

«Дует легкий ветер с SW, ночью дождь. Утром ветер переменный. Генеральный курс NNW. Прошли 81 милю. В час дня видели вдалеке несколько фрегатов и еще каких-то птиц. В два часа вахтенный матрос видел на севере землю. Я приказал идти к ней в крутой бейдевинд...»

Эх, счастливый он был — капитан Кук! «Я приказал идти к ней в крутой бейдевинд». Почему я не родился двести лет назад?..

Настроение у меня никуда. На пляж уже давно не хожу, чтобы не встречаться с теми. После обеда от нечего делать таскался по улицам, потом пришел на автобусную станцию и сидел там часа полтора. Просто смотрел на приезжающих и вообще на людей.

Вот теперь я думаю: я хочу стать великим человеком и сделать что-нибудь такое большое, замечательное. Или, в крайнем случае, буду путешественником. Исследовать тайгу или какие-нибудь острова. Но я ни в коем случае не хочу быть бухгалтером, диспетчером на автобусной станции или кондуктором.

А другие?

Вот тут на станции весь день вертелся милиционер. Белобрысый такой. Толстенький. Я за ним долго следил.

Сначала он стоял и смотрел, как пришел автобус и как оттуда с чемоданами и корзинами выходили пассажиры. Потом почти все пассажиры разошлись, шофер с кондукторшей ушли в диспетчерскую. На площади стало совсем пусто.

Милиционер вздохнул, одернул гимнастерку. Подошел к чистильщику сапог и долго смотрел, как тот резиновым клеем приклеивает заплатку на галошу. Опять вздохнул, спросил что-то у чистильщика. Тот кивнул. Милиционер взял щетку и обмахнул сапоги. Но они и так были чистые.

Потом вдали послышалось, как идет новый автобус. Милиционер приободрился, опять одернул гимнастерку, расправил плечи и пошел к тому месту, где автобус останавливается. И снова все сначала.

Так неужели же он, когда был молодой, так и мечтал сделаться милиционером здесь, в Асабине? Неужели ему не хотелось стать Гагариным?

А другие?

Продавщица газированной воды! Ведь не может же быть, чтобы она так и собиралась с самого начала: «Вам с сиропом или без сиропа?» А портной в пошивочном ателье, а кондуктора автобуса? Разве они не мечтали быть, как Тур Хейердал?

Значит, выходит, что почти все люди — это те, кто сдался и примирился.

Неужели это и есть жизнь?

II

Из письма Н. Г. Коростылева своему другу

«...Теперь относительно того, о ком ты знаешь. (Я нарочно не упоминаю имени, так как запретил дома называть его и даже для себя самого в письме не хочу нарушать этот запрет.) Несмотря на то что внешне на людях я спокоен, в действительности, о чем бы я ни думал, он постоянно внизу под этими мыслями. Поэтому, если тебе напишут, что вся история не произвела на меня никакого впечатления, знай, что это неправда. Впрочем, ты и сам так подумал бы.

Прав ли я? Может быть, и не прав, но не мог посту-

пить иначе. Мне есть в чем себя винить. Я отлично знаю, что во многом. Но обстоятельства сложились так, отношения его со мной и с другими вылились в такую форму, что у меня уже не было выбора, который, очевидно, мог быть еще год или два назад.

Андрей Васильевич, я постоянно думаю, что у него есть в голове. Какая руководящая страсть, какая главная мысль? По-моему, это тщеславие. Чтобы угодить ему, он способен, если приведет случай, на подвиг, если приведет другой, на преступление. По-видимому, получилось так, что в какой-то момент ему стало очень важно каждый день, хотя бы даже самыми маленькими подачками, но утолять свою страсть. Позже эта необходимость стала возрастать, он уже не мог жить без нее и начал жертвовать для своего тщеславия всеми другими ценностями характера. Понимаешь, это похоже на человека, который, сделав какое-нибудь маленькое хорошее дело, выпрашивает похвалы, отлично понимая при этом, что самое выпрашивание больше роняет его в глазах собеседника, чем он был возвышен своим делом. Но ему важно слышать, как его хвалят.

Не знаю, до чего он может дойти, оставшись один. Боюсь, до всего. Поэтому у меня такая просьба: если он к тебе придет, не принимай его. Не впускай в дом. Я со-знаю, что это тяжело, но просто не впускай. Что бы он ни говорил. Не впускай, если он заявит, что приехал от меня. Не впускай, если он скажет, что болен и умирает. Как это ни трудно, но сделай это для меня...

Ты, наверное, хочешь знать, как моя работа?

Пока плохо. Больше того, сама лаборатория закрыта по распоряжению Алексея Ивановича. Именно закрыта. Было заседание ученого совета. Выступали Алексей Иванович, Ратнер и Брюшков. И все говорили в духе статьи, которая ими же была и написана. Конечно, это лишь желание обезопасить себя на тот случай, если в академии решат, что время и большие деньги были истрачены напрасно. Причем формально они правы, так как работа шла уже много лет, и видимых, бросающихся в глаза успехов нет. Но только формально. А на самом деле Алексей Иванович не может не понимать, что нам теперь недостает всего лишь одного звена, одного усилия, и все покатится под гору, понесется лавиной. Я молчал во время обсужде-

ния, а когда мне дали слово, ограничился только одним вопросом: представляют ли они себе, что будет, если мы действительно найдем способ? Алексей Иванович облегченно вздохнул — он был рад, что я не стал спорить, потому что и в самом деле любит меня и всех нас, и примиренно зажурчал, что все мы имеем право на мечту и ошибки...

Но так или иначе лаборатория закрыта, лаборантку Зоечку у меня взяли, а сам я вновь переведен на искусственное сердце, где и без меня полный штат и где отлично справляется с делом известный тебе Петров.

Знаешь, Андрей Васильевич, ты был действительно прав, когда три года назад после того семинара сказал, что у Алексея Ивановича эрудиция полностью заменила необходимость мыслить. Это верно: он все знает и ничего не понимает. Он занял большое место в науке еще в эпоху робких шагов биологии, и теперь ему кажется, что всякое посягательство на концепции его учителей подвергает сомнению даже не то, что его собственный научный авторитет, а просто его право на занимаемую должность. Ему и в самом деле мнится, будто наука может функционировать лишь до той поры, пока он является нашим руководителем... Хотя, с другой стороны, в истории с этим же самым Петровым он вел себя хорошо...

Вообще не знаю. Возможно, что во мне сейчас говорят естественное раздражение и как бы неостылость после заседания совета. Одним словом, забудь, пожалуй, то, что сказано выше.

Я написал это и сразу почувствовал неловкость и неуверенность...

Ты спросишь, а как же я. Представь себе, ничего. В-первых, большинство в институте стоит все-таки на нашей стороне. Скромно и молчаливо пока, но на нашей. А во-вторых, я и сам теперь ощущаю, что нужен был какой-то перерыв. Это совпадение, но сейчас важнее не опыты, а работа интуиции. Я спокойно пошел в группу сердца, переместил все эти вопросы куда-то на задние дворы сознания и жду, что там будет совершаться.

Сейчас самое главное — какая-то новая точка зрения, какое-то новое понятие, которое зрело еще у нас с тобой и теперь вот-вот готовится прорваться у меня. Даже не знаю, как тебе лучше объяснить. Ну, что-нибудь вроде понятия осмоса, например. Но, конечно, не осмос, а что-то,

что позволит нам привести в движение данные опытов, оперировать ими. Единица мышления... То есть, конечно, не единица мышления, а новая связь, которая есть у природы, но нами еще не познана. Но как только она сформируется, так сразу и оборвется та самая лавина.

Поэтому ты не впадай в ярость, не срывайся со всех дверей и не хватайся за телефонную трубку, чтобы заказать билет в Москву. Лаборатория закрыта временно, способ, о котором мы с тобой мечтали, как бы существует в природе и просто еще не прорвался к нам. Но он уже стучится оттуда, из глубины Непознанного, и мы с тобой обязательно переживем счастье этого открытия.

Ты знаешь, мы всегда совестились произносить высокие слова, но если это будет сделано, то оно будет действительно для нашего народа и для всего Человечества...

Да, вот еще — знаешь, очень меня удивил мой Миша Мельников. На обсуждении он высказался против продолжения опытов. Честно говоря, для меня это был удар. Ты ведь помнишь, как вообще я к нему относился и какие надежды возлагал на его прекрасный ум. Но он не только высказался против, а позже отказался помочь в последнем опыте, который я хотел поставить. Все это было самое неожиданное и непонятное.

И, наконец, последнее. Не беспокойся лично обо мне. Болезнь как будто бы отступает. Неделью назад я советовался с врачами, и получается, что все это может еще тянуться неопределенно долго. Пока что я взял отпуск и еду отдыхать. То есть, собственно, я бы не брал отпуска, но Алексей Иванович меня насильно заставил. Требуется, чтобы я лечился».

III

Ходил по берегу налево — исследовал обрывы. Нашел два замечательных места. Во-первых, заброшенную дачу. А во-вторых, такой залив, где вода кипит и вся в водоворотях.

Этот залив километрах в семи от нашего поселка. Я шел по берегу, и сначала все цивилизация попадалась: обрывки газет на гальке, консервные банки и всякое такое. А потом цивилизация кончилась. Просто море. Вот

здорово было! И море-то совсем другое. Галька гораздо крупнее, и много камней больших. Гнилью пахнет от водорослей. Но все равно ветер свежий, крепкий, бодрящий. Чаек много. Как идешь, они все время по камням бегают.

А возле залива галечный пляж совсем исчезает, и волны бьют прямо в скалы. Я вижу такое дело, стал тогда подниматься наверх, чтобы это место обойти. Тропинку нашел. Влез на скалы, смотрю, подо мной вроде фиорда норвежского. Вода внизу черная, глубокая, дна не видно. И волны так здорово стучат, что весь воздух дрожит...

Наша хозяйка сказала, что в этом заливе два спортсмена утонули. Заплыли туда, а обратно никак из-за волн. И наверх не влезть на скалы.

Это место «Вероникин обрыв» называется. А тот дальний берег, который оттуда видно, синий,— это уже Турция.

Каждый день теперь вижу того милиционера. Он через дом живет. Утром зарядку делает, бегают по участку в одних брюках. Смешной такой, толстенький. Хозяйка говорит, он весной двух бандитов задержал. Вооруженных.

Даже не верится.

Сегодня я почему-то думал про своего отца. Я его и не видел ни разу, потому что он погиб в 45-м году при штурме Берлина. Я родился, а он через месяц после этого погиб, 28 апреля, на улице Франкфуртерштрассе.

Так что от отца остались только фотографии, письма, стихи, которые он маме сочинял. И еще из части прислали маме его три ордена и обгорелый красный флажок с танка.

На фотографиях он совсем молодой. Одна есть такая, где он в курточке с «молнией» сидит возле приемника, который сам собрал. Лицо у него смешливое, а на затылке хохолок. Я так и чувствую, что он этот хохолок слюнилизюнил, а перед тем как фотографироваться, он опять встал. Тут ему, кажется, семнадцать лет... Потом уже идут военные карточки. Последняя, которую он прислал из немецкого города Кюстрина. Тогда ему двадцать два было. Но выглядит он куда моложе.

Раза два в год или три мама смотрит на эти фотографии и плачет. Подождет, пока я лягу, сядет у стола, раз-

ложит на скатерти карточки, письма, ордена, и в глазах у нее слезы. Долго сидит.

А мне так странно-странно, что у меня отец совсем мальчишка...

Кончилось мое счастье с этой дачей. Приехали туда. А я уж так привык — просто ее за свою считал. С утра книжки возьму, бутерброд в карман суну — и туда. Даже купаться там приучился в этом бассейне. Потому что он почти полный набрался от дождя.

И сегодня вот пришел. Жарища была ужасная, поэтому я прямо в бассейн залез. Купаюсь и вдруг замечаю, что дверь-то в доме открыта. У меня даже сердце как-то сжалось сразу. Не пойму, как это я раньше не увидел. Наверное, потому что о другом думал.

Одним словом, я и сообразить не успел, что к чему, вдруг из дома выходит мужчина с собакой. Лицо не старое, но злое такое, и весь седой. И смотрит на меня. А собака рвется ко мне, но он ее держит. Говорит: «Тубо, Линда. Тубо».

Потом слышу еще голос:

— Что там, папа?

И девчонка тоже выходит на крыльцо. Лет шестнадцати. В синем халате. В руках у нее тряпка. Наверное, убирала там внутри.

Я, правда, этой собаки совсем не испугался. Она была породы боксер. Рыжая такая, большая, курносая, и щеки висят, как у Черчилля. Я эту породу знаю, они совсем добрые. У нас в Москве в квартире у одной есть, Шелька ее зовут. Так она не то чтобы охранять имущество, она, наоборот, все вынесет и раздаст. И эта собака, пожалуй, ко мне рвалась не чтобы укусить, а, скорее всего, хотела подпрыгнуть, и лизнуть, и вообще поиграть со мной.

Короче говоря, они все на меня смотрят, а я — на них. Растерялся.

Довольно долго — с минуту. И не знаю, что мне делать. Вылезать или не вылезать? Сказать «здравствуйте» или не надо?

Потом все-таки вылез и начал одеваться. Молча прыгаю, в брючину ногой никак не могу попасть. Всегда у меня так — тороплюсь, обязательно затрет.

Девчонка смотрела, смотрела и ушла. А мужчина с собакой так и стояли, пока я одевался. Он ее все удерживал. Хотел, наверное, сделать такой вид, будто она очень опасная и злая.

Эта девчонка с дачи красивая удивительно. Куда там до нее Тамарке Коньковой и даже Але. Никакого сравнения. У нее глаза большие-большие — я еще и не видал таких — и какого-то ультрамаринового цвета. Лицо как мраморное, брови резкие, суровые. И держится она замечательно. Другие красивые девчонки задаются — спасу нет. А она ничуть. Пришла сегодня на пляж, разделась на самом бережку, выкупалась. Потом подошла к ребятам — они сегодня в кружок играли — и просто так говорит:

— Здравствуйте, можно с вами?

И меня увидела вдалеке и тоже кивнула:

— Здравствуй.

Как будто мы с ней хорошо знакомы.

Я даже растерялся. Не кивнул ей, а только откашлялся. Не сумел поздороваться.

И другие тоже растерялись. Даже Игорь этот нахальный. У них как-то тихо стало в кружке. То все орали, хохмили, а тут все сразу умолкли.

Это потому, что она такая красивая. Мне даже как-то вдруг грустно стало. И всем другим, по-моему, тоже. На некоторое время.

Опять у меня несчастье. Только что такую гадость свалил, что сам себя ненавижу.

Скучно одному, пошел я гулять по берегу по направлению к обрыву. Шел-шел, настроение такое хорошее было. И вдруг вижу, внизу под скалами эта девчонка сидит. В синем халате. И собака рядом лежит, морду на лапы положила.

Они, наверное, прямо с дачи спустились. Тут их дача как раз наверху.

Я даже испугался, хотел повернуть обратно. Потому что я все эти дни о ней думал, но она ни разу больше на пляж не приходила.

А тут сидит, такая грустная. Коленки руками обняла и на море смотрит.

И там слева скалы, справа море, и только узенькая полоска гальки.

Хотел я назад повернуть, собака меня увидела. Вскрикивает, и ко мне. И Таня, конечно, сразу обернулась — ее Таней зовут.

Собака мчится, галька брызгает из-под задних ног. Но я-то ничуть не испугался. Только сделал шаг в сторону, чтобы она меня с ног не сбила. Она проскочила, развернулась — и на меня. Сама скачет, хвостом виляет — у них обрубленные такие хвосты, коротышечки. Хочет в лицо меня лизнуть. Один раз, правда, достала. Носом здорово стукнула, даже губу ушибла.

Тут Таня подбежала, оттащила ее за ошейник. Поздоровались мы и как-то разговорились. Познакомились. Я ей сказал, как меня зовут. Она сказала, как ее. Она тоже из Москвы. Учится в десятом классе.

И вдруг я ей стал рассказывать про московские рестораны. Даже сам не знаю почему. Стал вдруг врать, что я в «Национале» был, и в «Праге», и в «Гранд-Отеле».

Прямо убить себя хочется... Причем вру и чувствую, что она понимает, что я вру. И даже хуже: она понимает, что я понимаю, что она понимает, что я вру.

Не знаю, до чего бы я дошел, если бы ее сверху отец не крикнул. Тот, сядой.

Она, когда уходила, так странно посмотрела на меня. По-моему, даже жалостливо...

Эх, совсем не так надо жить, как я живу! Гордым надо быть, ни с кем не разговаривать. Гимнастикой нужно заниматься по утрам, а то я опять забросил...

Танин отец утопил собаку.

Как вспомню, даже жутко делается. Я там над морем гулял возле их дачи. Смотрю, он выходит из дома, а на руках у него что-то большое, желтое. Над забором хорошо видно было — у них заборчик низкий. И визг раздается такой, как будто ребенок плачет. Вижу, собака, Линда.

Он кладет ее на землю. Она бьется, но лапы у нее связаны. Он над ней склонился — у меня даже внутри все похолодело. Показалось, что он ей шею чем-то перепиливает. Но потом смотрю — это он ей затылнул голову тряпкой. Затылнул, поднял, подошел к бассейну, и туда. Брызги полетели. Постоял-постоял, пока она билась там на дне. Потом руки отряхнул и пошел в дом.

А Таня вовсе и не показывалась.

Я так испугался — минут пять с места не мог сойти.

Неужели он ее утопил за то, что она добрая и не может охранять дачу?

Сегодня опять поссорились с матерью. И все из-за Марьи Иосифовны.

Сидели в саду, пили чай. И снова она начала: почему я локти на стол кладу, почему сижу ссутулившись, почему молоко не пью. Я не выдержал и сказал, чтобы она своими делами занималась.

Мать сразу вскакивает:

— Миша, сейчас же извинись.

Я говорю:

— Была охота.

И пошло. В конце концов, я встал, ушел в нашу комнату и завалился на койку. Не поел даже, хотя есть здорово хотелось.

Полчаса полежал, — они там в саду все разговаривали, но о чем, не слышно было. Потом мать входит.

— Миша, ты извинишься или нет? Только трус боится признать, что он неправ.

Я разозлился и говорю:

— Да иди ты...

Чуть к черту ее не послал. Но сдержался. Она побледнела, губы у нее запрыгали, и вышла из комнаты. Теперь дня три не будем разговаривать.

Вообще последний год мы ссоримся чуть ли не через день. По-моему, она меня не понимает. Ей все кажется, что человек должен постоянно что-нибудь делать. Кончил уроки, хватай сразу фотоаппарат и начинай снимать. Сделал несколько снимков, не задумываясь ни секунды и берись за чтение художественной литературы. И в таком духе.

А мне, наоборот, последнее время ничего не хочется. То есть хочется, но сам не знаю чего. А все прежнее надоело. На аппарат смотреть неохота, лобзик я уже год как на буфет забросил.

Вот и получается. Лежишь на диване дома и думаешь. А она приходит с работы и сразу:

— Миша, ты ведро вынес?

А ведро-то на кухне наполовину пустое. Только что

наша очередь выносить. И кроме того, может быть, я думаю о чем-нибудь важном. Об интересном.

Я отвечаю, что сейчас вынесу.

Она говорит:

— Ну, так выноси.

И сама стоит.

— Сейчас,— говорю.

— Ну так что же ты не встаешь?

А я теперь уже со зла не встаю. Потому что какая же разница: сию минуту я вынесу или через полчаса? Это же принципиально.

Короче говоря, она бежит на кухню, хватает ведро. Я за ней, и поехали. Скандал...

Хотя, с другой стороны, мы, пожалуй, потому ругаемся, что у меня переходный возраст. А вообще-то она у меня ничего. С ней даже дружить можно — в кино пойти вместе. Раньше мы часто ходили. И с виду она на девчонку похожа. Оттого ли, что она лечебную физкультуру все время больным показывает, но у нее фигура совсем тоненькая. Когда мы в Москве в метро ехали на вокзал — и с нами еще доктор тот знакомый был, чемоданы помогал тащить,— один дядька даже маму со спины спросил: «Девочка, у «Комсомольской» сходишь?»

...Сейчас я сижу думаю, а рядом в саду Марья Иосифовна уговаривает маму пойти на Морскую улицу прогуляться. Мимо военного дома отдыха. Сама Иосифовна каждый вечер ходит. Вырядится, губы покрасит, надушится так, что за версту слышно, и поплыла. А чего ей краситься, когда она уже почти старуха— ей лет тридцать пять, не меньше.

Опять ходил к Таниной даче и сидел смотрел на море. Море сверху огромное — гораздо больше, чем внизу. До самого горизонта стеной стоит. И всеми волнами сразу стремится на берег.

Когда я там сидел, так глупо мне показалось, что я на тех ребят обиделся с волейболом. Все равно я буду каким-нибудь замечательным и выдающимся человеком. Полечу, например, на Луну. Вернусь, а они будут в толпе встречать. Пусть тогда посмотрят — особенно эта рыжая Ленка.

Ну, кончилось мое одиночество!

Если мы с Володей подружмся, ребята на пляже с ума сойдут от зависти. И даже ничего, что у нас такая разница в годах, потому что я чувствую, что мы с ним здорово сойдемся.

Я его сегодня увидел, когда он с автобуса сошел. Прямой-прямой как стрела. И я сразу понял, на кого бы хотел быть похожим — на него.

И с милиционером он, когда разговаривал, тоже стоял такой подтянутый. Поговорили, и Володя пошел. И вдруг милиционер его останавливает. Потому что он во время разговора вынул папиросу из портсигара, увидел, что она высыпалась, бросил в урну и промахнулся. Так милиционер его остановил, чтобы он поднял.

Он остановился, вернулся, ловко так подхватил папиросу с асфальта — и в урну. И смотрит на милиционера: так, мол, или не так. А тот уже отвернулся.

Потом он ко мне подошел — я на скамейке сидел один — и говорит:

— Интересно, как это люди в милиционеры попадают? Рождаются уже готовыми, что ли?

Мне очень хотелось остроумно ответить, но ничего в голову не пришло. И все равно мы разговорились. Он меня спросил, не знаю ли я, где комната сдается. И я его повел на нашу улицу. Кооперативную.

Стали разговаривать, и оказалось, что мы прямо обо всем-всем думаем одинаково. Мне очень понравилась книга «И один в поле воин», и ему тоже. Я люблю картину «Подвиг разведчика», и он любит.

Договорились завтра встретиться.

Вот так и выходит: как только познакомишься с настоящим человеком, так матери не нравится.

Сегодня за обедом она меня вдруг спрашивает:

— С кем ты ходишь?

Эта она нас видела с Володей, когда вчера с работы шла. Ну, я ей рассказал про него все. Что у него родителей нету, что он учится и так далее. Она слушала, слушала и говорит:

— Пижон твой Володя. Что-то я плохо верю в этот медицинский.

Я спрашиваю:

— Почему пижон? — Возмутился даже.

— Ты к нему приглядиись получше. И посмотри, как другие на него смотрят.

Когда она ушла, я стал вспоминать. И верно, одет он, конечно, не как я. У него все модное и ловкое, так что другие даже внимание обращают на улице... И верно, что на него все девчонки смотрят, когда мы идем. Я даже сам заметил. Но что ему делать, если он такой? Глаза у него большие, синие, и вообще все... Ловкий он очень, развитый. Но в то же время он сам на девчонок никакого внимания. Уж как на него Ленка рыжая заглядывается. И даже Аля. Мы когда были вчера на пляже, так просто чувствовалось. Лежим, а они шагах в двадцати играют с мячом. И все время глазами зырк-зырк в нашу сторону. Смеялись даже громче, чем всегда...

Вот и сейчас сообразил, что ребята тоже бывают красивые и некрасивые. Так же, как девчонки, делятся. Как-то я раньше об этом не думал.

Сегодня Володя прыгнул с Вероникина обрыва.

Так было.

Мы пришли туда, поднялись над самым фиордом. Я ему рассказал, что здесь два спортсмена потонули. Потом мы вниз некоторое время смотрели. Там вода черная и вся в бурунах. Потом он стал раздеваться так неторопливо — я даже не понял зачем. Подумал, он просто позагорать хочет. А он подошел на самый край обрыва — там вниз метров двенадцать. Вдруг присел, руки развел и прыгнул. Красиво так полетел, ласточкой. Я и сообразить не успел, что к чему, а его голова уже далеко внизу вынырнула, среди бурунов. И перед тем как прыгнуть, он меня даже не спросил, глубоко здесь или сразу под водой камни.

Но самое-то главное потом началось.

Он вынырнул и поплыл к морю, потому что в самом фиорде на берег не выбраться, там скалы отвесные. Поплыл, а его назад относит и крутит. Раз затянуло в водоворот, он ушел под воду и только через минуту показался совсем в другом месте. Еще раз затянуло, и тут он скрылся минуты на полторы. У меня в висках прямо как кувал-

дой застучало: я подумал, что все. Но он вынырнул у самой скалы и поплыл левой стороной фиорда. Сначала быстрым брассом, а потом, когда уже приблизился к морю, перешел на кроль. Он двигался хорошо, но дальше течение усилилось, и он как бы остановился на месте. Минут пять он боролся изо всех сил, и я уже подумал, что выплывает. Но потом он начал сдавать, и его понесло обратно в фиорд. Но и тут он не растерялся, а стал отдыхать. Сверху было видно, как он руки раскинул и ногами еле шевелит, чтобы только держаться на поверхности. Опять его притянуло к водоворотам, опять затягивало раза три под воду, но теперь он стал пробиваться к правому берегу, переходя то на кроль, то на брасс.

И, одним словом, он выплыл. Минут сорок все это продолжалось. Он выплыл, вышел на берег, лег и пролежал неподвижно с полчаса. А потом сказал, чтобы я принес его одежду. Я, конечно, сбегал. Он лежал и, сощурившись, задумчиво смотрел в небо, а погода я его спросил, зачем он прыгнул.

Он на меня остро так взглянул своими синими глазами и сказал:

— Жить надо опасно.

Удивительный человек!

Я сейчас вспоминаю, что у него даже каждое слово такое отточенное-отточенное. И даже каждое движение. Как будто он загодя знал, что именно в этой обстановке ему придется делать именно это движение, и заранее к нему готовился. Когда мы еще на второй день шли вместе мимо дачи, где Аля живет, там ребята играли в волейбол, и у них мяч за забор перелетел. Они сразу нам заорали, пока мяч еще в воздухе был. Володя не стал торопиться, а, наоборот, подождал, пока мяч чуть травы не коснулся, а потом прыгнул и отбил его точно-точно и таким образом, что почти что попал в кольцо для баскетбола. Короче говоря, все так красиво получилось, что они там за забором даже захлопали ему. Но он на них и не посмотрел, и мы дальше пошли.

Вот Володя-то, наверное, действительно будет великим человеком. Он мне рассказал, что специально в медицинский поступил, чтобы потом в Африку поехать, в джунгли, и там лечить и охотиться. Потому что у нас ведь теперь многих врачей в разные страны отправляют.

...Вчера здорово умучился. Мы с Володей с утра до ночи окрестности исследовали. Я рассказал ему про дачу, где Таня живет, про утопленную собаку, и он очень-очень заинтересовался. Но близко к даче не захотел подходить. Он такой сильный — совсем не устает. Ну и я, конечно, старался. Сейчас даже все тело гудит.

И еще он меня сегодня очень удивил. Возвращались мы с гор, идем возле военного санатория. И попадаетеся нам наша Марья Иосифовна. В своем красном платье. Увидела меня, и ко мне. Спрашивает, где мама. А чего спрашивать, когда она сама знает, что на работе. В общем, я ей ответил, а она не уходит. Стоит и смотрит на Володю. И он на нее смотрит. Потом она ему улыбается. И он улыбается. Она что-то сказала, он что-то ответил. И начали болтать — так просто, ни о чем. Разговаривают, про меня никто не вспомнит, как будто они только вдвоем. Я Володю подталкиваю: пошли, мол. А он стоит. Довольно долго все это было.

Потом эта Иосифовна отпустила нас наконец. Я Володю спрашиваю, как он может с ней разговаривать, с такой противной. Он оглянулся — она уже в санаторий вошла через ворота — и говорит:

— Да она ничего.

И засмеялся так неприятно...

...Да, вот еще какая штука. Оказалось, что у Тани с отцом две собаки было на даче. Потому что одна почти такая же, тоже породы боксер, бегаёт по саду.

Володя познакомился с Таней, и они друг друга полюбили.

Мне так грустно-грустно. Но, с другой стороны, это правильно. Потому что, как говорится в старинных романах, «они были созданы друг для друга». И они даже чем-то похожи. У Тани глаза большие-пребольшие. И у него тоже. Мне кажется, если бы я для Тани выбирал жениха, я бы и сам выбрал Володю. Он такой смелый, ловкий, самостоятельный... Не в этого же оболтуса Игоря ей влюбляться.

А узнал я об этом так.

Вчера и сегодня Володя на пляже не показывался. После обеда я пошел прогуляться по верхней дороге к Таниной даче. Иду и вдруг вижу, что они в кустах стоят и разговаривают. Довольно далеко я их увидел.

Почему-то вдруг заболело сердце. Хотя я ведь все вре-

меня понимал, что она старше меня и всякое такое... Одним словом, сел я на камень и сижу. Даже идти никуда больше не захотелось.

Они разговаривали долго. Таня неожиданно обняла его, поцеловала и побежала вниз на свою дачу. А Володя некоторое время стоял и смотрел ей вслед. Потом пошел по дороге в поселок.

Я испугался, что он подумает, будто я за ним подглядывал, и ушел глубже в заросли. Потому что на самом-то деле я за ним с Таней не подглядывал, а просто смотрел.

Странная и жуткая вещь произошла. Я видел, как утонул, вернее, сам утопился человек. А потом этого человека не стало.

Недалеко от Таниной дачи, но правее, там, где совсем крутые обрывы, в воду вошел человек. Я все ясно видел, сидел наверху. Он вошел в море раздетый, проплыл немного и нырнул. Полминуты прошло, минута... Я удивился, что он так долго под водой, и стал считать про себя секунды. Еще минута прошла, две, три, четыре. Я тогда побежал к этому месту и сверху увидел, что человек неподвижно лежит на дне. Утонул.

В голове у меня все помешалось, я не сообразил, что лучше бы прямо на Танину дачу бежать за помощью. Вместо этого я кинулся по дороге в поселок. То бегом, то шагом, когда уставал. Добрался до военного санатория и увидел Володю. Он с каким-то мужчиной сидел на скамье. Я подбежал, рассказываю: так и так. Они сразу встали, переглянулись. Володя говорит:

— Бежим.

И тот мужчина ему кивнул. А сам остался на скамейке.

Побежали мы обратно. Почти что три километра бегом пронеслись. Прибегаем на то место, где сверху утопленника видно было, а там никого нет. Он исчез.

Но вся штука в том, что я сам видел, как он входил в воду, как нырнул и целых пятнадцать минут был под водой. Он уже не мог оставаться живым.

Когда возвращались, Володя сказал, чтобы никому не рассказывать. А кто и поверил бы, если даже и рассказать?..

И еще одно: не понравился мне тот мужчина, который

с Володей был. Он широкоплечий такой, крепкий, лицо жестокое и злое. Я заметил в нем одну особенность. Он был гладко выбрит, но только лицо было чистое, а вся шея заросла волосами. И я понял, что он, наверное, весь волосатый, но бреет только лицо, а шею оставляет, потому что ему тогда приходилось бы чуть ли не до плеч бриться. Одним словом, получалось, будто у него лицо выглядывает из волос...

А Володя от меня почему-то отдалается. Вот уже два дня, как мы с ним не разговаривали.

Опять странная вещь! Вечером вернулся домой и вдруг слышу из комнаты Марьи Иосифовны Володин голос раздается. Я сперва даже не поверил. Уже поздно было, начало темнеть. У нее в комнате света не было. И я ясно слышал его голос. Марья Иосифовна много смеялась.

Неужели он?..

Так оно и есть: Володя был у Марьи Иосифовны!

Но ведь он же целовался с Таней, подлец! Я теперь непрерывно думаю, как я должен себя вести: рассказать Тане про эту Иосифовну или нет? Если я ей расскажу, это может быть вроде как сплетня. Кроме того, она может подумать, что я вру. Что это я потому, что она мне самому нравится. Она же понимает, что она всем нравится...

Но, с другой стороны, ведь он обманывает ее.

Что же мне делать?

...Мама наконец поняла, что за птица эта Марья Иосифовна.

Кажется, у них было объяснение.

А вечером к нам на дачу открыто пришел Володя. Я чинил хозяйкин велосипед возле колодца. Он на меня даже не глянул, как будто мы незнакомые, и пошагал прямо к Иосифовне. Вдвоем они пили чай на веранде, где раньше всегда мама с Марьей Иосифовной вместе сидели. Причем Марья Иосифовна разговаривала с Володей нарочно громко-громко, на весь сад.

Какие, оказывается, бывают люди!

Пожалуй, завтра все-таки пойду к Тане на дачу. Потому что, если она еще больше Володю полюбит, ей потом тяжелее будет все узнать. А что она про меня подумает — мне уже все равно.

...Пять дней прошло.

Завтра уезжаем. Чемоданы почти уложены. Билеты на поезд у мамы в сумочке.

Володи уже нет. Он погиб.

И Танин отец, Николай Григорьевич, умер.

Оказалось, что он был великий человек. Позже о нем книги будут писать, и то, что он сделал, останется навсегда для людей. Он был настоящий великий ученый. Жил он поблизости от нашего поселка, и никто не догадывался, кто он такой.

Вообще так много надо обдумать, что даже не знаю, с чего начинать. У меня такое чувство, будто все мы кругом очень изменились за последнее время и год прошел уже с тех пор, как я последний раз Володю видел!

Тогда, 11 августа, я решил все-таки Тане рассказать про Володю и Марию Иосифовну.

С утра мама послала меня на базар, днем я как-то завожился с велосипедом и пошел к ним на дачу только к вечеру. Солнце уже начало садиться, но жара стояла жуткая. Для сокращения пути я полез наверх от моря не по тропинке, которая сильно кружит, а прямо через заросли лавров и орешника. Вся эта растительность за лето покрылась пылью, высохла и здорово кололась. Пробирался я, как кабан, умучился и, когда выбрался уже ближе к даче, остановился в кустах перевести дыхание.

Стою и вдруг слышу разговор. Володин голос и еще какой-то чужой. Смотрю, совсем рядом со мной выходят из кустов Володя и тот мужчина, волосатый, с широкими плечами. А про него я у хозяйки нашей случайно узнал, что он местный житель. В Батуми часовщиком работает, а здесь, в Асабине, у него огромная двухэтажная дача с мандариновым садом. (И еще хозяйка рассказала, что три года назад его вроде судили за что-то очень некрасивое, но он выкрутился.)

Одним словом, выходят они шагах в пяти от меня. И тоже остановились. Я весь замер, даже сердце перестало биться.

Они остановились. Володя говорит убежденно так:

— Я ручаюсь.

Часовщик в ответ что-то пробормотал. Но сквозь зубы. Володя опять:

— А я ручаюсь. Потому что иначе он не стал бы риско-

вать. Ни своим здоровьем, ни тем более ее. Короче говоря, я ручаюсь и не боюсь.

Тот мужчина закурил. Они так близко были, что до меня дымок донесло еще плотным клубом.

Помолчали. Потом Володя сказал:

— Ну, идем к дубу. Еще раз посмотрим. Он сейчас будет делать.

И они пошли влево в обход Таниной дачи.

Я постоял еще некоторое время неподвижно, потом побрел в поселок. Дома мы с матерью поужинали, прогулялись по берегу. Вынес я в сад к забору свою раскладушку, лег и никак не могу заснуть. Ночь сперва звездная была, потом с моря туча стала подниматься. Звезды начали гаснуть постепенно. А я все пялю глаза и спрашиваю себя: что же Володе с часовщиком возле Таниной дачи надо было? А между прочим, Володя в этот вечер опять к Марье Иосифовне явился.

Наконец часов в двенадцать я задремал. Дремлю и чувствую в дреме, что кто-то мимо меня к калитке прошел. Сообразил это, открыл глаза, приподнялся. И верно, кто-то вышел из нашего сада и калитку не затворил... Опять я задремал. Проспал часа два, и вдруг меня во сне как колом по голове ударило: ведь это же Володя куда-то пошел ночью! Тут я сел на раскладушке и спрашиваю себя: чего же я сплю-то? Ведь Володя с часовщиком что-то на счет Таниной дачи замышляют. Встал я, натянул брюки, велосипед схватил за рога — и на дорогу. Странно было ехать. Темно, тихо. Только велосипедные шины на песке пошипывают. И весь мир ночной такой неузнаваемый, страшный, совсем не как днем.

Подъехал к даче, велосипед прислонил к дереву и сам осторожно в сад. Калитка открыта была. Я вхожу на носочках, и мне кажется почему-то, как будто это все не на самом деле, а в кино. И такое чувство, что я — это не я, а кто-то другой. А настоящий «я» со стороны смотрит.

В одном окне в даче свет горит. И дверь в дом тоже открыта.

Я осторожно стал обходить их маленький бассейн, заглянул случайно туда... и остолбенел.

Под водой лежит в бассейне на дне Таня. Утопленная. Руки раскинуты, волосы разметались по дну.

Секунду я смотрел на нее и тут сам не знаю, что

со мной сделалось. Испугался, закричал что-то, повернулся — и бежать. Выскочил из сада, метров сто, наверное, пробежал, потом вспомнил про велосипед. Вернулся, схватил его, в седло вскочил и думаю: куда, кого звать на помощь?.. Конечно, милиционера.

Даже не помню, как я до него доехал. Просто сразу очутился на нашей улице возле его дома и стучу в дверь что есть силы.

Раз постучал, два. Там задвигались, открывается дверь, и выглядывает милиционер. «Что случилось?» Я сбивчиво объясняю: так, мол, и так. Утопили человека и ограбили дачу. А сам чуть не плачу от нетерпения и от волнения. Он меня выслушал и говорит: «Стой. Я сейчас». Ушел в дом — он в трусиках только одних был — и минуты три не возвращался. Слышу, что он там разговаривает с кем-то, по телефону звонит. Я прямо исстрадался, ожидая. И уже начало мне в голову приходить, что ведь Таню-то мне нужно было вытащить из воды, искусственное дыхание ей делать. Спасать, одним словом, а не ехать сюда.

Наконец милиционер поспешно выходит уже весь одетый, с наганом в кобуре. Бежит к сараю, выкатывает оттуда мотоцикл. «Садись!» Жена его тоже выбежала, открывает нам сразу калитку. Я и усесться не успел как следует, мотор зарычал, голова у меня назад дернулась, калитку проскочили и едем.

Минуты за три мы до дачи домчались. Въехали прямо в сад, мотоцикл поставили — и к бассейну.

Глядим туда, а там никого.

Меня оторопь взяла. Федор Степанович (милиционер) взглянул на меня — и в дом. Я за ним.

Входим и видим такую картину. Профессор Николай Григорьевич лежит в постели белый-белый. Возле него Таня, живая, и делает ему укол.

Я рот раскрыл и стою.

Таня на нас посмотрела, спокойно положила шприц на стул и начинает рассказывать. Спокойно так говорит, что только что здесь были два человека — один незнакомый, а второй ее брат, — связали отца и похитили его записи об одном очень важном открытии. И что с этими записями они теперь пытаются перейти под водой границу и бежать в Турцию.

Милиционер Федор Степанович спрашивает:

— Как это — под водой?

Таня объясняет, что ее отец занимается проблемой дыхания под водой и создал такой состав, который, если его впрыснуть в кровь, исключает необходимость дышать легкими. Володя, то есть ее брат, знал об этом, и сейчас он и тот незнакомый мужчина впрыснули себе состав и ушли в море.

А профессор Николай Григорьевич в это время так и лежит без сознания.

Милиционер тогда подходит к профессору, берет его за руку, шупает пульс. Потом говорит Тане, что он у себя из дома уже вызвал «скорую помощь» из поселка и что они с минуты на минуту будут. Потом спрашивает, когда те люди ушли.

Таня отвечает, что часа два назад. Она лежала в воде, проснулась, потому что рядом кто-то крикнул, вошла в дом и увидела, что отец лежит связанный. Она его развязала. Отец ей только успел сказать, что был Володя с незнакомым человеком, и потерял сознание.

Федор Степанович подумал один миг, Тане сказал, чтобы она «скорую» ждала, и кивает мне:

— Пошли.

Выходим. Он говорит:

— Что это она насчет «под водой»? Бредит?

Я объясняю, что нет. Что она и сама под водой лежала и что неделю назад я видел, как мужчина тоже надолго-надолго нырял.

Милиционер покачал головой.

— Под водой,— говорит,— или над водой, но границу они не перейдут. Течение в эту сторону очень сильное. Тут двое рецидивистов в прошлом году тоже пробовали с аквалангами перейти.— Потом прищурился остро: — Они здесь где-нибудь поблизости должны выбраться обратно на берег. Идем!

Стали мы спускаться. Милиционер впереди. Спина у него широкая, и он ловко-ловко идет по тропинке, будто видит в темноте. И вдруг у меня полная уверенность в сердце сделалась, что раз он здесь, то все-все будет в порядке: и Володю с часовщиком мы поймаем, и Танин отец поправится. Вспомнил и свои прежние мысли о нем, когда мы на автобусной станции на него смотрели, и так мне стыдно стало. И при этом же я все время думаю, что вот

Володя-то, оказывается, Танин брат, и поэтому она, значит, его целовала...

Спустились к морю. Он говорит:

— Здесь останешься. Вот сюда спрячься. Увидишь кого, ни слова не говори, пропусти и беги за мной. А я там дальше буду встречать.

Положил меня за большой камень, а сам пошел по берегу.

Я лежу. Минут пять проходит. Еще сколько-то... Море дышит впереди и чуть-чуть светится. Но темно. Почти ничего не видно. Потом слышу какой-то новый звук. Вроде как галька стукнула где-то слева.

Глаза вытаращил, шею вытянул. И вижу: действительно две темные фигуры идут по берегу. Я прямо в камни вдавился и думаю: вот сейчас надо за милиционером бежать.

Вдруг за спиной шепот:

— Тихо... Лежи.

Оборачиваюсь, милиционер сзади.

Те двое скрылись за грудой больших камней. Милиционер за ними. Я тоже встал и тихонечко за милиционером. Он оглянулся, жестом показывает мне лечь. Злобно так. Сам сделал еще два шага и вдруг громко командует:

— Стой! Руки вверх!

Там камни зашумели. И — бац! — оттуда выстрел. Вспышка блеснула, и пуля вжикнула над нами. Милиционер ко мне обернулся и как бросит меня на камни!

А оттуда голос. Володин голос:

— Не надо! Мы не будем стрелять. Мы сдаемся!..

Голос жалобный, испуганный. Не такой, как всегда у Володи был. Потом возня какая-то. Опять Володин голос:

— Не надо!..

И еще выстрел. Кто-то охнул.

Милиционер как прыгнет вперед. Там еще выстрел. Потом тишина.

Я тогда вскочил и туда же, за милиционером. Перелез через камни, смотрю, кто-то лежит, и милиционер стоит на коленях. Поднял голову, потом опять склонился над тем, кто лежит.

И говорит:

— Ему уже не поможешь... Будь здесь.

Вскакивает и исчезает в темноте.

А я вижу, что это Володя лежит. И не понимаю, что с ним. Взял его руку, рука тяжелая.

Невдалеке опять выстрел раздался. Еще один, еще...

Я Володину руку опустил и все не могу догадаться, что же случилось. Я ведь никогда не видел, чтобы люди умирали. Минут пятнадцать так прошло. Все сижу и думаю: в обмороке Володя, что ли, ушибся? Глупо ужасно.

Потом опять шаги в темноте. Все ближе, ближе. Появляется тот мужчина, часовщик. Идет, опустив голову. А сзади Федор Степанович, милиционер. Подошел, остановились. Федор Степанович говорит:

— Ну что? Чьих рук дело, сволочь?

И тут же слышим, наверху мотоциклы рычат. Это пограничники приехали на выстрелы...

Короче говоря, оказалось, что Володя в последний момент передумал все, хотел сдаться и повиниться, а тот часовщик убил его наповал выстрелом в сердце. Часовщик был крупным жуликом, спекулировал драгоценными камнями, выстроил себе дачу, автомобиль купил, и всякое такое. Но потом его начали прижимать, интересоваться, откуда у него все: он почувствовал, что его могут разоблачить, и решил убежать.

Но самое главное во всей этой истории было, конечно, не это. Самое главное то, что Танин отец — не один, а вместе со своей лабораторией — создал способ дышать под водой. Они занимались этим несколько лет, но все что-то не удавалось. А в последний месяц, когда Николай Григорьевич приехал сюда, ему в голову пришло решение. Он поставил несколько опытов на мышах, потом на собаке. Проверил, затем испытал уже сам на себе и, наконец, на Тане.

Володя же — сын Николая Григорьевича и родной брат Тани. Про медицинский институт и про то, что у него никого родных нет, он мне врал. Мать у них действительно давно умерла, но не это имело значение. А просто Володя был очень гордый, самолюбивый, считал, что он умнее и выше всех. С отцом они часто ссорились. Потом у Володи в школе, в десятом классе, произошла какая-то некрасивая история — я не знаю какая, — и, в общем, отец его прогнал и даже запретил дома называть его имя. Володя жил неизвестно где, но не работал. Постепенно он пришел к выводу, что ему с его талантами не развернуться в нашей

стране, решил стать предателем и перейти границу. Вот тут-то он познакомился и столкнулся с заросшим часовщиком, который держался тех же мыслей.

А я-то верил Володе и восхищался им. Каким же оказался дураком!..

Домой в ту ночь я попал только под утро. Пришел, а на даче скандал. Мать уже весь поселок обегала, искала меня. Ну, я, конечно, рассказал, как все было.

Николай Григорьевич умер на следующий день. Перед смертью он пришел в себя и был в ясном сознании. Дневники и записи о его открытии ему принесли обратно. Про Володю скрыли, что он убит, а выставили дело так, будто Володя в какой-то миг понял, что он делает, перерешил, сам вышел на заставу и привел того часовщика, И будто бы Володя сейчас находится под следствием.

Умер Николай Григорьевич в десять часов вечера. Таня, как мне рассказывали, не отходила от него ни на секунду, была очень спокойна и ничем не выдала настоящую правду про своего брата.

И еще до того, как Николай Григорьевич скончался, к нему стали приезжать со всего Советского Союза. Просто каждый час из Батуми с аэродрома автомобили шли. И все академики, знаменитые ученые. Из Киева, из Москвы, из Ленинграда. Из ЦК партии Украины тоже приехали, а телеграммы посыпались просто отовсюду.

Вечером прилетел директор того научного института, где работал Николай Григорьевич, и успел застать его в живых. А еще через день приехал Михаил Алексеевич Мельников — любимый ученик Николая Григорьевича, с которым он вместе сотрудничал.

Теперь мы поняли, что за человек был Танин отец Николай Григорьевич Коростылев. А потом я уже подружился с Михаилом Алексеевичем, и он мне многое рассказал.

Оказывается, профессор Коростылев последние годы был тяжело, смертельно болен, и врачи полностью запретили ему умственный труд. Поэтому, хотя его открытие — дышать под водой — уже близилось к завершению, в институте решили пойти на отсрочку в год или два и тем спасти Николая Григорьевича. Они даже закрыли лабораторию, которую возглавлял Танин отец. Поэтому же и Михаил Алексеевич отказался тогда ему помочь. Но он все

равно продолжал работать и уже здесь, в Асабине, сделал решающий шаг. Заболел Николай Григорьевич во время войны в фашистском концлагере в Польше. Он был героем, спас много поляков.

А суть его открытия состоит вот в чем. Когда он был еще совсем молодой, он заинтересовался вопросом: как удаётся китам в течение часа и даже больше оставаться под водой. Чтобы изучить это дело, Николай Григорьевич ездил во Владивосток, ходил там вместе с моряками на китобойном судне и делал наблюдения. И увидел, что у некоторых видов китов мышцы не красные, а почти черные. Он стал исследовать эту проблему и понял, что кит запасает воздух не только в легких, но и во всех мышцах. То есть даже не воздух, а просто кислород.

Оказалось, что так оно и есть. Что у кита в теле есть большое количество дыхательного пигмента — миоглобина. Кислород связывается в молекулах миоглобина и по мере надобности поступает в работающие ткани. А углекислоту, которая выделяется при дыхании, кит умеет надолго задерживать в крови и не допускает в мозговые центры.

Но это все касалось китов. А как же быть человеку? И Николай Григорьевич сказал себе, что должен быть создан такой состав, который, если его впрыснуть в кровь, будет постепенно выделять в кровь кислород и постепенно связывать углекислоту. Над этой проблемой Танин отец трудился всю жизнь и, в конечном счете, решил ее.

Михаил Алексеевич — он молодой ученый, ему лет тридцать — рассказывал мне обо всем этом на третий день после смерти Таниного отца. Мы с ним были на берегу возле Таниной дачи, и Михаил Алексеевич сказал, что здесь у самого моря Николаю Григорьевичу будет поставлен памятник, потому что он один из тех первых людей, которые по-настоящему завоюют океан для человечества.

Там у дачи есть скала, которая выдается в море. Тогда был вечер, солнце спускалось, и в то время, когда мы ходили по гальке и разговаривали, на скале стоял какой-то парень и смотрел вдаль. Этот парень был живой, конечно, но одновременно почему-то казался статуей, воздвигнутой в честь начинающегося штурма великой морской стихии. Мы это оба заметили — и дядя Миша, и я.

Здорово было...

Вообще эти пять дней оказались у меня такими запол-

ценными, что и минуты свободной не было. Три раза я давал показания: в милиции, потом какой-то комиссии, потом еще пограничникам о том, как я первый раз увидел часовщика, как встретил их возле дачи и как Володя говорил: «Я ручаюсь».

Ребята — волейболисты эти — тоже вдруг меня зауважали. Я им все подробно рассказывал, и сейчас я вижу, что они совсем не такие, какими раньше показались...

...А сейчас вечер. Мама уснула, а я сижу у окна.

Кончается это лето. Я очень вырос. Куртка, которую весной покупали, на меня почти не лезет: руки из рукавов торчат сантиметров на двадцать. Голос у меня переменился, густой стал. И плечи расширились.

Но это все не так уже важно. У меня чувство, будто я что-то серьезное понял. И не могу выразить это словами. Милиционер-то, Федор Степанович, оказался настоящим человеком, нужным для жизни. Он ведь один здесь, в Асабине, и без него нельзя.

А Володя теперь мне представляется маленьким-маленьким. Хотя он был смелый. Когда, например, прыгал с обрыва. Но то была какая-то трусливая смелость...

Вчера мы все были у Тани Коростылевой. Праздновали день рождения, ей исполнилось двадцать. Она на третьем курсе университета. На биофаке. Много народу собралось — ее студенты и наша старая компания из Асабина.

Я уже тоже кончил десятилетку, работаю теперь на «Калибре» и учусь на подготовительном в университет. Особо я занимаюсь биологией и иногда бываю у Михаила Алексеевича Мельникова. Впрочем, он сам-то в Москве появляется редко, потому что руководит Институтом подводного дыхания на Черном море.

Времени у меня теперь всегда не хватает. Даже посидеть поразмышлять некогда. А сегодня взялся разбирать завал в ящиках письменного стола и наткнулся на ракушки, которые привез с моря в то давнее лето.

Гляжу на них, и так странно мне сделалось: и смешно и чуточку грустно. Вспомнил Володю, себя в это время. Каким я наивным был. Считал, что обязательно должен стать великим человеком.

И не понимал, что сначала-то нужно просто человеком сделаться.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

— Суть моего открытия,— сказал Изобретатель, осторожно следуя за главным режиссером через горы закулисного хлама и волоча за собой тяжеленный металлический ящик,— состоит в том, что я исключаю из театрального дела такие устаревшие понятия, как вдохновение, талант и прочее. И вообще исключаю человека... Но преж-

де всего несколько слов об искусстве. Как вы знаете, искусство — это общение. В данном случае, то есть в театре, дистантное общение актера со зрителем.

— Знаю-знаю,— ответил главреж. Он мрачно уставился на задник от «Далей неоглядных», брошенный на зеленую лужайку из «Сержанта милиции».— Вот ведь народ, а? Сколько раз говорил, не собирать тут это барахло. Пожар будет, с кого спросят? — Он оглянулся на Изобретателя.— Про искусство я все знаю. А вот как тридцать метров тюля достать для «Двух братьев», этому нас никто не учил.— Прервав себя, он покопался в груди декораций, вытащил оттуда кусок холста, выкрашенный ядовитым зеленым анилином, и подозрительно пригляделся к нему.— Что это?.. Нет, что это такое? — Он возвысил голос.— Эй, есть тут кто-нибудь?! — Он повернулся к Изобретателю.— Вы понимаете, что сделали: арку от «Марии Стюарт» разрезали.

Изобретатель деликатно промолчал. Ящик со множеством каких-то грубо сделанных переключателей он поставил на пол.

Но из темных глубин помещения вышел гражданин в обтрепанном пиджачке, с руками, перемазанными краской. Запечатленная на его чертах повесть о скромной зарплате, работе «на чистом энтузиазме» и отсутствии большинства необходимых материалов сразу выдавала в нем художника провинциального театра.

Гражданин дрожащим голосом объяснил:

— Я разрезал, Салтан Алексеевич. На драпри пришлось пустить. В «Бешеные деньги», в квартиру Чебоксаровых.

— Что-о! — Главреж побледнел, потом багрово покраснел.— У нас же «Мария» завтра в параллель идет. Вместе с «Бешеными».— Он повернулся к Изобретателю:— Ну как вы думаете, можно так работать или нет?!

Физиономия Изобретателя была иссечена глубокими, как трещины в земной коре, морщинами. Его челюсть выдавалась вперед, а иссиня-черные, густые проволочные волосы росли прямо от бровей. Однако, несмотря на свою неандертальскую внешность, он был мужчиной вполне искушенным жизнью и, сделав неопределенный жест, опять ускользнул от ответа.

Художник, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

— Пришлось, Салтан Алексеевич, Зрители даже обижаются. Я сам слышал, в антракте один говорит: «У Островского в ремарке сказано «богато обставленная гостиная». А тут не квартира Чебоксаровых, а курительная в кинотеатре»... Знаете сейчас народ какой. В «Марию» серые ширмы из «Верю в тебя» поставим. Они свет хорошо принимают.

— Нет! — взвизгнул главреж. — Это не жизнь. (Вторая фраза прозвучала у него в басовом ключе.) Сегодня же подаю заявление. Вы что — забыли, у нас «Верю в тебя» в триллель идет? — Трясущимися руками он похлопал по карманам, нашел скляночку с нитроглицерином, вынул таблетку, сунул в рот и, подойдя к низенькому подвальному окошку с мутными стеклами, оперся рукой о подоконник.

Художник — уже все к одному — откашлялся.

— И еще я вам хотел сказать, Салтан Алексеевич, что запасная линза у второго прожектора тоже лопнула. Перегрелась. И Смирнов, электрик, сегодня не вышел на работу. Он в первой ложе проводку начал и бросил. Как-то придется выкручиваться.

Главреж, не отвечая и не поворачиваясь, вяло махнул рукой.

За окном, на улице, текла не связанная с искусством периферийная жизнь. Девицы в нейлонах пробегали мимо древней — не то VI, не то XVI века — церкви. Возле домановостройки девочки прыгали со скакалками. По доисторическим булыжникам неторопливо шествовал на службу сотрудник райисполкома, и тихоокеанская ширина его запыленных по обшлагам брюк была вызовом всем новомодным веяниям. Шофер «МАЗа», высунувшись из высокой кабины, гудком вызывал из какой-то квартиры свою милую.

И остро позавидовал главный режиссер всем им. Он понял, что вся его жизнь была сплошной ошибкой. И в ГИТИС он зря поступил, и женился неудачно — на женщине, которая до сих пор держится за столицу, и в этот заштатный городишко напрасно согласился приехать, и здешней публикой не понят и до сих пор не признан. Вообще все ему было противно.

После этого главреж дважды глубоко вздохнул и безо всякого перерыва подумал о том, что лично его работы

зрители не так уж плохо принимают, что жена — куда ей деваться — все равно приедет, что районные центры бывают и хуже, и ведь не в пожарный же техникум ему было поступать, если он так хорошо понимает и чувствует сцену.

Все это свершилось за две и две десятых секунды.

— Ладно,— сказал он.— Действительно, надо выкручиваться. Кстати, где у нас рыжий куст, поролоновый? Помните, из «Гипроттеатра» получили. Хочу его в первое действие пустить в «Бешеных деньгах».

— Не пойдет,— покачал головой художник, хорошо знакомый со способностью главных режиссеров к быстрой духовной регенерации.— Он позеленел. Знаете, как они быстро цвет меняют, эти пластики? Был осенний куст, а стал весенний.

— А второй куст?.. Тот второй, зеленый. Может быть, он порыжел за это время. Подите-ка посмотрите.— Затем главреж резко повернулся к Изобретателю: — Ну, так что дальше? Объясняйте, я вас слушаю.

Изобретатель шагнул вперед.

— Вы читали мою статью «Перцепция и аперцепция¹ при ролевых играх детей дошкольного возраста»?

— Читал. В «Театральной жизни». Продолжайте.

— Нет, не в «Театральной», а в журнале «Вопросы дошкольного воспитания».

— Ну правильно. Я же и говорю, что читал. В этом самом «Воспитании». Еще в прошлом году. Давайте дальше.

— В прошлом году этого журнала не было. Впрочем, неважно... Так вот, дело в том, что я рассматриваю театральное искусство с точки зрения электроволновой теории. С одной стороны, актер, то есть индуктор, с другой — зритель, то есть перцепиент. Между ними осуществляется дистантная биорадиационная связь. Актер переживает и, следовательно, индуцирует энергию. Она попадает в головной мозг зрителя и вызывает там перегруппировку атомов, эмоцию. Улавливаете мою мысль?.. Таким образом талантливый артист отличается от посредственного лишь особо активной индуцирующей деятельностью своих передающих электромагнитных мозговых устройств. Как по-вашему, что делала, например, со зрителями Элеонора

¹ Восприятие и невосприятие.

Дузе?.. Ничего сверхъестественного — всего только вызывала перегруппировку атомов в ядре ганглиозных нервных клеток. Согласны вы со мной или нет?

Главреж, взор которого уже успел затуманиться за время длинной речи Изобретателя, зевнул ноздрями и сказал:

— Вообще-то да... Значит, от пьесы ничего не зависит?

— От какой пьесы?

— От той, которую в этот момент ставят.

— Ах, от этой! — Изобретатель осекся на миг. — Конечно, зависит. Но в целом-то очень мало... Строго говоря, даже вообще ничего не зависит. Ведь в театре все дело в том, чтоб вызвать эмоцию у зрителя. Правильно? А раз так, значит, наша главная задача — увеличить мощность индуктора, усилить подачу энергии из головного мозга актера. Вот вам пример. — Он шагнул к режиссеру и взял его за руку. — Посмотрите мне в глаза. Ощущаете вы что-нибудь? Сейчас я буду индуцировать.

Главреж заглянул в маленькие пещерные глазки Изобретателя.

— Нет. Н-не ощущаю.

— Прекрасно! — воскликнул Изобретатель. — Стойте так. — Он поспешно отбежал в другой угол комнаты, вынул из кармана блокнотик, записал там что-то. Кинулся к своему ящику, чем-то щелкнул, после чего аппарат тихонько загудел. Разыскал на стене штепсельную розетку. — Так, внимание! — Он направил глазок аппарата чуть вверх на самого себя и выпрямился, воззрившись на собеседника.

Секунды текли. Главреж поднял руку и почесал кончик носа.

— Чудесно! — обрадовался Изобретатель. Он выключил машину, подбежал к режиссеру и показал ему блокнотик. Там значилось: «Почесать кончик носа».

— Ну вот.

— Что «вот»?

— Ну, вы поняли?

— А что я должен был понять?

— Вот этот момент индукции. Понимаете, я представил себе, будто у меня чешется нос. Аппарат увеличил мощность переживания, и оно передалось вам. Но ведь задача актера и состоит в том, чтобы передать зрителю эмоции. Понимаете, биорадиационная связь. Принцип действия прибора состоит в том, что он интенсифицирует

деятельность спиралей нуклеиновой кислоты в мозгу исполнителя. Эта спираль начинает играть роль передающей антенны и возбуждает соответствующие клетки у зрителя. Ясно вам?.. Вот постойте так еще минуту.

Изобретатель вновь очутился в углу. Он действовал с быстротой обезьяны. В аппарате зажегся красный глазок, потом еще желтый. Загудело сильнее. Изобретатель опять усталился на главрежа.

Что-то вдруг стало образовываться в комнате. Запахло катастрофой. Все сделалось пустым и зыбким. Бесцельно вращалась Земля вокруг Солнца, безнадежно и не нужно бежали по своим кругам планеты. Шофер «МАЗа» за стеной все еще нажимал клаксон, но стало ясно, что никто к нему не выйдет. Безжалостные физические законы с каждым мигом скорее влекли Землю, Солнце и всю Галактику в самую глубину черных космических бездн. А оттуда, из дьявольских недр, уже неслась навстречу Антигалактика, чтоб в колоссальном взрыве прекратить все и вся. Не было даже смысла смотреть второй поролоновый куст. Мир шел к концу.

Главреж почувствовал, что у него на тыльной поверхности рук встают отдельно волосок от волоска. В горле у него застряло что-то пухлое, дыхание стеснилось. Он ощущал себя на земле, как на разваливающемся плоту, несущимся к водопаду. Хотелось закричать, убежать, но он не мог шевельнуться.

— Страх,— сказал Изобретатель.— Теперь я индуцировал страх.— Он нагнулся и выключил аппарат.

Почти сразу на улице раздался радостный басистый вопль:

— Манюра!

Чи-то быстрые тувельки пробежали мимо низкого окна. «МАЗ» весело взревел, зашуршали шины, могучая машина, тронувшись с места, укатила по булыжнику прочь.

Солнце ломилось в комнату сквозь пыльные разводы на стеклах. Победно топорщились огромные кровельные листья лопухов. Все было в порядке. Наваждение кончилось.

— Понимаете,— засуетился Изобретатель,— я сам переживал только вот такой страх.— Он показал пальцами.— А аппарат усилил эмоцию и передал ее вам. Но дело

не только в этом. Второе в моем открытии — это то, что все элементы актерского мастерства я перевожу на язык электростатики и электродинамики. Органичность, общение, обаяние — для меня радио, электричество, и ничего больше. Если вы читали мою статью «Перцепция и аперцепция при ролевых...».

— Знаете что...— главреж вдруг разозлился.— Вы мне бросьте баки забивать с вашей этой «перпе...» Как ее там?... Одним словом, с этой самой... Вы мне прямо скажите, что вы можете для нас сделать и что вам нужно, чтоб это сделать. Думаете, у меня есть время выслушивать ваши теории?

— Актера,— проникновенно сказал Изобретатель,— или актрису. Самую плохую вашу творческую единицу. И она так сыграет роль, что все упадут.

— С этого и надо было начинать. Я вам сейчас хотя бы Заднепровскую покажу. Мы ей недавно тарифную ставку снизили, теперь сами не рады. И к прокурору уже ходила, и в райком, и в райисполком. Идемте наверх. Она как раз должна быть на репетиции. Ящик можете оставить здесь.

В репетиционной комнате, где благодаря какому-то архитектурному чуду и зимой и летом сохранялась ровная температура в 0 градусов Цельсия, разводили пьесу местного автора.

Главреж и его спутник вошли. Дрожь прокатилась по синим от холода актерским физиономиям при появлении грозного вождя, а затем шесть пар глаз повернулись в сторону Изобретателя и выразили одно и то же: «Кто этот человек? Не изменит ли он что-нибудь в моей судьбе? Не поможет ли вырваться из этой дыры?»

Но главреж сразу погасил все вспыхнувшие было надежды.

— Товарищ Бабашкин из «Гипроттеатра». Приехал посмотреть нашу осветительную аппаратуру.— Он показал Изобретателю на стул.— Посидите, а потом мы с вами займемся... Продолжайте, пожалуйста, Борис Генрихович.

Очередной режиссер Борис Генрихович — он тоже слегка побледнел, увидев главного,— сделал знак, и репетиция возобновилась.

Герой-любовник, рослый мужчина с театрально-энер-

гичным лицом и синими глазами, вошел в огороженное стульями пространство, долженствовавшее изображать колхозную избу, и уселся к столу.

В пространство вошел отрицательный персонаж.

— «Приветствую, товарищи».

— Камень наскоком и то не сдвинешь. А он хочет все сразу... «Здравствуйте».

— Нет, это не вы говорите «Здравствуйте», — поправил очередной режиссер.

— А кто говорит?

— Действительно, кто же говорит теперь «Здравствуйте»?

Инженю-коклет, сидевшая в полном оцепенении с момента, когда вошел главный, очнулась:

— Ах, это я говорю! Простите, пожалуйста... Впрочем, нет. У меня тут тоже вычеркнуто. Вот, посмотрите...

И дальше шло в таком духе. Местный автор — он сидел тут же — нервно забарабанил пальцами по колену, и губы его скривились в саркастической усмешке непризнанного гения.

— «Не советуешься ты с людьми, Петр Петрович, — говорил отрицательный персонаж. — Отрываешь себя от коллектива».

— «Я...» Одну минутку, товарищи. Вот тут опять затруднение. Я ведь в третьей картине советовался, со старым колхозником Михеичем советовался. Опять эта реплика идет вразрез с третьей картиной. Может быть, тоже вычеркнуть, Борис Генрихович?

— Ну давайте вычеркнем.

— Но с другой стороны, что же мне тогда вообще говорить — уже столько вычеркнули? С чего я волноваться начну?

— А ты скажи «Здравствуйте» и потом сразу давай выхлест.

— Так это же не я говорю «Здравствуйте»! — Герой-любовник покраснел, затем побледнел. Он повернулся к главрежу. — Нет, Салтан Алексеевич, так не пойдет. Я рад, что вы зашли и сами все видите. Это черт знает что! Я с самого начала предупреждал, что с пьесой у нас ничего не получится.

Он вскочил, схватился за сердце, открыл скляночку с нитроглицерином, вынул таблетку и сунул в рот. Затем

стал у окна, отвернувшись от присутствующих. Спина у него вздрагивала.

В нитроглицериновой мизансцене ощущалось явное влияние главного режиссера — это был стиль театра. И в полном соответствии с методом физических действий по Станиславскому у героя-любownika, еще совсем недавно здорового мужчины, уже начинались процессы в сердце, сужалась аорта и деревенела, огрубевая, стенка левого предсердия.

Наступило тягостное молчание. Местный автор еще энергичнее забарабанил пальцами по колену.

— Ну ладно,— сказал главреж, который не любил сердечных припадков у других,— этот вопрос мы обсудим позже. Сейчас я хотел бы посмотреть, Борис Генрихович, как у вас идет картина шестая, когда приезжает жена.

Задвигались стулья. Актриса Заднепровская, сорокалетняя дамочка с жидкими кудряшками, испуганно глянула на главрежа, вспорхнула с места и стала у двери. Герой-любownik дважды глубоко вздохнул у окна, потом, входя в роль, мотнул головой, как бы бодая кого-то:

— «Приехала Маша. Ну, здравствуй, здравствуй».

Неся на лице пошло-жеманное выражение, Заднепровская кошечкой скользнула к супругу и пискнула:

— «Здравствуй, Петя. Как давно я тебя не видала». Очередной поднял руку.

— Минуточку!.. Вера Васильевна, дорогая, куда вы даете реплику? У вас же реплика поверх волос идет. И потом...— Он оглянулся на режиссера,— вы же не в тон отвечаете. Он в среднем регистре, а вы в самом верхнем.

Лицо Заднепровской вспыхнуло красными пятнами.

— Сейчас.

Она вернулась к двери. Герой-любownik тяжело, как поднимая гирию, начал опять:

— «Приехала Маша...»

Заднепровская — теперь уже не кошечка, а женщина-судья, выносящая смертный приговор,— гренадерским шагом подошла к партнеру и похоронным басом бросила ему в ноги:

— «Здравствуй, Петя».

Теперь вскочил главреж:

— Вера Васильевна, ведь вы волнуетесь в этот момент, верно? Должны волноваться, черт побери!

Кругом все затрепетали.

Красные пятна еще сильнее зарделись на лице актрисы. На глазах у нее выступили слезы, но она быстро подавила их.

— Да, волнуюсь.

— Но как же вы не замечаете, что волнуетесь только по пояс? Лицо волнуется, руки волнуются, а нога вот так отставлена.

— Сейчас.

Заднепровская сглотнула и пошла к двери.

— Ну, как? — спросил главреж, когда они вышли из репетиционной.

— Красота, — восхищенно сказал Изобретатель. — Как раз то, что нужно.

— Понимаете, у нее в распоряжении двадцать пять штампов. Не нравится один, она дает другой.

— Самое интересное, — задумчиво начал Изобретатель, — что все, что звучит у вас как «штамп», «не в тон» и так далее, имеет для меня вполне отчетливую электро-радиационную подоплеку. Вы говорите «штамп», а я вижу в этом слишком большие потери на конденсаторный гистерезис¹ в нейтронных контактах головного мозга. Вы говорите «не в образе», а для меня это означает, что в оболочке ганглиев у нее слишком долго остается ненужное уже напряжение. Своим аппаратом я все это регулирую, и... — Он глянул на главрежа и прервал себя. — Одним словом, я вам из нее Пашенную сделаю. Весь город с ума сойдет.

— Да какая там Пашенная! Вы добейтесь, чтоб из ансамбля не выпирала. Не портила хоть. — Главреж положил вдруг руку на сердце. — Тьфу, дьявольщина! Опять защемило. Ей-богу, мы тут все до инфаркта дойдем.. Но, с другой стороны, как быть спокойным? А?.. Вот опять весь спектакль буду сидеть за кулисами, накручивать. Иначе они вообще мышшей ловить перестанут.

— Ничего, — сказал Изобретатель. — Своим аппаратом я все изменю. В чем у вас сегодня Заднепровская, в «Бе-

¹ Гистерезис — реакция тела на внешние воздействия в зависимости от того, было ли оно ранее подвергнуто им или подвергается впервые.

шенных деньгах»? Ну и отлично. Об этой роли в Москве писать будут, из ВТО к вам приедут, вот увидите. У меня все научно обосновано. Не читали мою статью в «Театральной жизни»?

— Читал.— Главреж уже снова вытащил из груды хлама какой-то кусок холста.— То есть проглядывал. А этот ваш ящик на каком расстоянии нужно устанавливать от актрисы?

— Непринципиально,— ответил Изобретатель.— Установка действует в радиусе до двадцати пяти метров.

Перед самым началом вечернего спектакля, когда уже прозвенел третий звонок, Изобретатель — он установил машину в первой ложе — выскочил в коридор.

— Салтан Алексеевич, хорошо бы ее как-нибудь успокоить перед выходом на сцену. Понимаете, создать момент торможения на внешние обстоятельства.

— Кого? — остервенело оглянулся главреж.

— Ну, Заднепровскую. А то и аппарат не подействует... Научно-медицинский факт — она должна быть в спокойном состоянии.

Главреж воздел руки к небу. Из рта у него хвостиком торчала прозрачная пластиковая кожица колбасы.

— Слушайте, вы меня оставите когда-нибудь в покое?! У нас для второго действия еще декорации нет.

Островскому горожане доверяли, и поэтому на «Бешеных деньгах» даже без войсковых частей получился полный зал. Первые три явления прошли гладко. Заслуженный артист Коровин — он играл Телятева — держался с органичностью прирожденного аристократического лен-тя. Герой-любовник — надежда и гордость районной сцены — уже оправился от скандалчика в репетиционной и в роли Василькова честно завоевывал публику взглядом синих наивных глаз. Уже начинало вериться, будто середину двадцатого века сменила вторая половина девятнадцатого, и даже странный фиолетового цвета поролоновый кушет из «Гипротейтера» на сцене не очень пугал своей неестественностью.

Но вот в четвертом явлении вошла Заднепровская — она играла Надежду Антоновну Чебоксарову,— и тотчас все начало разваливаться.

— «Познакомь»,— деревянно сказала Заднепровская — Чебоксарова шалопаю Телятеву.— Да ведь ты дрянь, тебе верить нельзя».

Это как вилкой по тарелке заскребло, и всем в зале сделалось стыдно от фальши.

В первом ряду по контрамарке сидел «местный автор». Он закинул ногу на ногу и с удовольствием представил себе разгромную статью, которую собирался написать по поводу очередной постановки театра. В трех рядах позади него театральный художник думал о том, как будет выглядеть квартира Чебоксаровых во втором действии. Холстяные драпри вызывали у него чувство тревоги. Он поежился и непроизвольно громко вздохнул.

Изобретатель тем временем изготавливал в ложе свой аппарат. Он повернул какой-то переключатель, отчего в машине зажегся желтый огонек, включил шнур в штепсельную розетку и, бормоча что-то про себя, принялся колдовать над всевозможными кнопками.

А Заднепровская — Чебоксарова продолжала свирепствовать. Ее реплики звучали, как у начинающей участницы самодеятельности. Отговорив свое, она застывала подобно соляному столбу.

— Ничего не чувствует,— вдруг засопел пробравшийся в ложу главреж.— Видите, руку на сердце положила и считает, что выразила заинтересованность. Но это только механический знак отсутствующего переживания. Внутри-то пусто.

Изобретатель кивнул.

— А вы ее успокоили хоть?

Главный смотрел на сцену. Он покачал головой, закусив губу.

— Что вы говорите?... Успокоил. Я с ней поговорил перед выходом. С сыном у нее, кажется, недавно что-то произошло. То ли его из школы выгнали, не знаю. Короче, я к ней подошел и спросил, как у нее с сыном. Она почему-то покраснела.

— Ничего, сделаем,— сказал Изобретатель.— Хотя что-нибудь она чувствует, и я это усилю.— Он прицелился аппаратом, нажал какую-то кнопку.

И тотчас в голосе актрисы зазвучали задушевные нотки. Слова «Как жаль, что он так неразумно тратит деньги» — она произнесла с чувством почти искренним.

Изобретатель ни на минуту не выпускал Заднепровскую из сферы действия аппарата. Во втором акте его усилия стали приносить заметные плоды. Началась сцена Чебоксаровой с Кучумовым, и подлинный испуг перед бедностью почувствовался в том, как заговорила пожилая глупая барынька с разорившимся князьком.

Зрительный зал притих, смолкло начавшееся сперва досадное для актеров покашливание. В паузах между репликами было слышно, как верещат прожекторы, освещающие гостиную Чебоксаровых с зелеными, взятыми из «Марии Стюарт» драпри.

— «Не знаю,— говорила Заднепровская — Чебоксарова о Василькове.— Знаю, что он дворянин, прилично держит себя».

Главреж опять наклонился к Изобретателю:

— Общения нет, понимаете. Свое собственное состояние играет, а не логику действия. Из себя исходит, а не из того, что на сцене делается.

Изобретатель, на узком лбу которого уже выступили бисерные капельки пота, посмотрел на главного.

— Нажать на общение?

— Ну да. Актер должен помнить, что подает не реплику, а мысль. Если он что-то спрашивает,— это не выражение самочувствия, а желание что-то узнать.

Изобретатель задумался, возведя глазки к небу, затем лицо его просветлело.

— Добавлю ей напряжения на окончания ганглиев.

Он повертел что-то в аппарате, и, подчиняясь его электрической команде, Заднепровская с таким живым интересом спросила у Кучумова, сможет ли она еще увидеть его, что даже художник в зале забыл на миг о холщовых драпри и последней линзе в прожекторе. Зашел и застыл у дверей ленивый, случайно заглянувший в зал пожарник.

— Н-не плохо,— прошептал режиссер удивленно.— Но вот смену ритмов... Однообразно она слишком держится. С Кучумовым в одном ритме говорила и вот сейчас с Васильковым. Но в целом уже лучше...

Изобретатель кивнул, маневрируя аппаратом.

Во время шестого явления, когда Заднепровской не было на сцене, главреж побежал за кулисы и скоро вернулся.

— Знаете, актриса беспокоится. Спрашивает, почему

вы в нее какой-то штукой все прицеливаетесь. Я сказал, что это киноаппарат. Вам, мол, она нравится, и вы решили ее в Москве показать. Сам я ее тоже похвалил. Зря, наверное, а?

— Теперь уже не имеет значения,— ответил Изобретатель.— Раз она спокойна, я за все ручаюсь.

— Да, насчет сына,— вспомнив, зашептал режиссер.— Оказывается, у нее сын в девятом классе и первое место занял на какой-то математической олимпиаде. Так что даже удачно получилось, что я ее спросил тогда.

— Интересно,— сказал Изобретатель,— что ведь на самом-то деле она играет, как играла. Но аппарат усиливает ее мизерные эмоции и создает впечатление хорошей исполнительницы.— Он ласково погладил свою машину по крашеной жестяной стенке.— А ведь никто не верит, никто не поддерживает. Они там, в Министерстве культуры, еще до сих пор в восемнадцатом веке живут. Только одно и талдычат: «Человек, талант, актер, пьеса...» А при чем тут человек? Сегодня наука позволяет антенну на сцене поставить, чтоб индуцировала, и еще лучше будет...

После антракта, когда поднялся занавес, зрители увидели, как переменялась Надежда Антоновна Чебоксарова. Какая-то тревога и вместе с тем внутренняя собранность появились в ней.

— «Зачем вы обманули нас так жестоко?— спрашивала она у Василькова, и у всех в зале сердце стеснило предчувствием неминуемой беды.— Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека; этого состояния ему хватит на перчатки. Что же вы сделали с моей бедной Лидией?»

И зрителям как-то жутко стало от того, что же на самом деле станет теперь с молодой красавицей.

Действие текло, отчаивался влюбленный Васильков, интриговала бездушная Лидия, шутил Телятев. Но постепенно центральной ролью пьесы начала делаться Чебоксарова-старшая в исполнении Заднепровской. Растерявшаяся, недалекая, неумная Надежда Антоновна стала отважной матерью, защищающей свое, хоть и пустое, вздорное дитя, и властно взяла события спектакля в слабые руки. Какой-то величественно-трагический оттенок приобрели ее реденькие кудряшки, жеманная претензия появилась в барственных и одновременно жалких жестах.

Сказав дочери, что Васильков беден, она так посмотрела в публику, что стон прошел по рядам, каждый зритель счастливо переглянулся с соседом и уселся поудобнее в кресле, чтоб смотреть дальше.

А за Чебоксаровой—Заднепровской подтягивались и другие исполнители. Еще легчевеснее стал Телятев, злобная надтреснутая нотка зазвучала в голосе Кучумова, что-то холодно-хищное родилось в Лидии, и рядом с этим обозначились жалость к себе самой, недюжинный ум и странная извращенная гордость в быстрых, решительных поворотах головы.

Изобретатель действовал подобно опытному телевизионному оператору, ни на минуту не выпускающему из поля зрения мяч во время футбольного матча. Он работал руками, ногами и головой, одновременно вертел по два, по три переключателя, нажимал лбом и коленом какие-то кнопки, нацеливаясь на Заднепровскую тотчас, как она показывалась из-за кулис.

И актриса уже творила чудеса. Взгляд, жест — все было исполнено значения. В каждой ее реплике возникали и рассыпались миры. Исподволь входила в театр развеселая дворянская эпоха, вставляли белоколонные усадьбы над морем колосающей ржи, brave усачи скакали охотой, брызгало пенное шампанское, в паркетных залах лакеи зажигали свечи, и маленькая ножка бежала в вальсе... Входила вместе с Заднепровской эта эпоха и разрушалась, разваливалась под натиском практичных купцов Васильковых. Зарастали аллеи в парках, жимолость и ольха забивали брошенные клумбы, гасли и чадили свечи в залах с выбитыми стеклами. Кончалась дворянская эпоха, воцарялся денежный мешок.

Зрительный зал подтянулся. Он чувствовал себя свидетелем и участником великого — разлома времен, движения истории.

— Отлично, отлично, — сопел главреж над ухом Изобретателя. — Все есть. Вот только если органики еще немножко прибавить. Чуть-чуть.

— Органики? — гордо спросил Изобретатель. Он был уже совсем мокрый. — А хотите, я сделаю, что актриса вообще забудет, что она на сцене?

Он принял к аппарату, что-то подвернул, чем-то щелкнул. Звонко пролетел щелчок над головами зрителей, и

мгновением позже Заднепровская как-то внутренне дрогнула, косо пересекла сцену и вышла вперед.

У главрежа сжалось в груди. Он чуть не вскрикнул, потому что ступи Заднепровская на сантиметр дальше, она упала бы вниз, в оркестр. Но актриса и не заметила этого. Казалось, у нее действительно потерялось ощущение, где она и что.

Она заговорила быстро-быстро:

— «Что я терплю! Как я страдаю! Вы знаете мою жизнь в молодости, теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтоб мы не ездили».

Она смерила взглядом Кучумова, себя, губы у нее дрогнули, она пусто посмотрела в зал. Зрители ахнули, всем сделалось горько, но вместе с тем и освобождающе счастливо от соприкосновения с высокой красотой правды в искусстве. Целая жизнь, глупая и никчемная, развернулась перед ними в маленькой мизансцене, и даже жутко сделалось от того, как много высказали в нескольких словах драматург и актриса.

— Узнают теперь Бабашкина,— бормотал Изобретатель в ложе. Он уже не обращал внимания на режиссера.— Я им такие сборы дам по стране, что закачаются. Все театральное дело реорганизирую.

Однако подлинный триумф ожидал его в последнем действии. Главреж молчал, чтоб не мешать. Невидимые энергетические нити, не прерываясь ни на секунду, связывали Заднепровскую с хитрой машиной, и актриса гипнотизировала зал даже просто одним своим присутствием на сцене.

Ей аплодировали, едва лишь она появлялась.

Но и другие актеры тоже поднялись. К принципиально новой трактовке роли потянулся герой-любовник, играющий Василькова. Он чувствовал, что в конечной инстанции не он Лидию заставит жить по расчету, а, наоборот, старшая Чебоксарова с дочерью покажут ему, что такое настоящий бесчеловечный и безжалостный бюджет. Его обманули и предали, многое перегорело у него в душе, из хищника он сделался жертвой, а потом снова стал победителем, но уже другим, суховатым, обожженным и циничным. Герой-любовник творил бесстрашно, все шло в каких-то слаженных, несущих его самого ритмах.

Зал заворуженно затих. Свершалось таинство на сцене. Живыми сделались нарисованные морщины, приросли наклеенные усы и эспаньолки, а зеленые драпри — дырявый, как сито, кусок холста, покрашенный разъедающим анилином, — стали сосредоточением порока, обличали и намекали на грядущее возмездие.

Привалившись к косяку дверей, застыли капельдинеры. Грумер, портной и рабочие сцены сгрудились в проходах кулис.

Тишина стояла на улице возле театра. Спали под звездами древние луковичные купола церкви XVI века и гигантский уэллсовский марсианин — строительный кран. В глубинах космоса плыли бесчисленные миры-планеты, бесновались огромные массы раскаленной материи, и в целой Вселенной не было места лучше, чем маленький городок с его районным театром, сразу ставшим наравне со всем прекрасным, что сделано людьми и что есть в мироздании вообще.

Последнее усилие под руководством аппарата Заднепровская сделала в немой сцене. Уже сказал свое Телятев, уже он обнялся с Кучумовым, а Лидия подошла к Василькову и робко приникла к нему.

Надежда Антоновна как-то кашлянула и поперхнулась, сосредоточив на себе внимание зала, подняла руку, желая поправить и прическу и что-то гораздо большее, а затем бросила руку бессильно, закончив собственную бездумную жизнь, и целый период жизни русской, и спектакль.

С треском лопнула последняя запасная линза, темнее сделалось на сцене, но зрители восприняли это как часть режиссерского замысла. Минуту стояла тишина, потом сорвался шторм, какого не знала еще районная сцена. С покрасневшими лицами, выкрикивая «Бис!» и отбивая ладони, переглядывались горожане. Актеры, сразу ставшие усталыми, кланялись и кланялись, выдвигая вперед Заднепровскую.

Главреж выбежал, затем, при стихающем наконец грохоте аплодисментов, ворвался опять в первую ложу.

— Замечательно! Великолепно! Вы гений!

У Изобретателя был крайне озадаченный вид.

— Что замечательно?

— То, что вы сделали. Как она играла! Колоссальный успех.

— Ерунда,— сказал Изобретатель с неожиданной злобой. Он держал в руке провод от своей машины с вилкой на конце.— Ничего не вышло, все это собачья ерунда.— Он шагнул к штепсельной вилке на стене ложи, ожесточенно дернул ее и оторвал совсем.— Тут же проводки нет. Она ни к чему не присоединяется. У вас в театре не монтер, а жулик. Аппарат не работал, понимаете. Даже не был включен.

— Неужели? — удивился главреж.— Но вот у вас тут зеленый огонек горит. И желтый...

— Так это от батарейки. Я вам говорю, что сам прибор даже не был включен. А батарейка от карманного фонаря. Для солидности. Чтоб производить впечатление. Никто ж не поверит, что у меня электроника, если зеленого огонька нет.— Он отошел в сторону, высморкался и почему-то вытер платком глаза.— Всегда что-нибудь помешает чисто провести опыт. Каждый раз вот так срывается... Но вы-то поняли, что аппарат действует, в принципе? Когда я на вас наводил, вы же чувствовали?

— Да, да. Конечно,— отмахнулся главреж.— Значит, машина не работала. Но почему же тогда...

Он задумался.



ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЦАРСТВО

...Все было для Сергея увлекательным и интересным: и Мухтар и Самсонов, с которыми он только недавно познакомился, и эта поездка по степи, и вообще весь Казахстан, увиденный вот так впервые в жизни.

Сергею было девятнадцать лет, он учился в Ленинграде на втором курсе библиотечного института и летом после

экзаменов отправился на экскурсию в Алма-Ату. Потом другие ребята уехали обратно, а Сергей остался, чтобы выполнить одно поручение. Само поручение тоже было удивительным и романтическим.

Когда Сергей был еще дома, к ним, в Гусев переулок, приехала дальняя родственница из Киева, жена ученого-энтомолога, погибшего в 1941 году. Узнав, куда едет Сергей, она рассказала, что ее муж как раз перед началом войны закончил в своем институте перспективное, как тогда считали, исследование по насекомым. Работа была коллективная, но группа, занимавшаяся ею, в период боев под Киевом пошла на фронт и вся погибла. Уцелел только лаборант мужа, обрусевший немец Федор Францевич Лепп, который на фронт не попал и при невыясненных обстоятельствах остался в Киеве при фашистах. После освобождения столицы Украины он куда-то исчез, а потом его видели в Казахстане, в маленьком местечке Ой-Шу, в горах. Родственница Сергея считала, что у Леппа могли сохраниться какие-нибудь записи мужа.

Сергей сгоряча пообещал обязательно разыскать бывшего лаборанта, но, когда остался один в Алма-Ате, выяснил, что это не так легко. От железной дороги до Ой-Шу было больше ста километров. Автобусы и никакой другой регулярный транспорт туда не шли, и вообще дорога считалась непроходимой для колеса.

Сергей уже совсем было приуныл, но на станции Истер, куда он добрался, ему посоветовали сходить в кантору Геологического управления. Там в маленьком дворике возле двух оседланных коней он увидел пожилого лысеющего мужчину, который с сосредоточенным вниманием рассматривал ремень выюка. Это был Самсонов. А дальше все начало складываться само собой, как в сказке.

Самсонов выслушал Сергея, помолчал, посмотрел на небо и тут же, не сходя с места и не обращая ни в какие инстанции, сказал, что возьмет его до Ой-Шу. Что они потом доедут до озера Алаколь, а оттуда — до озера Сасыколь от которого Сергей уже сможет самостоятельно добраться к железной дороге.

При этом он прибавил, что ему, Самсонову, придется сделать крюк в триста километров, но это неважно, так как на Алаколе изыскательская партия ждет его не раньше, чем через десять дней.

— А когда поедem? — спросил, волнуясь, Сергей.

— Да хоть сейчас. Надо бы только на станцию зайти. Вдруг попутчик найдется... Как тебя звать-то?..

Сергей первый раз за всю жизнь видел человека, который мог вот так самостоятельно решить сделать крюк в триста километров по пустыне. Он сразу чуть не влюбился в Самсонова. Ему хотелось научиться с такой же ленцой сидеть в седле, так же неторопливо и ловко все делать, захотелось даже иметь такую же загорелую лысину, какая была у геолога.

Попутчик нашелся тут же в Истере — старый казах с холодным, равнодушным взглядом, широкий, как бочонок, и кривоногий. Он сидел в буфете на станции и сам вязался в разговор. Звали его Мухтар Оспанов, по-русски он говорил чисто.

Они выехали на следующее утро, и тут выяснилось, что Мухтар сам знает Леппа, который живет не в Ой-Шу, а еще дальше, в предгорье, в полном одиночестве. (Что он там делает, Мухтар не сказал.)

В первый день пути им навстречу попался молодой казах — инструктор райкома партии. Он спросил, не смогут ли они прочесть антирелигиозные лекции в ближайших аулах, рассказал, что в степи появился жулик, выдающий себя за святого, и что в этой связи наблюдается «взрыв религиозного фанатизма». Выражение «взрыв религиозного фанатизма» ему очень нравилось, он повторил его трижды.

В разгаре беседы его взгляд вдруг упал на жеребца, которого Самсонов дал Сергею, и инструктор райкома попросил разрешения попробовать его. Сергей спешился, инструктор вручил ему повод своего коня, не выпуская из рук портфель с делами, вскочил на жеребца и показал такой аллюр, какой Сергею и не снился.

Все это, вместе взятое, — и «взрыв религиозного фанатизма», и таинственный молчаливый Мухтар, и Самсонов, и романтический характер поручения, и ночевки в юрте, и огромное звездное небо, если выйти ночью, и хруст травы, которую щиплют в темноте кони, — все наполняло Сергея острым чувством счастья.

Степь располагала к разговорам и мечтам. Сергей еще раньше, в деревне под Ленинградом, выучился ездить верхом, поэтому длительная встреча с седлом здесь, в Казах-

стане, не оказалась для него мучительной. Было так радостно мерно покачиваться в такт широкому шагу жеребца, всматриваться в синие горы на горизонте, размышлять, иногда обращаться с каким-нибудь вопросом к Самсонову и получать от него неожиданные, требующие новых размышлений ответы.

— Петр Иванович, а как вы думаете, может, например, существовать такая планета, которая вся представляла бы собой единственный сплошной огромный мозг?

Самсонов думал минуту или две.

— Сомнительно. Мозг ведь развивается, только прилагая свою деятельность к чему-нибудь. Где нет ничего, кроме мозга, не может быть и мозга.

А когда Самсонову хотелось помолчать, можно было беседовать с конем, потому что тот в ответ на каждую фразу по-другому ставил уши. Это было как разговор по семафору. Говоришь жеребцу что-нибудь — правое ухо опускается, а левое встает торчком. Говоришь другое — левое ухо идет вперед, а правое поднимается. И так все время.

А потом можно было дать коню повод, прижать ему брюхо каблуками и мчаться в галоп так, что космы травы по бокам внизу сливались в прямые линии, а степь бешено неслась навстречу.

Остановишься — конь фыркает, встряхивает головой, бросает белую пену с губ, а Мухтар и Самсонов видны вдали маленькими фигурками.

На третий день начались горы, и, следуя за Мухтаром узкими, натоптанными тропинками, путники углубились в лабиринты холмов и ущелий.

Горы были каменными, мертвыми и в то же время какими-то живыми. Неправдоподобно огромные, неподвижные, они, казалось, поднялись с груди земли с какой-то тайной целью, в которую никогда не проникнуть маленьким мушкам — всадникам, медленно ползущим вдоль гигантской стены.

Горы молчали, но когда Сергей долго вглядывался в какой-нибудь гранитный, в трещинах уступ, чудилось, будто напряженные изнутри глыбы оживают и что-то немо говорят.

...Муравьи шли плотной колонной около полутора метров ширины. Насекомые были крупные, красные и сильно кусались. Когда Сергей подобрал одного на руку, тот вце-

пился в палец с такой энергией, что тотчас выступила крохотная точка крови.

— Голодные,— сказал Сергей.

Уже с полчаса они с Самсоновым наблюдали за удивительным шествием. Все мелкое население степи разбежалось на пути красных разбойников, а кто не мог убежать, тому приходилось худо. По обеим сторонам колонны спешили отряды разведчиков. Жужелицы, кузнечики, пауки — все, что не успевало спастись, разрывалось на части.

На пути колонны из норки вылезла небольшая желтая змея и поспешно поползла прочь. Тотчас сотни насекомых очутились на ней. Змея задержалась, заторопилась, но с каждой секундой муравьев на ней становилось все больше, в конце концов она вся покрылась ими. Змея свертывалась и развертывалась, но это был уже какой-то черный копошащийся клубок.

— Черт! — Сергею стало жаль ее. Он шагнул к колонне и ногой отшвырнул змею в сторону.

Сразу же у него на руках оказалось с десяток насекомых.

Он поспешно отряхнулся.

— Поедмте, Петр Иванович.

— Сейчас,— ответил Самсонов.

Муравьи кусали и его, но он смотрел на них с радостным интересом исследователя, у которого удовольствие при встрече с новым явлением в природе полностью перевешивает неудобства, с этим явлением связанные.

Мухтар с конями ждал их поодаль.

— Никогда такого не видел,— сказал Самсонов.— Не знал, что тут водятся такие кочующие муравьи.

Они подошли к коням.

— А что, здесь часто вот так муравьи кочуют? — спросил геолог у проводника.

Мухтар, мешком сидя на высоком деревянном седле, равнодушно пожал плечами.

Вдали вдруг послышался топот множества копыт. Из-за ближайшего холма пушечным снарядом вылетел гнедой неоседланный жеребец с развевающейся гривой. За ним скакали другие, все с такими же гривами, темно-гнедые, со звездочкой на лбу.

Мгновение — и косяк в два десятка жеребцов пронесся мимо.

Потом снова раздался топот.

Молодой загорелый табунщик в лисьей шапке вымахал из-за холма на крупном галопе. Увидев всадников, он стал сдерживать коня и подъехал. Мельком оглядев Самсона и Сергея, он кивнул и горячо заговорил с Мухтаром.

Лицо у него было потное и злое.

Они говорили по-казахски. Сергею казалось, будто парень чего-то требует от проводника и в чем-то его обвиняет. Но лицо Мухтара оставалось каменным.

Напоследок парень сказал что-то твердое и короткое, отвернулся и поскакал за косяком.

Проводник поглядел ему вслед, презрительно сплюнул. Снял шапку, вытер крепкий лоб с седеющими висками, повернул кобылу и пустил ее трусцой.

— О чем они говорили? — спросил Сергей у геолога.

— Странное что-то... Табунщик обвинял Мухтара, что из-за него насекомые взбесились и пугают лошадей. Я не все понял... И еще парень его упрекал за какую-то святыню. Ругал... Вообще этот наш Мухтар — тип.

— Тип?.. В каком смысле тип, Петр Иванович?

Они уже уехали.

Самсонов помолчал, потом повернул в седле.

— Мы когда в Истере собирались, я с парикмахером разговаривал на станции. Мухтар, оказывается, бывший бай. Стада у него были тысячные. В тридцатых годах бандой руководил. Дали ему десять лет заключения, отсидел, вернулся. Попался потом на переходе границы. Опять исчез. И вот два года, как снова появился в этих краях... — Он оборвал себя и стал вглядываться вниз, в траву. — Что такое? Посмотри, Сережа.

Трава под копытами коней, казалось, неестественно ожила. Всюду было какое-то странное мелькание. Что-то похожее на колоски, пляшущие под ветром. Светлые пятнышки, которые непрерывно двигались, создавая впечатление, будто поверхность травы кипит.

Сергей и Самсонов спешили и наклонились к земле.

Сергей раскрыл ладонь над травой, и тотчас к нему на пальцы сел светло-зеленый кузнечик с коротенькими крыльями и длинными — далеко за спину — усиками. Он посидел миг и прыгнул дальше. Сразу второй приземлился на ладонь и опять скакнул вперед, описав в воздухе маленькую параболу.

Кипение травы и было кузнечиками, которые в неисчислимом количестве двигались все в одном направлении.

— Саранча? — тревожно спросил Сергей.

Самсонов покачал головой. Он тоже поймал кузнечика и разглядывал его.

— Ничего похожего. Обыкновенный кузнечик. Они и стаями никогда не собираются — вот такие.

Вдвоем они еще с минуту смотрели на траву, кишашую светлыми точками.

— Странно, — сказал геолог. — Действительно, все насекомые взбесились тут, в предгорье. Муравьи, и теперь вот эти...

Они были теперь на сырте — одной из приподнятых равнин, характерных для гор Джунгарского Алатау. Справа вниз уходила степь, слева высился увенчанный ледниками хребет.

Солнце клонилось к закату. Пора было думать о ночлеге.

Но только через час Мухтар поднял наконец руку:

— Здесь.

Метрах в ста от тропинки у холма стоял полуразрушенный глинобитный дом. За ним виделись остатки деревянного загона для скота. Все было покинуто, и площадка перед домом заросла травой. В зарослях журчал ручеек.

Пока Мухтар с Самсоновым расседлывали лошадей, Сергей пошел наломать курая для костра. Вскоре Самсонов услышал его голос.

— Петр Иванович! Петр Иванович, идите сюда!

Позади дома на вытоптанной полянке торчал грубо вытесанный невысокий каменный столб, окруженный оградой из жердей. На жердях висели разноцветные ленты.

Подойдя ближе, геолог и Сергей увидели на земле несколько кучек монет. Лежал и бумажный рубль, придавленный камнем. У самого же столба был привален плотно скрученный и перевязанный веревкой отрез материи.

— Что это?

— Святыня, — ответил Самсонов. Он поднял отрез, повертел в руках. — Это религиозные старики приносят. Старики...

Позади они слышали покашливание. Подошел Мухтар.

— А кто же это все забирает потом?

— Кто забирает? — Самсонов покосился в сторону казаха. — Да уж кто-нибудь забирает. Так не остается.

— Хазрет, — сказал проводник. Он холодно посмотрел на обоих русских и пошел к дому.

— А что такое хазрет?

— Святой. Святой забирает. — Геолог положил отрез на прежнее место. — Да, интересно все это. Посмотрим, что дальше будет.

После ужина они легли спать в доме на полу, расстелив потники и положив под голову седла. Когда Сергей засыпал, ему показалось, будто кто-то встал и вышел из дома. Потом он услышал конский топот. Ему хотелось подняться и посмотреть, кто это поехал, но тут сон непоборимо сморил его.

Проснулся он среди ночи от какого-то жжения на шее. Подняв руку, он нащупал на коже твердые живые соринки.

Геолог уже сидел на полу и торопливо шарил по карманам, стараясь найти электрический фонарик.

Проводника в комнате не было.

Фонарик наконец обнаружился. В круге света на полу двигались сотни белесых точек.

— Опять муравьи!

Но это были термиты. Густой колонной они вылезали из щели под стеной, пересекали комнату и скрывались в другой щели.

Почти два часа Самсонов и Сергей просидели в дальнем углу помещения. Потом колонна наконец прошла, геолог и Сергей, недоверчиво осмотрев пол, легли и заснули.

Проснулись они, только когда луч солнца из маленького окошка уже спустился со стены на пол. Геолог первым вышел из дома с мылом и полотенцем в руках.

Сергей услышал его голос:

— Сережа! Сережа, скорее сюда!

Сергей выбежал наружу, обогнул дом и ахнул.

Перед ним лежала дорога. На траве. Кусок ровного бетона шириной метра в два и длиной в пять. Бетон начинался сразу у дома и шел к «святыне».

Впрочем, при ближайшем рассмотрении дорожное покрытие оказалось не бетонным. Это был состав, похожий на глину, но тверже.

Вчера дороги не было, а сегодня она появилась. Как

если бы кто-то всю ночь выкапывал канаву, а потом залил ее раствором.

— Фантастика,— сказал геолог. Он встал на покрытие и потопал ногой.— Дорога. Твердая.

— Действительно, поверишь в святыню,— отозвался Сергей. Он посмотрел на столб и окружающую его ограду.— Посмотрите, денег уже нет.

И на самом деле, ленты, отрез материи и деньги исчезли.

За их спинами послышался стук копыт, и оба обернулись.

— Пора,— сказал Мухтар.— Лепп ждет.

— А далеко еще до него? — спросил геолог.

— Козы кош,— ответил проводник.— Перегон ягнят — пять километров.

* *
*

— Одну минуту,— сказал Лепп.— Минуточку.

Он выскользнул из комнаты, оставив Самсонова и Сергея сидеть на стульях.

Они переглянулись.

Прошло уже полдня, как они были у Леппа, и одна нелепость следовала за другой.

Когда они вместе с Мухтаром приехали сюда утром, Лепп, высокий, тощий, с тонкой шеей и узкими покатыми плечами, встретил их на пороге дома. Здороваясь, он протянул руку Сергею и как-то забыл убрать её обратно. Сергей пожал ее раз и другой, а она продолжала нелепо висеть в воздухе, вялая, почти бескостная. Удивительным было и лицо Леппа. Длинное, нездоровое, бледное, оно ежесекундно меняло выражение. То становилось веселым, то — без всякой видимой причины — печальным.

И дом Леппа производил странное впечатление — глинобитная постройка, массивная, тяжелая, притаившаяся в уединенной долинке у подножия хребта. Во всех трех комнатах окна почему-то были забраны решетками, а на входной двери Сергей увидел французский замок.

За домом лежала большая утоптанная площадка с раями по краям. В центре ее высилась пятиметровая деревянная мачта с каким-то сооружением наверху, похожим

на маленький радиотелескоп. С мачты спускался толстый обрезиненный кабель, который уходил в дом.

Уже два раза Сергей заговаривал о цели приезда. Но когда он впервые спросил о записях киевской лаборатории, лицо Леппа сделалось грустным-грустным, и он сразу как бы перестал слышать Сергея. Уголки губ у него опустились, взгляд потускнел и остановился. Это была такая удивительная перемена, что Сергею стало как-то стыдно, и он покраснел. Потом, через две или три минуты, Лепп очнувшись и безо всякой связи с предыдущим сказал, что очень мучается без газет и журналов и был бы не прочь подписаться хотя бы на журнал «Природа». После этих слов он пригласил геолога и Сергея обедать. Обед был очень вкусным — бешбармак с сюрпой, заправленной лавровым листом и другими специями. Сергей опять заговорил о Киеве и о погибшей группе, но Лепп отмахнулся: «Потом, потом».

Когда с бешбармаком было покончено и Мухтар собрал тарелки, Лепп поднялся и сказал, что в соседней комнате прочтет сейчас лекцию.

Не замечая недоуменных взглядов Сергея и Самсонова, он под руки вежливо провел их на другую половину дома и усадил на два стула, поставленных у окна.

Теперь они ждали, когда он вернется.

— Чудеса, — сказал геолог. — Похоже, что хозяин не совсем в норме. — Он уселся поудобнее, и положил ногу на ногу.

Комната была большая, чисто выбеленная. Всю правую половину занимал длинный стол с какими-то приборами, наполовину прикрытыми простыней. На стене возле стола был укреплен распределительный щит, к которому подходило несколько проводов.

— Откуда же здесь электричество? — спросил Сергей. Самсонов заглянул во двор.

— Может быть, движок какой-нибудь стоит. Потом разберемся.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Лепп. Он мельком огляделся, затем вопросительно посмотрел на Самсонова и Сергея.

— Можно начать?

— Пожалуйста, — сказал Самсонов.

Лепп подошел к столу, взял палочку, похожую на указ-

ку. Лицо его стало задумчивым, он закрыл глаза и закусил губу. Потом тряхнул головой, как бы отгоняя что-то, строго посмотрел на Сергея и сказал:

— Итак, насекомые.

Он постучал палочкой по столу.

— Насекомые! Восемнадцатое царство живых существ: тип членистоногие, класс насекомые... Не будет, по-видимому, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих животных и широта их географического распространения. Мы в том случае говорим, что класс живых существ достиг расцвета, когда этот класс наиболее многочислен и населяет наиболее разнообразные области как суши, так и воды...

Было странно, что, обратившись к теме насекомых, Лепп вдруг заговорил свободно и без запинок, сложными большими периодами.

— С этой точки зрения, самой процветающей группой в настоящее время могут быть названы именно насекомые. Рассматривая историю развития живого на Земле, новую эру нельзя считать временем млекопитающих и человека: как мезозой называется веком гигантских пресмыкающихся, так и наша современная эпоха — век насекомых. На сегодняшний день известно немногим менее миллиона их видов, и каждый год прибавляет к этому числу новые тысячи. Насекомые населяют умеренный пояс, холодный и тропики; они живут на земле, под землей, в воде и в воздухе; они могут существовать в подземных пещерах без света и на раскаленном солнечными лучами песке пустыни. Бесконечно разнообразен список того, что употребляется насекомыми в пищу. Млекопитающие могут питаться лишь растениями и животными, а термиты, например, способны поедать асбест, стекло и даже припой консервных банок. Фруктовые мухи интересуются производными евгенола, москиты не отказываются от углекислого газа. При этом муравьи, скажем, могут долгими месяцами обходиться совсем без пищи и длительное время даже без воздуха. Погруженные на 50—100 часов в воду, они оживают, будучи положенными на сухое теплое место, и в дальнейшем ведут себя...

Лепп вдруг запнулся и замолчал. Он мучительно покраснел, взгляд его сделался жалким.

— Забыл, — сказал он тихо.

Потом он справился с собой.

— Вместе со всем этим насекомые — это и наиболее устойчивая группа живого на Земле. Существовая в течение сотен миллионов лет, они пережили каменноугольные леса, гигантских рептилий и огромных млекопитающих, показав единственную в своем роде по длительности жизнеспособность. И более того: при том, что в настоящее время едва ли не все типы, классы и отряды животных на нашей планете обнаруживают признаки упадка, как раз в современную эпоху насекомые стремительно идут вперед, все более развиваясь и дифференцируясь. Природа как бы выстреливает насекомыми из лука, и на наших глазах эта стрела решительно поднимается в зенит. Биологическая масса насекомых сейчас самая большая на суше, их способность к самовоспроизведению теоретически едва ли не безгранична. Две пары цикад при благоприятных условиях могут за год породить миллиард особей. Потомство одной-единственной тли, не будучи уничтожаемым, за два года затопило бы всю сушу планеты живым копошащимся зеленым океаном.

Нигде в мире не осуществляется также такой высокий к.п.д., каким обладает организм некоторых насекомых. Саранча способна пролететь без посадки полторы и даже две тысячи километров, непрестанно работая крыльями. Самка муравья Лазиус нигер в одном из опытов прожила без пищи четыреста дней — четыреста! — пользуясь лишь той ничтожной крупницей вещества, которая была запасена в ее собственном организме, прожила, оставаясь все время деятельной, без сна и отдыха, производя потомство и непрерывно ухаживая за ним... Наконец, насекомые — это и наиболее пластичная группа из всех известных нам организмов. Существовая сотни миллионов лет, они сменили уже многие сотни миллионов генераций, создав структуры, чрезвычайно высоко приспособленные к ответу на изменения окружающей среды. За какие-нибудь два-три поколения муравьи, например, могут выработать принципиально новые способы постройки гнезда, образуя при этом не существовавшие ранее виды. В зависимости от качества и количества корма особь термита может либо остаться двухмиллиметровой крошкой, либо превратиться в существо в сотни раз большее — размах колебаний, никаким другим

животным не свойственный. Под влиянием среды насекомые могут даже терять одни органы тела и выращивать новые. Только насекомые среди всех остальных животных способны создавать сверхорганизмы: муравейники, ульи и термитники... Все вышеизложенное позволяет утверждать, что этот класс является наиболее развитой и перспективной группой животных на Земле. Однако...

Тут Лепп строго и даже с упреком посмотрел на молча сидевших геолога и Сергея.

— Однако как раз насекомые используются до настоящего времени человеком меньше, чем все другие животные. В отдельных отраслях хозяйства (пивоварение и виноделие) применяются простейшие; человек ловит и частично разводит рыб; люди питаются моллюсками, разводят копытных, применяя силу последних для тяжелых работ и перевозки грузов. И при всем этом, если исключить пчел и шелкопряда, полностью остается пренебреженной самая сильная и многочисленная ветвь живого на нашей планете — членистоногие. А между тем вычислено, что при необъятном количестве насекомых, вместе взятых по всей земле, их мускульная сила превосходит не только силу людей, но и всех употребляемых сейчас человеком машин. Саранча в сотни раз быстрее, чем это делается в ходе любого известного нам процесса, осуществляет превращение растительной пищи в вещество и энергию живого тела, но этот феномен еще ни разу не послужил нам. Термиты строят, однако они еще ничего не построили для людей. Некоторым видам муравьев свойственно разводить растения, но до сих пор они разводят их только для себя. Вообще в течение тысячелетий человек лишь боролся с гигантской и постоянно растущей мощностью восемнадцатого царства, но должно прийти наконец время, когда он научится управлять ею. Животноводство будущего — это разведение и использование насекомых.

Произнося последнюю фразу, он замолчал и опустил голову.

— Здорово! — воскликнул Сергей. — Но как? — Он со стулом подвинулся ближе к Леппу. — Как заставить насекомых работать?

— Что? — Лепп вскинул на него глаза. На лице его вдруг отразилась растерянность. — Что вы хотите?

— Я спрашиваю, как использовать эту силу.

Лепп побледнел, глаза его забегали.

— Нет! — вскричал он. — Нет!.. Ни за что!

И поспешно вышел из комнаты.

Когда он открывал дверь, оба увидели за ней прижавшегося к стене Мухтара.

Сергей повернулся к геологу.

— Петр Иванович, серьезно: он сумасшедший! А? Или фашист недобитый?.. Чего он темнит-то?

Самсонов помедлил, потом встал и, оглянувшись на дверь, приподнял простыню на столе. Там было что-то похожее на разобранный радиоприемник.

— Не так все просто, Сережа.

...Следующие сутки прошли без событий. Завтрак в двенадцать часов, обед-ужин в семь. (Выяснилось, что Мухтар постоянно живет здесь же, вместе с Леппом.)

На третий день бывший киевский лаборант вдруг пригласил геолога с Сергеем слушать продолжение лекции. На этот раз все должно было происходить во дворе.

Сам Федор Францевич был еще бледнее и выглядел еще более жалким, чем прежде. Утром у него вышла ссора с Мухтаром, они кричали друг на друга, и Сергею даже показалось, будто он слышит звуки драки из другой комнаты. Но к трем часам хозяева, видимо, помирились. Мухтар помог Леппу вынести во двор к мачте стол с приборами. Там же на столе они поставили стеклянный ящик в форме куба размером примерно в кубический метр.

Лепп опять усадил слушателей на стулья, принесенные из дома.

Мухтар пошел в сарай, куда теперь был протянут кабель от мачты.

Солнце уже спускалось, но жара стояла свирепейшая.

— Итак, насекомые! — начал Лепп. — Восемнадцатое царство живых существ. Не будет, пожалуй, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих существ и широта их географического распространения. Мы...

— Подождите, — сказал Самсонов.

— Что?

— Вы уже об этом говорили.

— Говорил?..

Лепп растерянно огляделся.

— Ладно,— прошептал он.— Ладно. Тогда приступим к опытам.— Голос его окреп, и сам он снова сделался похожим на профессора, читающего для большой аудитории.— Товарищ Оспанов, включите! (Это относилось к Мухтару, который тотчас скрылся в сарае.) Переходим к вопросу об управлении насекомыми с помощью излучателя. Внимание!

В сарае заработал движок.

Лепп проворными движениями включал какие-то кнопки и переключатели на приборах. Негромко запело сопротивление реостата.

— Внимание!

Новый, более низкий звук вплеся в пение реостата.

Сергею показалось, что пустой стеклянный ящик-куб вдруг начал слегка дымиться.

Дымок густел. Воздух наполнился ноющим гудом.

— Комары,— сказал Самсонов, поднимая голову.

Лепп важно кивнул.

— *Anopheles hyrcanus*, отряд двукрылых, подкласс крылатых насекомых.

— Смотри, Сережа, комары,— повторил геолог.— Кусачие.

В невероятном количестве со всех сторон к стеклянному ящику летели комары. Был слышен шелест крыльев. Насекомые влетали в ящик и садились на дно слой за слоем. Было такое впечатление, как если бы туда быстро наливалась какая-то серая жидкость.

Это выглядело, как исполнение желаний. Как осуществившаяся мечта летнего вечера где-нибудь в Кавголове или в Комарове под Ленинградом, когда досадливые тучи насекомых выются над тобой, не успеваешь отгонять их сорванной веткой, поминутно хлопаешь себя то по шее, то по ногам и думаешь о том, как бы загнать всех этих тварей куда-нибудь в бочку, а потом закрыть и утопить хотя бы.

За несколько минут ящик наполнился весь. Но комары продолжали прибывать, облепливая теперь его стенки. Огромный ком рос в стороны и вверх — столбом. Насекомых были миллионы. Может быть, миллиард.

— Эй, хватит, пожалуй! — приподнялся на стуле геолог.

Живой столб потерял равновесие, обломился, распавшись густой тучей, которая на миг заволокла все вокруг. И снова комары ринулись к ящику.

— Прошу наблюдать,— сказал Лепп.— Даем новый сигнал.

Он переключил что-то на столе.

Низкий звук сменился более высоким.

Ком стал таять. Насекомые разлетались, начал обнажаться ящик. Быстро редющим дымом комары поднимались, стремительно уносясь в разные стороны, как будто то, что было в ящике, уже отталкивало их.

Ящик опустел. Лепп выключил аппарат.

— Ну вот,— сказал он,— все.

Мухтар выглянул из сарая и скрылся. Движок дал еще несколько оборотов, потом умолк.

— Конец, все,— повторил Лепп. Он весь как-то поник и оперся руками на стол.

— Это уже серьезно! — воскликнул геолог, вставая.— Это очень серьезно.

Он подошел к Леппу.

— Федор Францевич, и что же вы думаете с этим делать? Так и держать все тут?.. Это же открытие! Возможно, колоссальное открытие.

Лепп сжался.

— Федор Францевич,— Сергей присоединился к Самсонову,— а записи киевской лаборатории у вас? Мне сказали, они должны быть у вас. Я же вам письмо от Марии Васильевны передал.

Геолог тоже подошел к столу.

— Нельзя же так, поймите. Это все надо отдать.

— Отдать кому? — прошептал Лепп.

— Как — кому? Нам... То есть не нам лично, естественно, а людям.

На лице Леппа выразилась мучительная борьба. Он вдруг взял Сергея за руку и пристально взгляделся в него.

— А кто вы? Кто?

Сергей пожал плечами.

Сзади подошел Мухтар.

— Ну хорошо,— сказал Лепп.— Я подумаю. Мне надо подумать. Может быть, я и отдам.

Он повернулся и пошел в дом, тощий, сутулый, едва волочащий ноги.

За ужином все молчали. Бывший лаборант выглядел совсем расстроенным, он то и дело с плохо скрываемым опасением поглядывал на казаха.

Мухтар отвел Сергея с геологом спать. Но не в сарай, где они ночевали раньше, а в комнату в доме. Окно здесь тоже было забрано решеткой.

Едва они остались вдвоем, Сергей кинулся к Самсонову.

— Огромное открытие! Вы правильно сказали, Петр Иванович. Они ведь тут уже управляют насекомыми. Выходит, ту дорогу, кусок дороги, термиты построили. Помните, тогда термиты шли...

Геолог пожал плечами.

— Трудно сказать. Во всяком случае, Лепп как-то заставил их туда перекочевать.

— А как? Что вы думаете, Петр Иванович? Что это за аппарат у него?

— Видно, генерируется какое-то излучение. Может быть, радиоволны. Вообще ведь насекомые на радиоволны реагируют. Например, некоторые ночные мотыльки отыскивают своих самок по запаху на расстоянии в десять — пятнадцать километров. Такие опыты неоднократно ставились и проверялись. А сам запах многие ученые считают тоже радиоизлучением. Но особого рода.

— Какого?

— Не знаю... Но, впрочем, возможно, что там, в институте, перед войной они вообще открыли какое-нибудь принципиально новое излучение. Принципиально! В этом тоже ничего невозможного нет. До Рентгена-то никто ведь и не думал, что есть рентгеновы лучи. А он сделал свое открытие более или менее случайно. И без каких-нибудь особых аппаратов... В институте они открыли это излучение и, может быть, даже не поняли, что имеют дело с новым излучением, а просто установили, что есть нечто такое, влияющее на насекомых. Всякое может быть...

— Да...— Сергей задумался, потом посмотрел на Самсонова, на лице которого вдруг появилось какое-то подозрительное выражение.— Ведь и в самом деле: почему мы должны считать, что известны уже все виды излучений?

Геолог, не отвечая, предостерегающим жестом поднял палец:

— Может быть, этих излучений еще...

Самсонов отмахнулся. Он прислушивался к тому, что совершалось в коридоре, за толстой деревянной дверью.

Кто-то тихонько подошел к комнате.

Геолог вынул из кармана небольшой револьвер. (Сергей даже и не знал, что у него есть револьвер.)

За дверью затихли. Звякнул ключ, вставляемый в скважину.

Самсонов рывком вскочил. Но было поздно. С той стороны кто-то держал дверь. Ключ дважды повернулся в замке.

— Эй! Бросьте эти штуки!

Геолог что было сил нажал на дверь.

— Перестаньте! Что это такое?

Он еще раз нажал. Но безрезультатно.

— Черт! Так и чувствовал, что будет подвох.

Он сунул револьвер в карман и сел на постель.

Прислушиваясь, они просидели четверть часа. Дважды Сергей принимался стучать в дверь, но никто не отзывался.

Самсонов осмотрел комнату. Толстая решетка в окне была вделана в окаменевшую глиняную кладку.

— Попали в лапы к фашисту,— сказал Сергей.

Самсонов отрицательно помотал головой.

— У них тут вражда, Сережа. Когда ты коней поил утром, я прошелся по двору и услышал, как они в сарае кричат. Мухтар говорит, что, мол, гнать их прочь. Нас то есть. А Лепп отвечает, что покажет опыт. Один — нет, а другой — да. Я посмотрел в щелку, вижу — Мухтар вдруг хватить Леппа за горло. Как щенка встряхнул и отпустил.

— Ну и что же вы, Петр Иванович?

— А что я?

— Вмешались бы.

— Нельзя.— Геолог вздохнул.— Вмешайся, а Лепп, может, еще больше испугался бы. Видишь, он какой. Уж лучше подождем.

— А что этому Мухтару-то надо от Леппа?

— Надо, наверное, чтоб немец здесь сидел и не уезжал. Лепп свои опыты делает с насекомыми, а Мухтар перед местными стариками и старухами себя за святого выдает. Видел, деньги ему нанесли к столбу? И вспомни, как его молодой табунщик ругал — Мухтара. За этих са-

мых насекомых. Мухтар все так выставляет, будто он сам муравьями командует...

Где-то в доме послышался громкий говор голосов. Что-то визгливо прокричал Лепп. Потом настала тишина, и вдруг заработал движок в сарае.

Еще около полутора часов прошло. Самсонов и Сергей легли.

Движок продолжал работать.

Снова раздался голос Леппа, гневный, протестующий. Длился какой-то спор. Упало что-то тяжелое. Хлопнула дверь. Потом некоторое время слышался только стук мотора.

В начале двенадцатого геолог включил фонарик, чтобы посмотреть на часы.

Луч света скользнул по стене, и Сергей вскрикнул:

— Ой, смотрите, Петр Иванович!

По стене из окна спускался широкий черный рукав. Как текущая вода.

Самсонов сел на постели, недоуменно протянул к стене руку:

— Муравьи!

Рукав ширился и удлинялся на глазах. Казалось, насекомые ползут даже в несколько слоев — одни по другим. Через несколько секунд они стали затоплять пол.

— Нет, так не пойдет, — быстро сказал Самсонов.

Он соскочил с постели, вынул револьвер, спустил с предохранителя и взвел курок. Шагнул к двери, прикинул, в каком месте располагается язычок замка, приставил револьвер и выстрелил — раз, другой.

— Отойди-ка.

Сергей уже отчаянно и молча смахивал с себя легионы атакующих его насекомых.

Геолог, оскользаясь на муравьях, уже сплошь покрывших пол, сделал два больших шага и всей массой тяжело-го, крепкого тела ударил в дверь.

Она крикнула и приотворилась, выламывая замок.

— Бежим!

Схватившись за руки, скорчившись под градом падающих теперь уже со стен и с потолка насекомых, они выбежали коридорчиком из дома, и здесь их глазам представилась страшная картина.

Освещенные лунным светом двор, дом, сарай — все

было залито муравьями, и все шевелилось. У водопойного корыта, привязанные, дико метались кони. На глазах у Сергея жеребец оборвал наконец повод и гигантскими прыжками, в карьер, слепо ударившись о стог курая и отброшенный этим ударом, поскакал в долину.

Сергей уже только стряхивал насекомых с лица.

Самсонов опять схватил его ладонь.

У коновязи они остановились. Две оставшиеся лошади бились, стараясь оторваться.

Геолог ножом перерезал повод одной.

От звука его голоса другая кобыла замерла, затихла, мелко дрожа. Муравьи, лоснясь бесчисленными черными спинками, заливали ее всю, она только встряхивала головой.

Самсонов прыгнул было ей на спину, держа в руке нож, потом соскочил, огромными шагами бросился к мачте, дернул кабель и оторвал его.

Сергей, уже почти ослепленный, услышал, как Самсонов вернулся к лошади, почувствовал, что сильная рука потянула его вверх, и ощутил под животом острую холку и напряженно работающие плечевые мышцы кобылы.

...Они пришли в себя за два километра от Леппова дома у ручья. Полчаса обмывались холодной водой. У обоих распухли лица, и обоих лихорадило.

С первыми лучами солнца они пересекли ручей и, недоверчиво вглядываясь в траву под ногами, двинулись обратно к дому. Не было даже сил и желания сесть на лошадь. Сергей вел ее в поводу.

— Какая мощь! — повторял Самсонов. — Какая жуткая мощь!..

В доме все было тихо и покинуто. Движок молчал. Муравьи ушли.

С револьвером наготове, оставив Сергея во дворе, геолог вошел в коридор.

За спиной Сергея что-то звякнуло, он испуганно обернулся. Жеребец, уже забывший обо всем, спокойнопил воду из корыта. Он поднял морду и посмотрел на юношу.

Оторванный кабель так и валялся одним концом возле мачты.

В доме раздался какой-то шум. Звук тяжелого удара.

Сергей бросился к двери.

Из темного коридорчика на миг показался Самсонов.

— Подожди. Постой там.

И скрылся. (Ни Леппа, ни Останова нигде не было.)
Наконец геолог вышел. Лицо его было совсем бледным.
Он растерянно прислонился к косяку двери.

— Все, Сережа.

— Что — все?

— Оба погибли.

— Погибли?

— Ага... Схватка у них какая-то была. Случайно, наверное, закрыли дверь и потом не смогли открыть... А может быть, кто-нибудь и нарочно захлопнул. Там в комнате французский замок.

— Но почему?... Разрешите мне, Петр Иванович.

— Не надо. Незачем тебе на них смотреть.

Опять он скрылся в доме и через несколько минут вернулся, держа в руках потемневшую металлическую коробку, наподобие тех, что употребляются для кипячения медицинских инструментов.

— Видимо, это и есть.

Вдвоем, усевшись на землю тут же у стены, они открыли коробку. Там было несколько общих тетрадей, подмоченных, старых, в пятнах.

Самсонов открыл одну.

Насекомые.

Популярная лекция.

«Восемнадцатое царство живых существ: тип членистоногие, класс насекомые. Не будет, по-видимому, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих животных и широта их географического распространения...»

В других тетрадях были схемы, формулы.

На нескольких отдельных листках полустершиеся сбивчивые рваные карандашные строчки налезали одна на другую. Записи шли под числами, как в дневнике.

— Лепп,— сказал Самсонов.

— Почему вы так считаете?

— Видишь, почерк другой. Неуравновешенный.

Он вчитался, потом присвистнул.

— Что-то вроде дневника военных лет. Интересно.— Он встал.— Вот что: седлай коня и скачи за людьми. Помнишь, мы ехали, аул в стороне был?.. Скачи, а я посто-рожу все тут.

...Минула неделя, и Самсонов проводил юношу до автомобильной дороги на Аягуз.

Они ехали верхом около двадцати километров.

Уже начинала показывать себя осень. Полынь и ковыли совсем усохли, превратившись в шуршащую бурую ветошь. Соколы парили над степью, под вечер от озера на восток потянулись длинные стаи гусей.

Когда вдали бело мелькнул домик автобусной станции, Самсонов сказал:

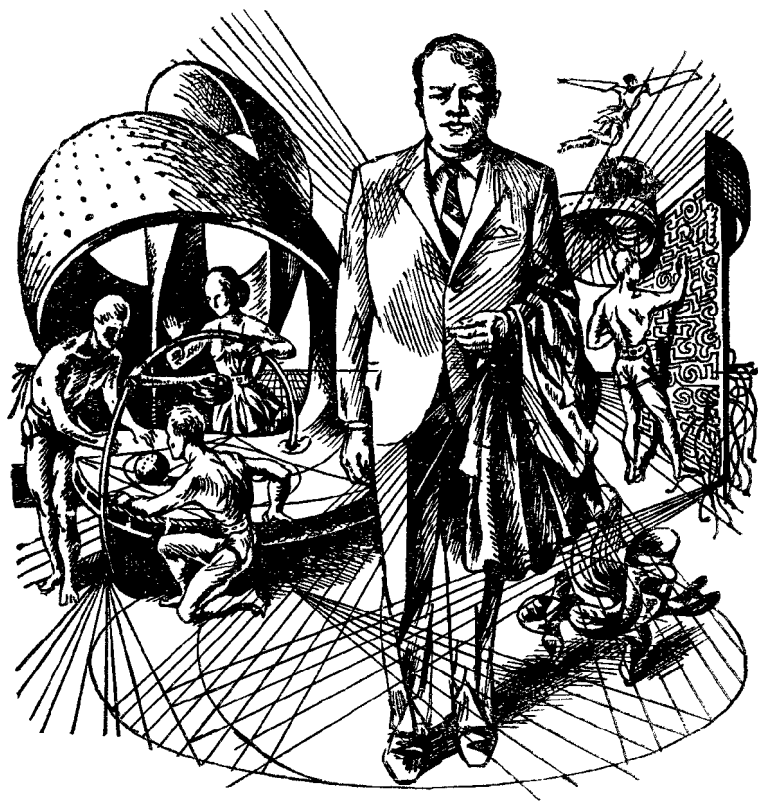
— А знаешь, Лепп-то, оказывается, был очень хорошим человеком, Федор Францевич. Утром геодезист мне письмо привез из Алма-Аты. Прочли они там дневник. Понимаешь, на фронт его не взяли тогда, потому что немец. Обстановка была трудная, не всем доверяли. Эвакуироваться ему не удалось, он остался в Киеве. Гестаповцы его разыскивали, требовали, чтоб он работал на них, чтобы архивы института передал. Пытали. А он устоял и ничего не отдал. Отличный был человек...

— А почему же он потом-то?..

— Да он тронулся немного, Сережа. С ума сошел от мучений. Когда наши пришли, объяснить ничего не сумел. И вообще мало понимал, что происходит. Наверное, даже не понимал толком, что это именно наши пришли. Времена тогда были крутые, выслали его в Казахстан. А он все эти записи берег; в этом смысле-то голова у него работала. И даже кое-какую аппаратуру сумел восстановить. Тут он как-то к Мухтару в руки попал.

Потом Сергей ехал в поезде, кружилась за окном бесконечная казахстанская степь.

Он все вспоминал Самсонова, Леппа, Мухтара, и ему виделось, как по сигналу человека саранча тучами поднимается с плавней, чтобы лечь удобрением на пахоту, как термиты, разом собравшиеся вместе, сооружают дороги в пустыне, как бесчисленные муравьи скашивают урожай пшеницы и по зернышку сносят его в назначенные места.



НО ЕСЛИ...

Викентий Ступаль, небольшого роста, плотный, самоуверенный лысеющий блондин с гладким чисто выбритым лицом, одетый в привезенный из Лондона серый костюм, с лавсановым пальто через руку, вошел в вагон за несколько секунд до свистка.

Был тот ранний вечерний час, когда живущий в пригородах народ начинает возвращаться домой с работы. По вздрагивающему полу Ступаль прошел на середину вагона, огляделся и внушительно сказал:

— Так...

В этом «так» было признание того, что порядок вещей — и сам только что вымытый вагон со свежееотлакированными полками, и серое осеннее небо за окнами, и уже поплывшие за ними привокзальные постройки, и вся точная, слаженная железнодорожная служба — пока что у него, Ступаля, возражений не вызывает. В этом «так» было и некоторое напоминание.

Ближайшие к Викентию пассажиры его поняли и зашевелились. Молодая женщина в кожаном полупальто оторвалась от книжки и недоуменно взглянула на Ступаля. Парень в капитанской фуражке напротив нее тоже поднял голову.

Тогда на самоуверенном лице Ступаля произошло мгновенное изменение. Сверкнули белые ровные зубы, он улыбнулся широкой, чуть застенчивой улыбкой. Она была такой заразной и свойской, что и у женщины и у парня тоже сразу посветлели лица. Женщина подвинула к себе синюю с белым сумку «Аэрофлот», а парень проворно скинул ногу с ноги, освобождая для Ступаля проход.

Викентий сел, распространяя тонкий, с утра удержавшийся запах шипра, и еще раз спросил:

— Так, значит... поехали?

Пока состав кочевал с одной стрелки на другую, решительно убыстряя ход, в вагоне притихли, как это всегда бывает, пока начавшаяся дорога — еще не совсем дорога и еще тянут назад городские мысли. Потом электропоезд вырвался из узких проходов между другими ожидающими очереди составами, сирена громко и бодро закричала, за окнами завертелись пригородные рощи и дачки с аккуратным штакетником, в вагоне сделалось светло, и все заговорили и задвигались.

Ступаль вынул из кармана сложенный вдвое свежий номер «Недели» и развернул его. Тут была его собственная статья, и Викентий с легкой внутренней усмешкой отметил про себя, что на странице он оказался рядом с академиком Колмогоровым.

У него было отличнейшее настроение, которое не портилось даже тем обстоятельством, что сегодня ему пришлось ехать в электричке, а не на машине. (Новенькую «Волгу» он вчера отогнал на гарантийный ремонт.)

Он ехал на собственную дачу.

Когда год назад после выхода его третьей книги они с женой купили дачу, сначала показалось, что с покупкой будут одни только неприятности. Рядом с их участком стоял особняк, принадлежавший бывшему торговому работнику, мяснику, грузному мужчине со звероподобным красным лицом. Новые соседи ему не понравились, и, приехав как-то из города, Викентий с Ниной обнаружили, что окольцовано лучшее дерево в их саду — большая развесистая береза. Потом, тоже во время их отсутствия, была подрублена яблоня, а через несколько дней другая. Викентий кипел от негодования, однако с мясником здоровался поверх заборчика вежливо. Понимал, что сделать ничего не может: не сидеть же ночами в саду, ожидая, когда тот снова придет. Но однажды к соседу постучался гражданин в серой фуражке и побыл на даче часа полтора. Когда он уходил, у провожавшего его мясника тряслись губы. На участке побывали три комиссии, соседа что-то не стало видно, и в один прекрасный день Ступаль узнал, что дача отобрана у бывшего мясника.

С тех пор Викентий с совершенно особенным чувством входил, возвращаясь из города, в свой сад. Уж кому-кому, а ему-то не приходилось опасаться визитов из милиции. Вышедшая двумя изданиями популярная книга об астрономии, еще одна книжка о теории относительности и множество статей по газетам и журналам — вот откуда у него всё. Пожалуй, пусть приходят, проверяют! Тем, что он имел, он владел по праву: и домом, и «Волгой», и сберегательной книжкой...

Викентий сунул в карман «Неделю» и огляделся. Стыдная мысль просилась ему в голову: все-таки он очень преуспел в жизни и устроился лучше, чем миллионы и миллионы людей в огромном Советском Союзе. И, уж конечно, лучше, чем любой из едущих сейчас с ним вместе в вагоне электрички.

Он нахмурился и попытался отогнать эту мысль. Но объективно, насчет вагона-то, во всяком случае, так оно и получалось.

Кроме молодой женщины на той же скамье со Ступалем сидела пожилая учительница, которая вынула из объемистого портфеля грудку тетрадок и принялась проверять их. Напротив поместились трое: парень в капитанке, совсем молоденькая девушка-ремесленница, заранее насторожившаяся против ухаживаний парня, и старуха в грубом брезентовом плаще с сумкой на коленях, откуда торчали батоны.

Дальше по вагону расположились пригородные колхозники, железнодорожники, рабочие совхозов. Просто невозможно было представить себе, чтобы кто-нибудь из них владел дачей, автомобилем и имел возможность один год ездить в туристскую поездку в Рим, а другой — в Стокгольм.

За окном быстро, по-осеннему, вечерело. Начался мелкий дождь. Сквозь изрытое прозрачными каплями оконное стекло Викентию видны были потемневшие мокрые поля с не убранной еще капустой, длинные прямоугольники картофельных гряд возле домиков дорожных смотрителей, асфальтированные дороги, на одно короткое мгновение протягивающиеся к далекому горизонту, с торопящимся посередине маленьким грузовиком.

Ступалу было покойно и удобно сидеть. Он подумал, что вот ему самому не приходится ни вести грузовик, ни выкапывать картошку на слякотном поле. Что жизнь его проходит либо в собственном уютном кабинете, либо в разговорах и обсуждениях, которые тоже ведутся не на ветру и не в холоде. И снова успокоил себя — естественно, так и должно быть, поскольку он принадлежит к тем, кто двигает вперед культуру и науку.

На станции, в десятке километров от которой располагался известный на весь мир исследовательский центр, снаружи на перроне раздались молодые громкие голоса. Когда состав уже тронулся, дверь сильно стукнула, отъезжая, в вагоне появилась группа студентов. Все они порядком промокли, и с ними ворвались запахи дождя, сырой одежды и то оживление, которое всегда сопутствует куда-нибудь едущей молодежи.

Впереди пробежала девушка в красном беретике, огляделась, переводя дыхание.

— Ой, ребята, даже свободные места есть!

Места были возле Ступала. Две студентки тотчас заня-

ли их, а парни, чтоб не разбивать компании, устроились тут же на чемоданах и рюкзаках.

— Ну что же,— сказала девушка в берете,— теперь поедим, физики, да?

— Поедим-поедим! — раздалось в ответ.— Гриша, не зажимай колбасу.

Но Гриша уже извлек из чемодана кус полтавской и всем своим видом показывал, что не зажимает, а напротив, оскорблен даже таким предположением.

— Ребята, ножик! — потребовала рыженькая студентка.

Студенты полезли по карманам, но проворнее всех оказался парень в капитанской фуражке. Он поднялся, подал ножик и предупредил:

— Осторожно. Сегодня точил.

Трапеза быстро была окончена, у студентов начался оживленный свой разговор. Заспорили о некой Тане Наземцевой, сбежавшей «с картошки», и пришли к выводу, что она стоит за слишком бережное к себе отношение. Вспомнили о семинаре по вакууму, где некий Михей «дал прикурить» самому профессору Кольцову.

Девушка в берете сказала:

— Да, ребята, а что теперь Кольцов будет говорить на кафедре про третий курс?

Компания рассмеялась, а смуглый рослый студент воскликнул:

— При чем же тут третий?

Девушка в берете подхватила:

— И верно! Четвертый!.. Подумать только — мы уже четвертый курс.

Парни и девушки глубоко, серьезно вздохнули, умолкнув на минуту.

Ступаль ощущал к студентам почти отеческое чувство с оттенком, правда, легкой снисходительности. Он подумал, что они уже, возможно, читали его статью в «Неделе», и ему хотелось, чтоб они заговорили о ней.

— Ладно, люди,— сказал, прерывая молчание, смуглый.— А кто что думает об эксперименте. У Голикова... По-моему, тут перспектива.

— Лопух твой Голиков,— сразу отозвался маленький брюнет с умным и острым взглядом.— Я ему вот на столько не верю. Пытается доказать то, что уже доказано...

— Да дело не в том, что доказано,— возразил смуглый,— а в том, что Штейнберг работал на приборах огромной точности. А Голиков с чем экспериментирует?

— Вот теперь-то мне ясно, что ничего вы, ребята, не поняли.— Рыженькая девушка обвела всех торжествующим взглядом.— Голиков рассчитал время жизни частиц чисто теоретически. А приборы ему были нужны только, чтоб зарегистрировать наличие...

Студенты заспорили еще жарче, перебивая друг друга.

— Все это ерунда,— говорил маленький брюнет.— Самое важное сейчас — Алексеев со своей время-динамической теорией. Вот. Докажет, что световой луч обладает реактивной отдачей, и будет обоснована возможность движения по вектору времени. А это косвенно подтверждается теорией кривозамкнутого пространства. Тогда и получится, как в фантастических рассказах,— они к нам из будущего, а мы к ним...

Ближайшие к студентам пассажиры слушали этот разговор, улыбались, когда студенты смеялись, серьезнели, когда те говорили о серьезном. Хотя старуха с батонами, парень в капитанке и сидевшие на соседней скамье железнодорожники не понимали научной сути спора, на их лицах было благожелательное и даже чуть растроганное выражение.

Ступаль сначала попытался проникнуть в предмет дискуссии, но это оказалось ему не по силам. Когда же студенты заговорили о путешествиях по времени, он опять ощутил превосходство над ними. Ему была смешна горячность спорящих, поскольку он твердо знал, что передвижение во времени невозможно и никогда не станет возможным...

Вовне, на воле, между тем темнело. Состав замедлил ход, приближаясь к полустанку. За окном мелькнула кабинка «МАЗа» с шофером, закутившим в ожидании, когда поднимется шлагбаум. Потом электричка остановилась. На платформе стояли девушка с большой белой собакой и поодаль молодая женщина, держащая за руку мальчика лет трех. У того в руке был красный воздушный шарик на ниточке. Собака прыгала, играя, вдруг вырвала поводок и метнулась к мальчику. Тот, испугавшись, выпустил из руки свой шар и заплакал.

Ступаль глянул на все это мельком, потом он раскрыл рот, намереваясь вмешаться в спор студентов и объяснить, в чем именно они неправы.

И вдруг...

И вдруг он почувствовал, что у него каменеют пальцы ног. Глаза его сами собой закрылись. Стало темно. Окаменение решительно поднялось до груди, захватило плечи, руки. Он попытался крикнуть, но не мог. Какие-то серебряные круги вертелись перед глазами. Ему показалось, будто он с бешеной быстротой летит куда-то. Так скоро, что все его тело, уже окаменевшее, рассыпается на мельчайшие кусочки, в пыль.

Это мучительное состояние длилось довольно долго. Затем Ступаль ощутил, что тело его опять есть, и понял, что уже не сидит, а лежит на чем-то твердом.

Его немного подташнивало. Руки и ноги были противно слабыми. Он открыл глаза.

Над ним было синее небо. Не вечер, как в поезде, а ясный, сияющий день. Какие-то голоса переговаривались возле него. Было свежо и тепло вместе с тем, как после грозы.

Голоса спорили. Сначала Ступалю показалось, что это не русский язык, потом он начал разбирать отдельные слова и понял, что русский. Но чем-то отличающийся.

Мужской голос сказал:

— Конечно, это не тот. Мы ошиблись.

— Не так уж важно, что не тот,— возразила девушка рядом.

— Не тот, не тот,— сказал кто-то третий.— Такой нам ничего не расскажет и не объяснит. С самого начала установка была неправильной. То есть и с ним, конечно, интересно было бы познакомиться, но сейчас задача другая.

Вторгся девичий голос:

— Тише вы! Он уже может слышать... Даже не знаю, что теперь делать.

— Во всяком случае, надо его снять... Карио!

— Да! — откликнулись издалика.

— Выключи. Он приходит в себя.

Ощущение тошноты стало исчезать у Ступаля. Он глухо вдохнул и пошевелился.

Загорелая рука протянулась над его головой, отодвинула нависающую черную трубку.

— Давайте расходиться и будем готовить поле для отправки.

Ступаль приподнялся на локтях, сел на своем твердом ложе и недоверчиво огляделся.

Он находился на большой ровной площадке, уставленной аппаратами и машинами. Поскольку со всех сторон, края площадки обрывались как бы прямо в небо, он подумал, что это крыша высокого здания.

Справа метрах в пяти стоял большой белый щит, покрытый переплетенными разноцветными проводами. Дальше тоже были щиты, столы с приборами, непонятные сооружения из перекрещивающихся белых плоскостей. Стоял навес на легких столбах — под крышей громоздилось что-то такое, чему трудно было подобрать название.

Прямо из белого пола тянулись зеленые растения.

— Как вы себя чувствуете? — раздалось рядом.— Здравствуйте.

Викентий обернулся и увидел атлетически сложенного юношу в трусиках с широким синим поясом.

— Вы в будущем. Но у нас, к сожалению, произошла ошибка... Как сейчас с дыханием? Нормально?

— Ничего,— осторожно ответил Викентий.

— Не беспокойтесь ни о чем,— сказал юноша.

Он протянул руки, с неожиданной силой взял Ступаля под мышки, поднял и поставил на пол.

— Голова больше не кружится?

— Ничего,— повторил Викентий. Ему вдруг подумалось, не потерялся ли во время этих приключений его бумажник. Бицепсом он прижал пиджак на груди и убедился, что всё на месте. И светлое пальто было тоже здесь, перекинутое через руку.

Юноша слегка поморщился, как бы угадав эти душевные жесты Викентия.

— Погуляйте здесь полчаса, и мы отправим вас обратно.

Он повернулся и пошел на другой конец площадки.

«Невежливо»,— подумал Ступаль. Он несмело сделал несколько шагов от серебристого полукольца, окружавшего стол, на котором он пришел в себя. Ему стало видно не только небо, и он убедился, что площадка, где он находится, возвышается среди бесконечного леса. По яркости красок лес показался Ступалю тропическим. Простираясь

во все стороны горизонта, кое-где поднимаясь невысокими холмами, а в других местах образуя долины, он был так далеко внизу, что виделся Ступалю как бы с идущего на посадку самолета.

И там было совсем безлюдно.

Потом, присмотревшись, Ступаль увидел, что среди деревьев вдали возвышается что-то белое, похожее на огромное здание или скалу. И еще одно такое же вырисовывалось на фоне зелени правее и дальше первого.

Снизу несло влагой и бодрящими свежими запахами.

На площадке между тем начала разворачиваться какая-то деятельность. Юноши и девушки хлопотали у щитов и приборов. Работа, которой они занялись, была странной. Почти никто не прикасался к приборам. Ближайший к Ступалю юноша, стоя перед белым щитом, в неуловимом ритме протягивал и убирал руку, что-то шепча при этом. Возле другого щита девушка приседала как бы в старинном средневековом поклоне.

Ступаль откашлялся и шагнул к юноше.

— Послушайте, где я... Что это все такое?

Тот бросил на него быстрый взгляд.

— В тридцатом веке. Мы сделали эксперимент.

— В тридцатом веке?

— Да.

— В три тысячи... каком-то году?

— Да. Мы скоро отправим вас обратно. Произошла ошибка в расчетах. Извините нас, пожалуйста. Мы очень сожалеем.

Ступаль ошеломленно огляделся. Будущее — поразительно!

Дело было в том, что он всю свою сознательную жизнь как-то не верил в будущее. Тем более в отдаленное. То есть он готов был порой снисходительно похвалить какое-нибудь фантастическое сочинение, где речь шла о межгалактических связях, о грядущем прекрасном мире, но в глубине души считал, что ничего такого все равно не будет.

И вот оно есть!

Он снова глянул на расстилавшийся внизу бесконечный лес. Необъяснимой была эта безлюдность, поскольку он мог примерно представить себе, как сильно должно бы возрасти население Земли через тысячу лет после его соб-

ственной эпохи. Но так или иначе, он оказался в будущем. Выходит, что путешествия по времени все же возможны. Но как они перетянули его сюда? И почему говорят, что он не тот, кто им нужен?

Он подумал, что здесь-то они и ошиблись. Наоборот, им повезло, что из тысячелетней давности явился именно Викентий Ступаль, хорошо информированный, много повидавший. Кто, как не он, расскажет о науке XX века, ведь он и пишет о науке. Кто, как не он, поведает об Италии, Франции, Финляндии своей эпохи — обо всех странах, где ему довелось побывать в последние годы? У этих молодых людей как раз неудачно получилось бы, если бы вместо Викентия они выхватили из прошлого кого-нибудь из студентов или железнодорожников, ехавших в электричке, или, например, старуху с батонами.

Ступаль приосанился, поправил галстук и улыбнулся юноше своей испытанной белозубой улыбкой.

— Послушайте, а как это получилось? Как вы взяли меня?

— Что вы сказали? — Он продолжал свои пассы. — Извините, я буду делать наводку, потому что у нас гигантский расход энергии каждую минуту, что мы вас держим здесь. Поэтому мы все торопимся.

— Я говорю, как это вы устроили?

— Вы знакомы с теорией идеальных чисел?.. Боюсь, что вам не понять, одним словом. Слишком сложно.

Ступаль хотел возразить, но что-то остановило его.

— А сейчас вы что делаете? Вот так руками.

— Готовлю поле. Это Глюк.

— Что?

— Глюк. Композитор восемнадцатого века. Вы должны были слышать о нем. Это почти ваша эпоха.

— А зачем вам Глюк?

— Достижения искусства прошлых веков стали у нас научными истинами. Впрочем, они всегда были... Странно, что вы не знаете Глюка.

Белокурая девушка неподалеку смотрела на Ступаля и отвела глаза в сторону, перехватив его взгляд.

Викентию сделалось обидно. Было похоже, что с ним тут не хотят разговаривать. Потом он подумал, что насчет науки-то, пожалуй, они правы. Он действительно не знает ее. Писал всегда с кем-нибудь вдвоем, а если один, то

попросту делая из десяти чужих страниц одну свою. Излагал другими словами.

Опять он огляделся. Пустынная, покрытая лесом местность, белые скалы, высокое утреннее небо над головой — во всем были оттенки молодости, чего-то начинающегося... Неужели такова Земля в трехтысячном году?

Ему стало жарко в плотном костюме.

Все, находившиеся на площадке, сплошь были молодыми и какими-то уж очень индивидуализированными. У каждого свой особенный облик.

Впрочем, он тотчас почувствовал, что физиономия одного из юношей кого-то напоминает ему. И лицо белокурой девушки на площадке тоже казалось чуть-чуть знакомым.

А темп работы вокруг него усилился. Юноша, перепоясанный синим ремнем, кончил свои пассы у щита и принялся поспешно устанавливать черные трубки в том серебристом полукольце, что окружало стол.

Одна из девушек у стенда с приборами подняла руки вверх:

— Готово! Кончила!

Легкой походкой гимнастки она выбежала на середину площадки, прислушалась. Лицо ее внезапно сделалось серьезным, она негромко сказала:

— Внимание. Час! Час контакта!

Все сразу оставили работу, выпрямились и застыли.

Свет солнца вдруг изменился, став голубоватым, как будто пропущенным через фильтр. Ступалю показалось, будто что-то произошло с его зрением. Но в тот же момент он забыл об этом, потому что на всем огромном протяжении леса внизу из-за деревьев выступили люди. То был удивительный феномен. Из-за каждого дерева показался человек. Их было сотни тысяч, а может быть, и миллион на широкой равнине. Меньше секунды держалось это видение, а затем исчезло вместе с голубоватым светом.

Тотчас люди на площадке вышли из неподвижности и занялись своим делом. Лес опять стал лесом, солнце — солнцем.

Это было похоже на мгновенный смотр. Потом, позже, в его собственном времени, Ступала часто преследовала странная картина. Бесконечный лес и невообразимое множество людей плечом к плечу.

Он закусил губу. Что это такое? Не расселились ли люди будущего по разным измерениям?

Он обратился к юноше.

— Скажите, а это...

И снова с ним не стали разговаривать. С извиняющей улыбкой юноша покачал головой и вышел на середину площадки.

— Товарищи! — Это относилось ко всем. — Нам нужен озим. Иначе мы не наладим обратную связь.

— Да, верно. Озим.

Девушка, окончившая свою работу, подняла вверх руки.

— Я принесу.

Она подбежала к навесу на площадке под потолком которого громоздилось множество светлых пластин, сняла с потолка две пластины, надела их на руки так, что они образовали нечто вроде крыльев.

Затем она подошла к краю площадки, на миг сосредоточилась, как ныряльщик на вышке, и ринулась в двухсотметровую голубую бездну.

Все другие оставили работу, следя за ней.

Ступая затошнило, он пошатнулся, затем справился со слабостью.

Несколько секунд ему не было видно девушки, потом она появилась за краем площадки. Усиленно изгибаясь всем телом, распростерши плоскости горизонтально, она искала то ли восходящую воздушную струю, то ли поток какой-то энергии, который позволил бы ей набрать высоту.

— Пожалуй, ей трудно будет принести, — сказал атлет с синим поясом.

Он подбежал к навесу, быстро сорвал плоскости, надел их на руки и с разбегу ринулся с площадки.

Этот полет был другим. Ступаль видел, как юноша отвесно падал почти до леса, потом, повернув плоскости, как по невидимой нити, решительно взлетел и снова стал падать к девушке. Однако и она уже справилась и взбиралась теперь, как по воздушной спирали. Вдвоем они поравнялись с площадкой и стали удаляться. Они казались уже птицами и, подобно двум птицам, низвергнулись с высоты, скользая и направляя свой полет к одному из скал — зданий на горизонте.

Те, что остались на площадке, заплодировали.

И эта картина тоже запомнилась Викентию. Юноша и девушка, летящие высоко над лесом, омытые солнечным лучом, и кучка загорелых, как бы изваянных людей, следящих за ними.

Какое-то новое чувство просилось Ступалю в сердце. Сознание полной духовной и физической свободы, раскованности, здоровья, силы. Жутко мелкими показались ему недавние самолюбивые мысли в поезде. Он понял, что, может быть, отдал бы все — и дачу, и городскую кооперативную квартиру, и «Волгу», чтоб остаться здесь навсегда.

Он вздохнул. Ему делалось все жарче, модное пальто пудовым грузом висело на руке.

Потом все это вытеснилось в его сознании другим. Он им не понравился. Не подошел, хотя неизвестно по какой причине. Ну и пусть. Но все равно он в будущем, и из этого нужно хоть что-нибудь извлечь. Отчего бы, например, им не дать ему какие-нибудь научные данные — хотя бы, скажем, состав, из которого сделаны крылья?.. Почему бы им не поделиться с ним своими знаниями — уж он-то сообразил бы, как использовать их потом.

Никто на площадке не смотрел на него. Ступаль сделал несколько осторожных шагов к навесу, несмело взялся за одну из пластин на потолке. Потянул. Пластина не подавалась. Он потянул сильнее и выдвинул пластину за край навеса. Вдруг что-то щелкнуло над его головой, светлая плоскость вырвалась и стремительно унеслась вверх, сразу исчезнув в голубизне неба.

А позади раздалось:

— Ой, что вы делаете! Осторожнее!

Белокурая девушка — та, чье лицо казалось ему знакомым, и которая вызвалась принести загадочный озим, уже вернулась. Разгоряченная, глубоко дыша, она огорченно сказала:

— Теперь уже не достанешь.

— Простите, — извинился Ступаль. — Я не думал, что так получится. А на каком принципе это работает? Антигравитация? — Только теперь ему бросилось в глаза, что повсюду на площадке были разбросаны такие же легкие навесы, и у каждого под потолком нагромождение каких-то предметов и инструментов.

— На каком принципе? — Девушка беспомощно пожала плечами.— Боюсь, что вы не поймете. Тут объединяются этика и точное знание. Надо быть хорошим специалистом в какой-нибудь области техники, а кроме того, уметь совсем не думать о себе, трудиться для других. Такому человеку можно было бы объяснить. Но...

И в тот же момент его мягко взяли за плечо сзади.

— Идемте. Уже пора. Очень просим извинить нас. Но время...

Сложная конструкция была уже собрана над плоским ложем, с которого его сняли в самом начале. Молодые люди собрались, ожидая его.

Он растерянно повторил:

— Уже пора?... Но почему же так сразу? — Ему хотелось спорить, доказывать, что он хороший, что он тоже, вероятно, стал бы в чем-нибудь специалистом, если бы жизнь сложилась иначе.

Но что-то в глазах тех, кто смотрел на него, показывало, что просить бесполезно.

Ступаль подошел к столу и лег. Включился какой-то аппарат, что-то тонко запело рядом. Викентий ощущал под ладонью чуть проминающуюся поверхность ложа. Ему пришлось в голову, что стоит хотя бы ногтем выцарапать кусочек и унести с собой. Все-таки какой-то неизвестный в его времени материал.

Сами собой у него закрылись глаза, начали каменеть пальцы ног. Последнее, что он услышал, было:

— Смотрите! Он поцарапал стол. Так не сойдется момент. Он попадет в другую минуту.

И другой голос ответил:

— Неважно. Расхождение будет невелико.

Опять Ступаль понесся куда-то. Возникла ноющая нота и оборвалась. Завертелись перед глазами серебряные круги, но в другую сторону, против часовой стрелки. Потянулись секунды полной звуковой пустоты. Ступалю казалось, будто тело опять рассыпается в пыль. Его пронзило ужасом, и...

И раздался стук колес. Ступаль сидел опять в вагоне электрички, и тут же спорили студенты.

У него дрожали руки и ноги, в голове было полное смятение. Еще мелькали образы и лица того мира, который он посетил.

Небольшого роста брюнет говорил с ним рядом:

— ...Косвенно подтверждается теорией кривозамкнутого пространства. Тогда и получится, как в фантастических рассказах,— они к нам из будущего, а мы к ним.

— Это ты из Гейзенберга насчет кривозамкнутого? — спросила девушка в берете.

— Из Гейзенберга.

Что-то поражало Ступалья в этом разговоре. И вдруг он понял, что именно имели в виду люди будущего, когда они выпроваживали его, и кто-то сказал: «Не сойдется момент».

Действительно, момент не сошелся. Они бросили его не в ту самую минуту, из которой брали к себе. А раньше. Промажнулись! Ему снова, второй раз предстояло пережить то, что он уже раз переживал.

— Ребята,— сказала рыженькая студентка,— а кто смотрел французский фильм, фантастический? «Альфавиль».

И Ступаль заранее знал, что она спросит об этом. И знал, как ей ответят: «Мура».

— Мура,— сказал блондин с голубыми, чуть сонными глазами.— Я смотрел и ничего не понял.

Стук колес электрички стал между тем редеть. За окном мелькнула кабина «МАЗа» с шофером, закутившим в ожидании, когда поднимется шлагбаум. Ход состава замедлился, приближались к полустанку.

Бешеные мысли каскадом посыпались в сознании Ступалья. Он один, единственный на всей планете, во всем мире знал, что будет дальше на целых три-четыре минуты вперед. Один!.. Но как использовать это, чтоб оно не пропало зря?

Ступаль завертелся на скамье. Секунды сыпались неудержимо.

Он схватил за руку молодую женщину с сумкой «Аэрофлот» на коленях:

— Послушайте...

Та оторвалась от книги:

— Что?

— Сейчас на платформе будет девушка с белой собакой.

Женщина недоуменно смотрела на него.

— Ну?..

Электричка тем временем остановилась. На платформе стояли девушка с большой белой собакой и мать, держащая за руку ребенка. Собака прыгала, играя.

— Сейчас собака вырвется, и у мальчика улетит шарик.

Собака вырвала поводок, метнулась к ребенку. Тот, испугавшись, выпустил из руки красный воздушный шар и заплакал. Мать прижала его к себе, что-то сказала, бросив недоброжелательный взгляд на девушку.

И это было все. Конец.

Прошрое и будущее стали на свои места. Ошибочно повторенный для Викентия кусок прошлого исчерпался, и он уже не знал наперед, что произойдет дальше.

— Так что вы хотите? — спросила женщина с сумкой. Она и не посмотрела в окно.

— Нет, ничего, — сказал Ступаль. — Извините. — Он откинулся на спинку скамьи. — Просто у меня вдруг схватило сердце. — Сердце у него и в самом деле колотилось; чтоб утишить его стук, он несколько раз глубоко вздохнул.

Да. Вот это история.

Он чувствовал себя каким-то обманутым, выпотрошенным и опустошенным. На кой же черт они брали его к себе, чтоб вот так, ни с чем, вернуть обратно?

Он огляделся, уже не ощущая привычного превосходства над окружающими. Постепенно к нему приходило понимание того, по какой причине те молодые люди из будущего времени с такой поспешностью отвергли его. Честно-то говоря, всякое начинание на Земле, всякое предприятие могло отлично обойтись без него. Он, со своей уверенной осанкой, просто фикция, пустое место. Человек, который умеет устроиваться.

И в глубине души он всегда знал это. Только отталкивал подальше с поверхности сознания.

Он писал и печатал. Но без своих мыслей, без своего выстраданного. Писал, но не потому, что у него было призвание, а оттого, что понял выгоду.

Уже приближалась его станция. На душе становилось все нуднее и нуднее. Он поднялся, вышел на площадку вагона. Здесь, как бы перегоняя друг друга, звонко лязгали буфера. За стеклом дверей неслась ветреная темнота.

Ступаль посмотрел внутрь вагона. Ему пришло в голову, что даже старуха с батонами все-таки нужна кому-то

и для чего-то. А про железнодорожников и говорить нечего.

Девушка в берете оживленно рассказывала что-то, и внезапно Викентий понял, кого же ему напоминали лица тех — будущих. Да конечно же, студентов и тех, кто был рядом с ними. Парень в капитанской фуражке станет в тридцатом веке атлетическим юношей, перепоясанным синим ремнем, а девушка в берете — той, что полетит над лесом. Только для него, Ступаля, не найдется там места.

Ход состава замедлился.

— Золотошино, — раздался металлический голос из динамика.

Викентий соскочил с подножки и пошел к себе. Но дождь уже кончился. Вечер был теплый. По смоченной, пружинящей аллейке шагалось легко и свободно. Впереди была его собственная дача с участком, где каждый квадратный метр дерна, каждое дерево и любой куст принадлежали ему — хоть ломай, хоть жги, хоть так оставь.

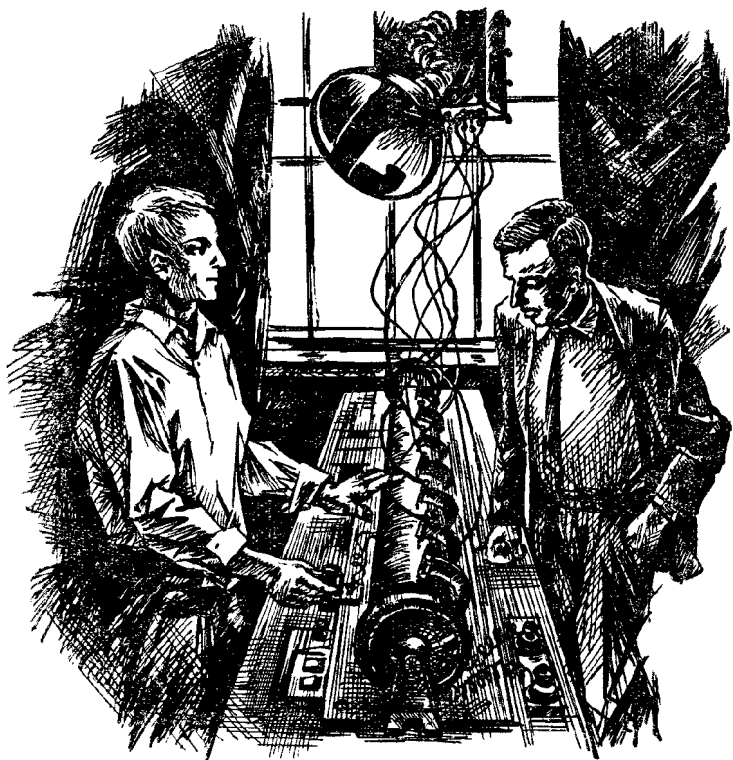
Удивительное путешествие в будущее постепенно приобретало оттенок нереальности. Было ли оно вообще?.. Впрочем, было. Иначе зачем бы ему хватать за руку ту молодую женщину и показывать собаку на платформе.

Ну и пусть!

Дома у него лежала начатая статья. Речь там шла о теории относительности, о времени и пространстве. Шагая через лесок, Ступаль подумал, что, несмотря ни на что, правильнее написать так, как он и прежде намеревался.

Что никакие путешествия во времени невозможны и никогда не станут возможными.

А поезд, унося студентов, парня в капитанке, железнодорожников и старуху с батонами, катил себе дальше.



ОСЛЕПЛЕНИЕ ФРИДЕЯ

Иногда мне просто хочется кусать себе пальцы, когда я думаю об этом — так глупо все получилось. То есть, конечно, я и так не маленький человек. Если я с женой появляюсь в концертном зале — у нас в городишке недавно сделали концертный зал, — по рядам проносится: «Бескер на концерте», и многие привстают в креслах, чтобы пой-

мать мой взгляд и поздороваться. Но это все не то. Если б Фридей не совершил своего дикого поступка, я бы уже не жил в этой дыре. Ворочал бы миллиардом, как Рокфеллер. Шутка судьбы, да?..

Собственно говоря, мои отношения с Фридеем можно разделить на два этапа. Университет и после университета. После университета он меня и подвел так трагически.

Я его знал давно. Мы, собственно, были земляки, потом учились на одном курсе в университете и как-то в течение двух семестров даже жили вдвоем в одной комнате. Многие считали его талантом, но, по-моему, это раздуто. Конечно, он был усидчивым и посвящал занятиям больше времени, чем мы все. Редко принимал участие в разных вечеринках и не был членом ни одного из наших студенческих объединений. Но мне даже не кажется, что это из-за того, что он был так уж предан науке. Просто у него, по-моему, как-то не хватало жизненной силы, чтобы танцевать ночи напролет или гоняться на автомобиле из одного города в другой. Кроме того, он и не пользовался популярностью на факультете. Не блистал остроумием, одевался плохо, а если и попадал случайно куда-нибудь в компанию, то сидел целый вечер где-нибудь в углу неподвижный. Другими словами, ему и нечем было заниматься, кроме как наукой.

Вообще, честно говоря, я не верю во все эти разговоры о таланте и гениальности. Когда речь идет о великих открытиях, на девяносто процентов все решает случай. Взять, например, пенициллин. Если бы у Александра Флеминга в чашку с культурой не попала случайно плесень, до сих пор не было бы никакого пенициллина, и о самом Флеминге мы думали бы не больше, чем о прошлогоднем снеге. А теперь он считается гением и благодетелем рода человеческого.

То есть бывают, конечно, люди, которые в восемнадцать — двадцать лет выступают уже с какими-нибудь своими всеобъемлющими теориями. Вроде Эйнштейна, скажем. Но Фридей-то как раз не был таким. Никаких особых теорий у него не было, или, во всяком случае, никто не слышал, чтобы они были. Просто он сидел целые дни в физической лаборатории, с помощью призмы разлагая свет, или валялся в общежитии на койке, расставив на полу стопки книг.

А на самом-то деле он был даже туповат. Уж наверняка тупее меня. Никак не мог запомнить, например, с какой стороны нужно чистить апельсин, чтобы шкурка легче снималась. Я ему раз десять объяснял, что с той, где плод прикрепляется к ветке. Но как только апельсин попадал ему в руки, он обязательно начинал чистить его неправильно. Глупо, верно?.. Так что о какой-то гениальности Фридея не может быть и речи.

Между тем в целом-то я ему симпатизировал. И даже жалел его после той истории, которая у него случилась с Натти. Дело в том, что Фридей вообще не пользовался успехом у девушек. Это и не удивительно, если учесть, что он не умел ни танцевать, ни водить машину, а каждое слово из него приходилось вытаскивать чуть ли не клещами, как искривленный гвоздь из доски. Но он был довольно высок ростом, держался прямо, и его усидчивость создала ему какой-то ореол учености. Так или иначе, всем на удивление, его полюбила Натти Паерлс, лучшая партия в нашем городе. Веселая и живая, она, кроме того, что была дочерью самого крупного в наших краях человека, отличалась еще одной особенностью — у нее были огромные и совершенно фиолетовые глаза. Многие ребята в университете не отказались бы видеть ее своей женой, и, конечно, то, что она предпочла всем Фридею, выглядело полным идиотизмом. Поэтому мне даже кажется правильным появление того письма. Когда Натти и Фридей стали встречаться каждый день и прошел слух, что у них уже все сговорено, кто-то послал старому Паерлсу письмо, где было сказано, что у Фридея плохая наследственность, поскольку отец сумасшедший. Хотя письмо было анонимное, старик Паерлс проверять ничего не стал, а просто увез дочь в Европу. В университет она больше не вернулась и года через два вышла замуж за какого-то банковского туза в Неваде.

На Фридея все это произвело, кажется, очень мало впечатления. Единственное, что можно было по нему заметить, так это то, что он как-то побледнел. Он родился и вырос на ферме, и первые три года в университете на щеках у него так и оставался стенной загар. Но после истории с Натти он побледнел и таким бледным уже и остался на все те годы, что я его знал.

О Натти потом ходили слухи, что она несчастлива в

браке и что однажды ее видели совершенно пьяной в каком-то отеле в Чикаго. Лично меня это как-то успокоило. В свое время я тоже прицеливался на Натти, но что же я теперь стал бы делать с женой-пьяницей?..

Первое свое открытие Фридей сделал... или, вернее, на первое свое открытие Фридей наткнулся, когда был еще студентом четвертого курса. Об этом в «Университетском вестнике» была статья с длинным названием. Что-то вроде «Образования пары вещества из лучей гамма радия при прохождении через сильное магнитное поле». А может быть, это звучало немного иначе, и имелись в виду лучи не гамма радия, а световые... Во всяком случае, речь шла об опытном доказательстве теории Дирака. Насколько мне помнится, на факультете это никого не заинтересовало, за исключением двух-трех преподавателей физики.

При зарождении его второго, так сказать, «открытия» я присутствовал сам. В это время — на пятом курсе университета — нас как раз поселили в одной комнате. Однажды вечером я зашел в физическую лабораторию, чтобы взять у Фридея ключ — свой я где-то потерял. Фридей сидел над рисунком, который он сделал сам. Это были прочерченные на пестром поле прерывистые, строго концентрические окружности. При долгом взгляде они казались спиралью, а при коротком — выглядели окружностями, как это и было. На самом деле. Фридей освещал рисунок искрой и следил, сколько времени нужно, чтобы глаз начинал видеть спираль вместо окружностей. Глаза у него уже устали, и он попросил меня несколько раз взглянуть на рисунок, в то время как сам освещал его искрами разной длины. Потом он сказал, что в голове у него есть прибор, который мог бы с большой точностью определять потребное глазу время, чтобы начать видеть неистинное изображение вместо истинного. Такой промежуток он называл «единицей инерции зрения» и считал, что она у каждого человека разная. Прибор этот под названием «Инерциатор Бескера-Фридея» теперь широко известен в медицине, применяется всеми врачами-офтальмологами, так что я не буду его описывать.

Тогда, в тот вечер, разговаривая о приборе, мы пошли к нам в комнату, и Фридей набросал мне чертеж. Принцип действия прибора я понял так быстро и легко, что мне сразу пришло в голову, что я и сам мог бы изобрести та-

кой же, если б вообще задумывался над тем явлением, которое Фридей называл «инерцией зрения».

Целую ночь мы обсуждали чертеж, и, по-моему, я тоже внес в него кое-какие усовершенствования. В предполагаемой конструкции была одна сложность, которую мы сначала никак не могли решить. Пять предложенных Фридеем вариантов я отверг, а шестой показался мне, как, впрочем, и ему, удовлетворительным. Оба мы очень устали, но тем не менее утром я сказал, что было бы неплохо еще сегодня зарегистрировать наше детище в Бюро патентов. Фридей согласился. Вообще надо сказать, что его обычно интересовала только чисто научная сторона той или иной проблемы.

После этого наступила, так сказать, золотая пора научной деятельности в университете Фридея и моей. Неожиданно для себя я обнаружил большие способности к физике. Метод творчества вдвоем выглядел у нас так: обычно мы ложились вечером на койки, и Фридей начинал излагать мне идеи, которые у него накопились за годы затворничества в лабораториях. Если я чего-нибудь не понимал, он принимался объяснять это мне, и таким образом те или иные положения уточнялись для него самого. Затем, благодаря своей способности обобщать, я отбирал наиболее существенное из мыслей Фридея и понуждал его думать именно в этом направлении. Те идеи, которые он высказывал при мне, я считал как бы нашими общими, в дальнейшем надзирал над ними и подбадривал Фридея ставить новые опыты. Так нами был написан «Этюд о происхождении «слепого пятна» в глазу» и созданы приборы для зрительного определения квантовой прерывной природы света и для определения величины порога зрительного раздражения.

Не скрою, что на факультете нашлись завистники, которые утверждали, будто я лишь примазываюсь к открытиям Фридея. Но в действительности это было не так. Во-первых, уже тот факт, что я так легко понимал мысли, высказываемые Фридеем, показывает, что я тоже мог бы к ним прийти. А во-вторых, многое из того, что осенило Фридея, являлось ему только в результате соприкосновения со мной. Он рассказывал мне и начинал вдохновляться сам. Я бы сказал, что он высекал искры именно ударом о меня.

Кроме того, напомним, что вообще-то Фридей был весь-

ма недалеким парнем. Как раз тогда я в этом и убедился. Поскольку мне хотелось, чтобы он лучше отдыхал, я сделал попытку ввести его в свою университетскую компанию и несколько раз знакомил его с хорошенькими девушками. Но с этими знакомствами он меня только конфузил. Однажды, например, он доказал свою тупость, когда мы пошли в кино и специально для него я пригласил одну очень умную девицу. Мы смотрели какой-то французский фильм. «Удары судьбы», или «Тяжелые удары», с Симоной Сеньоре в главной роли. Когда мы возвращались к себе, девица стала объяснять, что в этой картине она видит влияние экзистенциализма, фрейдизма и еще какого-то «изма», которого я не помню. Одним словом, настоящий разговор об искусстве, профессиональный и в то же время вполне светский. И что же, вы думаете, выкинул Фридей? Он вдруг остановился посреди тротуара, вперился в эту девицу злобным взглядом и сказал:

— Но неужели вы не понимаете, к чему призывает этот фильм?

И ушел, оставив нас на месте окаменелыми. Идиотизм, верно? Уж если не разбираешься в искусстве, молчи...

Вообще на последнем курсе университета характер у него стал заметно портиться.

Он и так был довольно угрюмым типом, а после истории с Натти эта угрюмость возросла. Кроме того, он постоянно испытывал денежные затруднения. На факультете он был совсем одинок, за исключением меня, не дружил ни с кем, да и мне бывало порой нелегко выдерживать его вспышки плохого настроения.

Но при всем этом наша научная деятельность шла вперед, и даже мой отец поверил, что передо мной открывается карьера крупного ученого. Если я видел, что Фридей начинает злиться, когда я слишком часто произношу «наша теория» или «наш способ», я давал ему возможность совершенно самостоятельно напечатать что-нибудь в научном журнале и, клянусь, не испытывал никакой ревности.

Но тут дурацкий случай все разрушил.

У нас в университете было студенческое мужское объединение «Альфа-Ламбда», и тот, кто хотел стать его членом, должен был пройти целую серию испытаний. Самым глупым было одно, заключавшееся в том, что абитуриенту следовало украсть что-нибудь, обязательно вскрыв при

этом чемодан. Один из первокурсников, стремившийся в «Ламбду», не нашел ничего лучшего, как забраться в мой чемодан, когда ни меня, ни Фридея не было в комнате. На мое несчастье, он наткнулся на копию того письма, которое когда-то было послано отцу Натти.

Само собой разумеется, копия еще ничего не доказывала. Во всяком случае, для непредубежденного свидетеля. Если бы у меня в чемодане нашли рукописную копию «Гамлета», было бы глупо утверждать, что я Шекспир, не правда ли? Но у каждого заметного человека есть недоброжелатели и завистники. Одним словом, дело раздули, и... Короче говоря, я ушел из университета.

Интересно, что именно Фридей отнесся к случившемуся с полным равнодушием.

Когда я пришел в нашу комнату, чтобы забрать свои вещи, он как раз был дома. Он сидел у стола и, закусив губу, что-то очень быстро записывал на листе бумаги. Я начал было объяснять ему, что копия письма попала ко мне случайно, но он прервал меня, махнув рукой.

— А, плевать!

Теперь, оглядываясь на прошлое, я прихожу к выводу, что добровольный уход из университета был одним из самых перспективных и дальновидных поступков моей жизни. В сущности, я не ученый по натуре. Чтобы стать новым Максом Планком или Робертом Вудом, мне недостает смирения перед фактами. Обычно я всегда старался стать выше фактов, добытых опытным путем, и только добросовестная, но несколько скучноватая усидчивость Фридея как-то осаживала меня.

В то же время в другой области — в сфере руководства и координации я чувствую себя вполне на месте. Как только я начинаю координировать и указывать, я сразу делаюсь умнее, содержательнее и интересней. Возможно, это зависит от того, что в этой сфере приходится иметь дело не столько с фактами, сколько с мнениями.

Так или иначе, я покинул тогда университет, уже через год стал руководителем отдела рекламы в фирме отца.

Фридей тоже вернулся в наш город, но мы не встречались. Краем уха я слышал, что он устроил себе небольшую лабораторию, где занимается проблемами света. Несколько раз он печатал статьи в специальных журналах, и однажды мне сказали, что им получена какая-то очень

почетная премия от Общества врачей-глазников. Позже стали говорить, что он сделался совсем нелюдимым и живет один.

А потом, через пять лет после того, как мы с ним расстались, он вдруг пришел ко мне. Вот в этот раз он меня и подвел самым жутким образом.

Я очень хорошо помню его появление. В тот день — в середине августа — над городом стояла жуткая жара, и я, поскорее закончив дела в конторе, приехал домой уже к четырем, выкупался, переоделся и поднялся в зал к жене и детям, с которыми я, как правило, провожу послеобеденный час.

Я только собрался послушать, как мой младший читает стишок о козленке, заданный ему в школе, как вошел Форбс и сказал:

— К вам посетитель, сэр.

(Форбс — это мой лакей. То есть на самом деле его зовут как-то иначе, но для меня он Форбс. Это мое правило — лакей, который меня обслуживает, зовется Форбсом.)

Я сказал:

— Но вы знаете, Форбс, что я принимаю только в конторе. Есть специальные часы.

— Он говорит, что он ваш знакомый, сэр. Его зовут Фридей.

И тут меня кольнуло в сердце. Вы понимаете, Фридей! Интуитивно я почувствовал, что это неспроста. Все-таки Фридей знал меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что без дела приходить ко мне не имеет смысла.

Я извинился перед Эмилией, потрепал своего младшего по щеке и спустился на первый этаж.

Вестибюль у меня в доме большой, просторный и сделан в готическом стиле. Свет от высоких окон падал прямо на Фридея. При первом же взгляде меня удивило, как он похудел. Пиджак висел на его костях, будто на вешалке.

Когда я вошел, он повернул голову:

— Джим?

— Да,— сказал я.

Голос у него был хриплый, а лицо поражало какой-то странной неподвижностью. Он сделал несколько шагов ко мне и вдруг споткнулся о край ковра. На миг я даже подумал, что он пьян.

— Послушай,— сказал он, подходя,— мне нужно помочь. Мне нужно, чтобы ты мне помог.

— Да? — спросил я.

Дело в том, что я ненавижу неудачников. Неудачнику как ни помогай, все равно это не принесет ему пользы. Я с этим уже несколько раз сталкивался. Но Фридей, несмотря на свою бледность и поношенный костюм, не выглядел неудачником. Наоборот, в нем было даже что-то гордое. И кроме того, я помнил о наших работах в университете и о той премии, которую он получил от общества врачей-офтальмологов.

Поэтому я осторожно добавил:

— А в чем дело?

— Поедем сейчас ко мне,— сказал он.— Я тебе покажу одну штуку. Кажется, я этого добился — видеть в темноте. Едем скорее.

— Как? Сейчас?

— Да, сейчас,— сказал он нетерпеливо.

Не знаю, как кто-нибудь другой поступил бы на моем месте, но я люблю быстрые решения. Мы сели в машину и поехали.

Фридей жил в западном районе. Автомобиль мы оставили у дома и поднялись на четвертый этаж.

Фридей ввел меня в первую комнату, где окна были плотно задернуты толстыми черными шторами, и сказал:

— Ну вот, смотри.

— Как смотреть? Я же ничего не вижу.

Действительно, из-за этих штор кругом стоял почти непроницаемый мрак.

— Ах, да! — сказал Фридей.— Сейчас я сделаю.— В темноте он подошел к окну и отдернул штору.— Посмотри на этот агрегат. Я над ним работаю три года.

Передо мной был большой длинный лабораторный стол, на котором стояло что-то вроде реостата. От него несколько проводов шло вверх к потолку, где на крюках был укреплен небольшой металлический ящик с присоединенным к нему на гибком шланге отражателем. Отражатель был похож на троллейбусную фару, только побольше.

— Что это такое? — спросил я.

— Сейчас.— Фридей возился с проводами.— Сейчас я тебе продемонстрирую, а потом объясню. Стань вот сюда.

— Куда?

— Вот сюда.— Он показал мне под отражатель.— Не бойся. Это совсем безопасно.

— Я и не боюсь, — сказал я неуверенно.

Я стал на указанное место, а Фридей положил руку на рубильник, смонтированный рядом с реостатом.

— Спокойно.

Он включил рубильник, и я чуть не вскрикнул. Черт возьми, тут было чего испугаться! У меня вдруг стало пусто в глазах. Даже трудно описать это ощущение. Я перестал что-либо видеть, и глаза мне заволокло светом. Красным светом, ровным и несильным. Примерно так, как бывает, если нырнешь с открытыми глазами в мутной воде, ярко освещенной солнцем. Только тогда свет, конечно, зеленовато-желтый. А здесь он был красный. Как будто я смотрел на огромный — во все поле зрения — светящийся экран. Я закрыл лицо руками, затряс головой, а в глазах сиял тот же свет, который как бы проходил через мои ладони, через веки, через все. Как будто он был во мне самом, в моей голове, что ли.

— Что за черт! — вырвалось у меня.

— Спокойно,— донесся до меня голос Фридея.— Не бойся ничего. Сейчас я немного увеличу силу тока. (Я услышал, как он шагнул куда-то в сторону.) Это не опасно.

Красный свет делался все ярче, как будто у меня в глазах было раскаленное железо. Яркость возросла, уже стало больно глазам.

— Сделай шаг в сторону,— сказал Фридей.

Я шагнул в сторону, и свет исчез. Я снова был в комнате, и только по стенам плавали бурые пятна, как бывает, если посмотришь на солнце.

— Черт! Что это за штука?

Фридей чуть заметно усмехнулся. Даже не усмехнулся, а просто коротко выдохнул через нос. Потом он вынул из кармана сигарету, спички и закурил.

— Это лучи,— сказал он.— «Лучи-В», так я их назвал. Ты стоял под лучами.

— Что же это за лучи? — спросил я. Глаза у меня все еще болели.

— Ты и сам должен был бы догадаться, в чем тут дело,— сказал Фридей.— Мы же занимались этим в университете. Светом и строением глаза.

Потом он объяснил мне суть своего открытия.

Как известно, свет распространяется волнами. Длина их бывает разная — от тысячных долей миллимикрона (миллимикрон — одна миллионная доля миллиметра), как у гамма-лучей, например, до десятков километров, как у радиоволн, которые тоже принадлежат к световым явлениям. Из всего этого практически бесконечного диапазона наш глаз воспринимает только маленький участок — волны с длинами примерно от 400 до 700 миллимикрон. Это и есть то, что мы в быту называем светом, наш видимый спектр от фиолетового цвета через синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый до красного. Ультрафиолетовые лучи мы уже не видим точно так же, как и инфракрасные.

Но что было бы, если б глаз мог видеть световые лучи с волнами больше, чем 700 миллимикрон, то есть инфракрасные, например? Оказывается, тогда человек практически стал бы слепым.

Дело в том, что светится не только солнце, но и всякое нагретое тело. (Не светятся только, абсолютно холодные тела с температурой — 273°C , каких на Земле нет.) Причем слабо нагретые тела испускают именно инфракрасные лучи. И поскольку это так, то светится и наше собственное тело и внутренность глаза, например, которая имеет температуру около 37° и испускает также инфракрасные лучи. Теперь представим себе на минуту, что глаз получил способность видеть их. Энергия инфракрасных лучей на единицу площади сетчатки будет очень велика, и по сравнению с этим внутренним светом для нас потухло бы и солнце и все окружающее. Мы видели бы внутренность своего глаза, и ничего больше.

Открытие Фридея как раз и состояло в том, что он нашел способ заставить глаз видеть инфракрасный свет. Для этого он облучал глаз какими-то лучами с помощью своего отражателя.

— Понимаешь,— сказал Фридей,— красный свет — это не самоцель, конечно. Я искал способ видеть в темноте. Помнишь, я думал об этом еще в университете?.. Ну-ка стань еще раз под отражатель.

— Но...

— Стань, не бойся.

Понимаете, мне не хотелось повторять опыт, но я вдруг почувствовал, что сейчас надо слушаться Фридея. За всем

этим стояло дело. Даже очень большое. На такие вещи у меня нюх.

Я стал на прежнее место.

Фридей подошел к окну, опустил штору и тщательно подоткнул ее. В комнате стало совсем темно.

— Темно? — спросил он.

— Да, темно.

— Ты ничего не видишь?

— Решительно ничего.

Он вернулся к столу, что-то щелкнуло, и в глазах у меня вспыхнул прежний красный свет.

— Внимание,— сказал Фридей.— Теперь я уменьшаю силу тока.

Красный свет у меня в глазах стал меркнуть, в мутной красной пелене я увидел вдруг какую-то плоскость. Это был стол... Потом вынырнули стулья, фигура Фридея, внимательно глядящего на меня, стены, окна, завешанные шторами...

Я видел комнату. Но она была другая. Вся красная. Различных оттенков красного цвета.

— Видишь что-нибудь?

— Да. Вижу.

Это было удивительно, но я видел все. Очень ясно. Только все было красного цвета. Как на модернистской картине.

— Вот,— сказал Фридей. Он выключил аппарат, поднял штору, отчего комната приобрела прежний нормальный вид, и сел на стул.— Ты видел тепловое излучение. Не отраженный свет, какой мы обычно видим, а тепловое излучение.

Потом он стал рассказывать про будущее своего изобретения, как он себе его представлял. По его словам, человечество до сих пор вынуждено было двигаться неэкономичным путем в вопросах освещения. Мы освещаем то, что хотим увидеть. Но таких предметов очень много, и поэтому приходится тратить огромное количество энергии. Между тем было бы гораздо выгоднее «освещать» глаз, а не предмет, то есть воздействовать на глаз такими лучами, с помощью которых он мог бы воспринимать невидимое в обычных условиях тепловое свечение. Небольшой портативный аппарат, надеваемый на голову в виде шлема, маленькая батарейка в кармане, и вот уже отпадает нужда в

десятках миллионов всевозможных ламп, которые вечером и ночью освещают дороги, улицы, производственные помещения и жилые комнаты...

Все это звучало неплохо, и я сразу представил себе довольно-таки фантастическую картину ночного города, совершенно темного со стороны — с неосвещенными улицами и черными окнами,— но такого, в котором кипит жизнь и который становится светлым, лишь только наденешь на голову аппарат Фридея. Но вместе с тем я чувствовал, что тут кроется еще более крупная и всеобъемлющая проблема. Я еще не понимал, какая именно.

— Ну как? — спросил Фридей.

— Ничего,— согласился я.— И что же ты хочешь?

— Мне нужно помочь.— Фридей выглядел очень усталым.— Вот это и есть аппарат. Но он очень громоздок, как видишь. Нужна будет конструкторская работа. И во-вторых, придется проделать еще ряд опытов. В малых дозах облучение нисколько не вредит, это я сам выяснил.

Он стал шарить на столе, чтобы найти коробок спичек, который только что туда бросил. Он шарил, глядя вперед прямо перед собой, и его лицо опять поразило меня неподвижностью. По этой неподвижности — даже не по руке, которая нервно двигалась по столу,— я вдруг понял, почему он споткнулся о ковер у меня в вестибюле и почему на улице так нелепо тыкался в мое плечо.

Он был слеп, Фридей! Он был слеп, как дождевой червь, и ничего не видел.

В тот момент, когда я это осознал, меня одновременно осенила идея. Неожиданно для себя я понял, в чем же состоял главный смысл его изобретения.

— Послушай, ты ведь слепой,— сказал я.

Его бледное лицо слегка покраснело, он смущенно усмехнулся, нашарил наконец свой коробок, чиркнул спичку и закурил.

— Ну, не совсем,— сказал он. Руки у него дрожали.— Не совсем. У меня действительно довольно плохое зрение теперь. Днем... Но зато я вижу в темноте. Собственно говоря, цель достигнута. И мне даже не нужно аппарата. Но теперь я стал, как филин. Забавно, да?

Я поднялся со стула и шагнул к двери. Фридей тревожно повернул голову. И я очень ясно видел, что его взгляд направлен не на меня, а чуть в сторону.

— Ну так как? — спросил он. — Ты сможешь мне помочь, Джим? Мне нужен толковый помощник. — Он откашлялся. — Деньги у меня есть, но необходим человек, который хоть чуть-чуть разбирается в оптике. Здесь никого не найти в городе. А ты все же кое-что помнишь из университетского курса. Кроме того, мне нужно отдохнуть. Очень переутомился за последние годы. Что-то с нервами. И вообще надо подлечиться.

Я прошелся по комнате взад и вперед. Не скрою, все это меня взволновало, и на миг у меня даже вспотела спина.

Потом я справился с собой и спросил:

— А как ты ослеп?

— Дал большой поток лучей. Стал под отражатель и по ошибке передвинул стрелку слишком далеко. Был очень утомлен тогда.

— Прекрасно, — сказал я. (То, что он говорил, свидетельствовало о правильности моей идеи.) — Отлично. А на какое расстояние действуют лучи? Ты не пробовал облучать кого-нибудь с дальней дистанции? Прохожих на улице, например.

Он смущенно улыбнулся.

— Пробовал. Когда еще сам видел... Конечно, очень слабым лучом. Но лучше этого не делать, потому что люди пугаются, естественно... Вообще расстояние зависит от мощности установки.

— Я хотел попробовать, — сказал я. — Давай испытаем, на какое расстояние лучи действуют, и после этого я тебе скажу, сумею я помочь или нет.

Фридей согласился — правда, очень неохотно, — мы сняли отражатель с потолка и, пользуясь тем, что шланг был достаточно длинен, установили его на ближайшем к окну конце стола. Во время этой операции я понял, что Фридей кое-что все-таки видит и при свете. Во всяком случае, он ощущал, в какой стороне окно, и даже замечал мелькание моей руки в воздухе.

Я взял отражатель и попытался направить его на кого-нибудь внизу на улице. Интереснейшая это была штука — стоять вот так у окна с аппаратом. Конечно, мне было бы легче, если б лучи были видимыми. Тогда бы я работал как прожектором.

Несколько минут я впустую водил отражателем вправо

и влево, прицеливаясь в пожилого господина, который брел с палочкой в руке, распахнув белый летний пиджак. Но его мне так и не удалось зацепить, и он благополучно удалился за пределы видимости. Потом я сосредоточил внимание на молодом клерке нервного вида, который шагал, широко размахивая руками.

И тут оно совершилось.

Молодой человек шагал, а я, находясь от него метров за сто, нашаривал его отражателем.

Он шагнул и вдруг остановился, как бы натолкнувшись на стеклянную стенку. Остановился с размаху. Как если бы его дернули сзади невидимым канатом.

Секунды две или три он стоял неподвижно, потом поднял руки и прижал ладони к глазам. Затем опустил руки и помотал головой. Потом опять схватился за глаза руками. (По его испугу я понял, что луч рассеивается мало.)

Молодой человек протянул руки вперед и вбок и осторожно, как слепой, стал двигаться к стене дома.

Позже я заметил, что это было первым побуждением почти для всех облучаемых. Как только они временно делались слепыми, так сразу старались уйти с открытого пространства и прижаться спиной к чему-нибудь твердому и неподвижному. Как будто они боялись нападения сзади.

Молодой человек сделал еще шаг и вдруг вышел из зоны действия луча. И сразу его поза переменилась. Он неуверенно повертел головой и огляделся.

Наверное, он сказал себе:

«Что за черт? Что это со мной?»

Он помотал головой, потерял глаза. И в этот миг я его снова поймал на луч.

На этот раз он здорово испугался. Раскинул руки и закричал. Наверное, крик прозвучал очень громко. Из окна было видно, как широко он разинул рот.

Какая-то женщина шарахнулась от него в сторону, затем остановилась, пригляделась к нему и подошла. И тоже попала в луч. Вероятно, она взвизгнула, так как у нее также открылся рот. В руке у нее была сумка с продуктами, она ее уронила.

Я даже рассмеялся. Смешно было смотреть, как они застыли, схватившись за глаза руками.

К обоим приближался полисмен. Я хотел было направить луч на него, но в этот момент рядом раздалось:

— Ты чему смеешься? — Фридей подошел к окну. — Ну что — убедился?

— Убедился, — сказал я. — Все в порядке. Я убедился.

Он выключил реостат и поставил отражатель на стол.

— Садись, — сказал я. — Садись на стул.

Я усадил Фридея, сам сел напротив него и отдельно сказал:

— Ну хорошо. А как мы будем реализовывать это наше изобретение?

— Наше? — повторил он. — Я вижу, ты не изменился.

— Да, наше, — сказал я. (В таких обстоятельствах всегда лучше идти напрямик. Это мое правило.)

Некоторое время он молчал, потом спросил:

— А что ты предлагаешь?

После этого мы договорились, что аппарат, когда его удастся создать, будет зарегистрирован под именами Бескер-Фридей и так же поступит впоследствии в продажу. Капитал вкладывал я, а Фридей возвращал мне половину этой суммы по мере того, как мы начинали получать от изобретения доходы, которые делились на две равные части. (На самом-то деле у меня в голове была несколько другая идея, и я надеялся, что до аппарата для видения в темноте вообще не дойдет.)

Затем я вызвал несколько рабочих, перевез всю лабораторию и самого Фридея к себе в дом. Ему я отвел две комнаты на втором этаже и объяснил Эмили и детям, что нужно создать для человека домашний уют.

Сам побежал в кабинет и стал связываться со своим шурином, который знает одного человека, который, в свою очередь, близок к правлению фирмы «Армо», — знаете, танки, самолеты и вообще выполнение заказов военного министерства.

Шурин прилетел на следующее утро. Я смонтировал установку в зале второго этажа, поместил шурина под лучи. Он быстро все понял, прочувствовал и, в свою очередь, уселся за телефон. В середине дня возле моего дома остановился «кадиллак», и оттуда вышел человек, относительно которого еще издали можно было сказать, что он стоит миллион. Вы бы посмотрели, как он шел по саду. Все вокруг освещалось и приобретало какую-то совершенно другую цену от соприкосновения с ним.

Опять установка, опять лучи. Тип, который стоил мил-

лион, выглядел очень задумчивым после опыта. Но он быстро стряхнул с себя задумчивость, попросил меня выйти из кабинета и тоже принялся куда-то звонить. Ночью меня разбудили, подъехало два «доджа», и оттуда высыпало человек тридцать в штатском. Они оцепили дом, а потом и сад, так что и кошка не могла бы пробежать незамеченной. Тип объяснил, что это обычная предосторожность, когда речь идет о большом деле. Конкуренция, промышленный шпионаж и прочее. Я его, кстати, отлично понимая и без этих объяснений.

Он сказал, что члены правления фирмы придут утром, и я пошел к Фридею.

Вы понимаете, идея, которая меня осенила при первом знакомстве с лучами, была куда перспективнее, чем это самое видение в темноте. Фридей по своей наивности и сам не понимал значения того, на что он наткнулся. Главное в этих лучах было вовсе не в том, что возникала возможность в будущем отказаться от всех видов освещения. Представьте себе, что самолет, снабженный таким аппаратом, но более мощным, естественно, пролетает над территорией вражеской страны. В нужный момент аппарат включается... Впрочем, даже не самолет. Спутник, движущийся на огромной высоте. В точно рассчитанный момент лучи начинают воздействовать на лежащую под ними территорию, у каждого в глазах вспыхивает раскаленный красный свет, и...

Я изложил все это Фридею и сказал, что мы передаем наше изобретение фирме «Армо».

Он сидел на своей постели и, пока я говорил, один раз пытался перебить меня, но потом замолчал и стал слушать. Когда я кончил, он покачал головой:

— Нет!

— Как — нет?

— Так — нет! Что ты придумал, болван! Ты, может быть, воображаешь, что я для этого работал всю жизнь? Пожалуй, я вернусь к себе.

Наивный человек. Я пожал плечами, встал, подошел к окну и позвал одного из парней внизу. Тот откликнулся. Тогда я объяснил Фридею, что выбора нет. Фирма фактически уже завладела изобретением и не отдаст его никому. Теперь наша задача состоит лишь в том, чтобы дороже продать то, что мы придумали.

С этим я его оставил и побежал к членам правления, которые были готовы выслушать меня.

...Да, надо сказать, что сам я тогда еще и не знал толком принцип действия аппарата, который индуктировал луч. Главный узел был в небольшом металлическом ящике, заваренном стальным швом. Фридей как-то вскользь обмолвился, что важной частью узла является некий искусственный минерал. До поры до времени я не настаивал на объяснениях, так как понимал, что Фридей никуда от меня не уйдет...

Следующие три дня прошли в каком-то угаре. Демонстрация аппарата, переговоры. Фридей в этом не участвовал, я видел его за эти дни только два раза мельком. Мне тогда показалось, что он как-то одумался. Он сделал вид, будто собирается работать над усилением мощности аппарата, и даже спрашивал меня, где в доме ввод электрического кабеля.

Кульминационным пунктом всей истории был момент, когда я в присутствии всех этих господ установил аппарат на крыше дома и ясным солнечным днем направил отражатель на перекресток двух улиц.

Вот это был эффект!

Мы даже не знали, на кого и на что смотреть. Пешеходы остановились как по команде и все сразу схватились за глаза. Большой открытый «шевроле», который ехал миль на сорок, резко затормозил, рванул в сторону и врезался в угол дома. Потом были какие-то две или три секунды тишины, пока люди старались осознать, что же с ними случилось. И после этого начался крик. Сначала тихо, а потом все громче и громче.

Те, кого красный свет в глазах захватил на середине улицы, старались скорее добраться до тротуара. А другие, тоже испуганные, хотели узнать, что же случилось на мостовой, спешили на перекресток и сами попадали в зону действия отражателя. И тотчас теряли голову, не в силах догадаться, что им довольно лишь вернуться на тротуар, чтобы прозреть.

И все время рос и рос общий соединенный крик над перекрестком. Пожалуй, примерно так же было в Хиросиме, когда над ней взорвалась атомная бомба.

Этот последний опыт все решил.

Оформление документов заняло несколько часов, и ко-

гда я вернулся к себе на первый этаж, наступила ночь. На улице началась гроза, ударил сильный ливень, и за окнами стояла непроницаемая темнота.

Я только собрался сообщить Эмили и детям, что все кончилось хорошо, как вдруг в комнате погас свет.

Такие вещи у нас бывают, правда, очень редко. Я решил, что это какая-то неисправность с пробками, и стал ждать, пока их заменят. Прошло три минуты, потом пять... Свет не зажигался. Я подошел к окну, отворил его, высунулся под дождь и убедился, свет погас не только в левом крыле и на первом этаже, но по всему дому.

Из соседней комнаты Эмилия спросила, нет ли у меня случайно спичек. Я напомнил ей, что не курю. Потом попытался звонком вызвать Форбса, но звонок был нем.

Весь дом был полон народу. В коридоре кто-то прошел. А свет все не зажигался, и, поскольку на улице хлестал дождь, во всем доме был полный мрак.

И вдруг мне почему-то пришло в голову, что ведь Фридей-то видит в темноте.

Не то чтобы я что-то заподозрил в этот первый момент. Просто я подумал, что он единственный зрячий во всем доме в то время, как все остальные слепы. Я спросил у жены, не знает ли она, где сейчас Фридей, и услышал, что десять минут назад она видела, как он спускался в подвал, где у нас стоит распределительный щит электроэнергии.

Вот тут уже мне стало нехорошо.

Я ощупью нашел дверь в комнате и вышел в коридор. Кромешная тьма. Кто-то, сопя, двигался мимо. Чиркнула спичка, и огонек на миг осветил физиономию того типа из «Армо», который приехал первым. Он был очень раздражен и спросил меня, когда будет прекращено безобразие со светом.

Я извинился, обошел его и, держась рукой за стену, направился к лестнице. Аппарат был на втором этаже в зале, и, хотя там постоянно дежурили парни из агентства, я уже начал испытывать острое беспокойство.

Я добрался до лестницы, когда услышал первую автоматную очередь наверху. Этот звук мне прострочил прямо по сердцу. Не разбирая ступенек, я кинулся вверх, упал, вскочил, выставил вперед руки и бросился в темноте к залу.

За окнами ударила молния. На миг все мертво и синевато осветилось, и в этом мгновенном свете я увидел, что по коридору идет человек, а у входа в зал лежит неподвижное тело.

Я ринулся навстречу идущему, зацепился за что-то, что позже оказалось вторым парнем, упал. Идущий приблизился, я слышал его шаги, метнулся к нему на четвереньках и сумел схватить за ногу.

Я схватил его, он вырвался, и в тот же миг я получил страшный удар ногой в зубы. (Вы видите, у меня вставные челюсти. И верхняя, и нижняя.) Рот у меня сразу залился кровью, я растянулся животом на полу, закричал, потом все же вскочил и бросился за Фридеем, потому что это был именно Фридей.

Я не успел сделать и трех шагов, как слева раздалась автоматная очередь, красные точки прочертили темноту.

...Одним словом, мне попало так, что, уже выписавшись из госпиталя, я еще полгода не мог ходить без костылей.

Но тогда, даже раненый, я пытался бороться. Я понимал, что теряю. Я дополз до лестницы, зовя на помощь. Но тут ударила новая очередь из автомата, а после уж началось что-то невообразимое.

В доме было человек десять вооруженных, и столько же в саду. Все эти ребята знали, что они здесь охраняют какое-то изобретение огромной важности, и, когда ночью погас свет и прозвучали первые выстрелы, все сразу начали пальбу. Те, что дежурили в саду и за садом, решили, будто кто-то пытается прорваться из дома, и взяли под обстрел окна и двери. А внутри подумали, что их атакуют, и заняли оборону.

Одним словом, бой бушевал всю ночь. Я лежал на втором этаже, истекал кровью и не мог шевельнуться без того, чтобы не вызвать в свою сторону несколько выстрелов.

Утром, когда все немного опомнились, оказалось, что у нас два десятка раненых, и из них трое — тяжело. Я очень надеялся, что Фридей будет найден где-нибудь в саду хоть раненым, хоть убитым.

Но Фридея не было, как не было и металлического ящика с главным узлом аппарата. Вы понимаете, что сделал этот сумасшедший. Вечером он спустился в подвал, в щитовую, и пожарным топором перерубил там ввод электрического кабеля в дом. А после этого поднялся в зал, поль-

зуюсь кромешной темнотой, оглушил там обоих охранников и унес главный узел аппарата.

Под моим руководством у «Армо» потом в течение года работала лаборатория. Но я слишком мало успел узнать от Фридея, чтобы восстановить аппарат. Поскольку он упоминал о каком-то искусственном минерале, мы перепробовали их все — вплоть до искусственного булыжника. Но безрезультатно. О самом Фридее стало известно, что он уехал в Нью-Йорк, а потом оттуда в Европу.

Ну вот и все, собственно. Что касается меня, я и сейчас не маленький человек. Когда я с женой появляюсь в концертном зале... Хотя я об этом уже говорил.



ПОЛИГОН

I

Сначала на остров высадились люди с маленького катера.

Вода у берега была мутной, ленивой, насыщенной песчинками и пахла гниющими водорослями. Возле рифов клочотали зеленые волны, а за ними расстилалась синяя

теплая равнина океана, откуда день и ночь дул устойчивый ветер. Над пляжем росли острые бамбуки, за ними высились пальмы. Крабы отважно выскакивали из-под камней, бросаясь на мелких рыбешек, которых волны выносили сотнями на песок.

Люди с катера, их было трое, неторопливо обошли из конца в конец доступную часть острова, сопровождаемые тревожными, недоверчивыми взглядами индейцев,— здесь в маленькой деревушке жило несколько индейских семей.

— Как будто то, что надо,— сказал один из приехавших.— Ближайший остров в пяти километрах. Пароходных и авиалиний поблизости нет, место вообще достаточно глухое. Пожалуй, начальству должно понравиться. А впрочем, черт их знает...

— Лучше нам не найти,— согласился другой. Он повернулся к третьему высадившемуся с катера, к переводчику.— Идите скажите индейцам, чтоб они выезжали. Объясните, что это примерно на неделю, а потом они смогут вернуться.

Переводчик, долговязый, в дымчатых очках, кивнул и побрел к деревушке, с трудом вытаскивая ноги из песка.

Первый приезжий вынул из полевой сумки аэроснимок острова, карандаш, линейку и принялся прикидывать:

— Здесь поставим жилой корпус, рядом столовую. Тут отроем окоп, здесь блиндаж. На этом вот холме они могут поместить свою установку. Расстояние как раз пятьсот метров от блиндажа.

— А что это за штука будет? — спросил второй.

Первый, не отрывая от карты глаз, пожал плечами:

— Мне-то какое дело? У меня приказ подыскать остров. А у вас — доставить материалы. На остальное-то нам наплевать, верно? — Он вздохнул и распечатал пакетик жевательной резинки.— Ну и жарница! Куда это переводчик запропастился?

Переводчик пришел через полчаса.

— Ничего им не втолкуешь. Не хотят уезжать. Говорят, они всегда тут жили.

— А вы сказали, что здесь будут военные испытания?

— Думаете, они способны это понять? В их языке и слов таких нету. И что такое «запретная зона», до них тоже не доходит.

— Ладно, поехали,— сказал второй.— Остров мы на-

шли, жителей предупредили. Когда сюда материалы придут, индейцы уберутся сами.

Они подошли к катеру, столкнули его с помощью моториста в воду и через десять минут скрылись за зонтом.

Некоторое время волны болтали этикетку от жевательной резинки возле самой кромки песка. Подошли индейцы, долго смотрели вслед катеру. Мальчонка потянулся за серебристой бумажкой. Старший из индейцев, с обветренным лицом, с могучим мускулистым торсом, прикрикнул на него.

Непонятные эти белые. Никто никогда не делает какого-либо дела целиком — от начала до конца. Сказали — уезжать. А зачем? Долговязый, с глазами, спрятанными за стеклами, объяснил, что и сам не знает. Каждый делает только кусочек чего-то большого. А во что эти кусочки потом складываются, они и думать не думают.

Через двое суток к острову подошла небольшая флотилия. Плоскодонная баржа доставила на берег бульдозер и экскаватор. Кран жилистой лапой подавал мешки с бетоном, трубы, балки, оконные рамы, а потом, напрягшись, осторожно поставил на песок большой, затянутый в брезент предмет, такой тяжелый, что тот сразу осел в землю сантиметров на десять. Своим ходом выкатились по мосткам две противотанковые пушки.

Солдаты с помощью машин быстро вырыли окопы. Бульдозер снес рощицу пальм. Они упали, перепутавшись листьями, непривычно густые, когда их вершины оказались на песке.

В течение десяти часов на месте рощицы вырос павильон с двойной крышей, а в песок упрятался блиндаж с бетонированными стенами.

Индейцы видели все это не до конца. В середине дня старший вышел на берег, долго всматривался в небо, принявшее у горизонта на юге странный красноватый оттенок. Затем он вернулся к хижинам, что-то сказал мужчинам. Жители деревни быстро погрузили все свое имущество в две большие лодки и уехали на другой остров.

Вечером вокруг ящиков, наваленных возле павильона, долго слонялся верзила с интендантской эмблемой на пет-

лицах. Сверялся со своими записями. Все должно быть подготовлено к приезду следующей партии, ей ни в чем не полагалось испытывать нужды. Потому что это были те люди, которым следовало приезжать на все готовое.

Техник-строитель включил и выключил свет в павильоне, проверил, бежит ли из крана вода. Экскаватор вырыл еще одну яму, бульдозером столкнули в нее весь строительный мусор. Потом солдаты подогнали обе машины к воде, кран перенес их на баржу, военные погрузились в бронекатера, и вся флотилия отчалила.

На всем острове остались только двое: капрал с автоматом и седой остролицый штатский со впалыми щеками. Капрал побродил вокруг одетой в брезент глыбы. Охранять ее было вроде не от кого. Он подошел к берегу, носком ботинка поддел камень. Из-под камня выскочил маленький краб.

Потом они поели вместе со штатским. Тот спросил, как капрала зовут. Капрал ответил. Штатский осведомился, откуда капрал. Тот ответил. Штатский спросил, знает ли капрал, что у него под охраной, и капрал сообщил, что не знает и не интересуется.

Солнце опускалось за горизонт. Штатский прошелся взад-вперед, потом пересек остров, сел на песок возле густых, как щетка, зарослей молодого бамбука. Небо окрасилось тысячью переходящих один в другой, непрерывно меняющихся оттенков ультрамарина и изумруда, у горизонта еще сияла светящаяся область, а над головой стало темно. К северо-западу над океаном бушевали грозы, молнии просверкивали среди отчетливо видных полос дождей. За дождями стояла неожиданно возникающая огромная туча, синяя, косо поднимающаяся на треть небосклона, может быть готовящая тайфун. На юг к зениту протянулась от воды цепочка облаков, подкрашенных кармином снизу и фиолетовых в верхней части.

Даже неловко было одному-единственному оказаться свидетелем этого чудовищного по масштабам, неповторимого, подавляющего спектакля света, цвета и тьмы.

Только здесь, в этом избранном месте из всей Вселенной!

Только раз за всю бесконечную вечность!

Мужчина в штатском вынул из кармана блокнот, задумался.

«Дорогая Мириам, я устал, начал спать очень плохо. Засыпаю на десять минут, затем просыпаюсь и помню, о чем думал, когда засыпал. Я веду сам с собой бесконечные монологи, сознание как бы раздвоилось, и обе стороны никак не могут примириться. Это мучительно. Победа одной стороны будет означать поражение другой. А ведь та, вторая,— это тоже я... Впрочем, поражение все равно неизбежно.

Но начну по порядку и сообщу, что в группу включен, наконец, Генерал. (Он у меня идет с большой буквы, потому что это не вообще генерал, а тот самый, которого я и имел в виду.) Долго-долго он маячил где-то за пределами нашей команды, но его отсутствие ощущалось всеми так отчетливо, что делалось как бы уже присутствием. Я ждал его, как недостающий элемент в таблице Менделеева, и вот теперь он возник. Генерал не постарел со времени нашей последней встречи, но как бы «обветеранился», огрубел и играет роль этакого старого вояки, у которого, однако, мужества и задора хватит на десяток молодых. Он меня не узнал, чему я, естественно, не удивился. Ведь публика такого рода запоминает только тех, от кого зависит продвижение вперед, а от меня оно в тот момент не зависело. Так или иначе, он здесь. Я должен был радоваться, но теперь не испытываю никакого подъема.

Почему?

Это такая длинная история! Человек живет, работает и делает важное дело. (Как делал я в 43—45-м годах.) У него семья, все нужны ему, и он нужен всем. Но время идет, и постепенно положение меняется. Перестает служить тому, чему, по твоим понятиям, должен служить. А затем обрушивается ряд ударов. Выясняется, что вы с женой уже чужие друг другу люди, и она уходит. Но еще страшнее другое — дети выбирают неверную дорогу. То есть когда-то она была верной, в те времена, когда ты и сам шел по ней сознательно. Но теперь дорога ведет в пропасть, к гибели, и дети проходят ее до конца. Тогда человек спохватывается. Он начинает искать виновных и находит их. Он хочет осуществить правосудие.

И все это, вместе взятое,— первый этап. А за ним начинается второй. Пущено в ход большое предприятие, тебе кажется, что оно нужно и разумно. Приведены в движение люди, материалы, документация, и эта лавина, которой

ты дал начало, катится сама собой. В какой-то миг начинаешь понимать, что все зря, все неправильно. Но ты уже не волен и не властен. Дело дойдет до конца, даже если ты понял его бессмысленность.

Вы скажете мне, дорогая Мириам, что они ничего не поймут. Я знаю. Более того, я уверен, что и мои мальчики желали бы с моей стороны не мести, которая, в сущности, ничего не изменяет в мире, оставляя в неприкосновенности условия для новых преступлений, а чего-то другого, деяния. Я знаю это, но я уже бессилен. Я строю дом, который обречен на снос, и самым страшным станет для меня тот час, когда будет положена последняя балка. Когда мне нечего будет больше делать, в жизни и внутри воцарится ужасная глухая пустота. Конечно, они ничего не поймут. А если даже и поняли бы, это ни к чему теперь не приведет и ни на чем не отразится. Но слишком поздно мне это пришлось в голову. Драма-то ведь и состоит в том, что многое начинаешь осознавать ясно лишь тогда, когда уже невозможно что-нибудь изменить».

Стальной шарик карандашика бежал по бумаге... Коридоры и кабинеты военного министерства, бесчисленные совещания на уровне «секретно», «сверхсекретно» и «секретно в высочайшей степени», частные переговоры, полуофициальные встречи с нужными людьми, официальные — с ненужными, и вообще все то, чем занимался последние годы человек в штатском, ложилось на бумагу нервными, быстрыми строчками.

«...наконец сделано, комиссия прибывает завтра. Все так засекречено, что нам даже не разрешается называть друг друга по имени. Ни одна душа в мире не знает проекта в целом, и если б мы все вдруг исчезли с лица земли, пожалуй, никто не сумел бы отыскать концов.

Сейчас я думаю, как чувствовали бы себя члены комиссии, если б знали, что их ожидает на острове».

Седой мужчина в штатском аккуратно сложил листки из блокнота и сунул их в карман. Отправлять их ему было некуда, никакой Мириам не существовало. Он записывал то, что думал, просто из потребности как-то сохранять для себя собственные душевные движения. Последнее время ему начало казаться, что у него не осталось в мире вообще больше никаких других ценностей.

Он закурил и посмотрел вверх. Небо было темным, но

не черным, темнота — не загораживающей, а проницаемой, мягкой, зовущей взгляд вдаль.

Мужчина поднялся, пошел в павильон, разделся в ответственной ему комнате, взял из чемодана ласты и акваланг. Ему хотелось посмотреть, какие течения у южного берега острова.

Он вернулся на пляж. Ветер стих, волны почти не было. Издалека доносился шелест морской зыби на рифах, резко, по-ночному пахли цветы. Мужчина вошел в воду. Она сначала обожгла его холодом, но тело быстро привыкло к изменившейся температуре. Он надел маску, повернул вентиль баллончика со сжатым воздухом.

Еще несколько шагов, и он погрузился с головой. Тьма сомкнулась вокруг. Но она была тоже живой, проницаемой, пронизанной там и здесь огоньками — созвездиями и галактиками светящихся живых существ. Мужчина включил фонарик. Разноцветными лучами что-то вдруг вспыхнуло совсем рядом, мужчина отшатнулся, но затем губы его под резиновой маской сложились в улыбку. То была всего лишь рыбка анчоус, серая и тусклая на суше, на прилавке, и такая сияющая, искрящаяся здесь, в своей стихии.

За первой гостьей, привлеченной светом фонаря, последовала вторая, затем третья. Они кружились возле человека подобно праздничным огням фейерверка, делаясь то синими, то зелеными, то красными.

Мужчина начал различать теперь и взвешенные в воде частицы твердых веществ. Откуда-то появились длинные красные черви, затем еще рыбы, и через несколько мгновений все вокруг него уже кишело жизнью. Он двинулся в сторону, ведя желтым лучом по неровному дну. Песок шевелился у него под ногами, моллюски сидели в своих вороночках, вдыхая кислород, а из маленькой пещеры вдруг глянули два круглых загадочных глаза.

И человек забыл на миг, зачем он прибыл на остров...

А наутро пришел катер с членами комиссии и артиллеристами.

II

— Да, интересно,— сказал генерал. Отодвинувшись от стенки окопа, он тыльной стороной кисти стряхнул с мундира сыроватый песок и усмехнулся.— Если так дальше

пойдет, эта штука всем нам, военным, подпишет приказ об отставке, а?

Полковник с выпяченной челюстью заглянул генералу в глаза и охотно рассмеялся.

— Причем еще до пенсионного возраста.

В окопе произошло движение. Люди отряхивались, поправляли мундиры. Толстый майор снял фуражку, платком вытер вспотевший затылок и лысину. Он повернулся к изобретателю.

— А как все же машина действует? В чем главный принцип?

Изобретатель взглянул на майора, собираясь ответить, но в тот момент в разговор вмешался капитан.

— Ну, в чем? По-моему, нам объяснили достаточно ясно.— Ему было стыдно за несообразительного майора.— Принцип в том, что борьба происходит не в сфере действий, а в сфере намерений, если я правильно все понял. Ведь если кто-нибудь из нас хочет уничтожить танк, он сначала обязательно думает об этом, верно? Вот, скажем, я артиллерист и сижу на месте нашего капрала у пушки. Прежде чем выстрелить, я должен навести орудие, а затем нажать рычаг спускового устройства. В этот момент у меня в мозгу возникает особая Е-волна, или «волна действия». Вот на нее-то и реагирует блок, смонтированный внутри танка. Включает соответствующее реле и дает танку команду передвинуться.

— Ну, пусть,— настаивал майор.— А почему тогда танк не двигается просто от мыслей? Вот я, например, в этот момент думаю, что хорошо бы попасть ему снарядом прямо в башню. Там, где он сейчас стоит. Я думаю, но танк не двигается. Однако нам ведь говорили, что мы все будем в поле действия машины, в поле действия этого устройства. Весь остров.

Изобретатель чуть заметно пожал плечами.

— Конечно, в этом случае танк непрерывно получал бы команды и непрерывно двигался бы. Но я же вам объяснял, что устройство реагирует именно на Е-волну, а не на нормальные альфа-ритмы. Но Е-волна возникает в мозгу только в момент перехода к действию. Выражаясь более научно, она реагирует на тот заряд, который возникает в коре лобных долей, начинаясь от условного стимула и продолжаясь до появления безусловного.

— Черт. Я все-таки тоже не понимаю,— вмешался полковник с выпяченной челюстью.— Но почему танк уходит именно с того места, куда попадает снаряд из орудия? Ведь я-то могу думать, что снаряд попадет в одно место, а практически он попадает в другое. Что же служит сигналом для машины внутри танка — действительный полет снаряда или мое желание?

— Для этого есть блок расчетного устройства,— ответил изобретатель.— Прежде чем ваш артиллерист начинает стрелять, он снимает с приборов данные: расстояние до цели, скорость движения цели, направление. Он снимает их, какой-то миг они держатся у него в голове, затем он передает их на считающее устройство своей пушки. Но моя машина в танке тоже получает все эти расчеты, тоже определяет траекторию снаряда и соответственно уходит с предполагаемого места его падения. То есть когда вы прицеливаетесь в танк и производите выстрел, вы тем самым даете команду машине увести танк как раз с того самого места, куда должен попасть снаряд... Одним словом, главное, что мешает попасть в танк,— это то, что вы хотите в него попасть.

— Гм,— начал генерал. Он чувствовал, что разговор слишком долго обходится без его участия.— Гм... И тем не менее я думаю, что это еще не совершенное оружие.

— Когда будет создано совершенное оружие,— холодно сказал изобретатель,— нужда в профессиональных военных исчезнет.

На миг все умолкли, потом полковник рассмеялся.

— К этому, кажется, и идет.— Он заглянул в глаза своему начальнику.— Как вы думаете, генерал?.. Все делают машины. Нам остается лишь получать жалованье.

Генерал улыбнулся и кивнул. Затем лицо его стало суровым.

— Ну, прекрасно. Продолжим. Майор, дайте ребятам команду на пост, пусть открывают огонь.

Он подпустил в голос порцию хорошо рассчитанной официальности, смешанной с горловой хрипотцой независимого вояки-командира и отца своих солдат. При этом он подумал, что никакая машина не смогла бы отмерить эти две дозы с такой точностью.

Испытания продолжались. Танк-мишень с усиленной броней и укороченной пушкой стоял на месте до самого

момента выстрела. Затем, чуть опережая вспышку дульного пламени из блиндажа, гусеницы приходили в движение, танк прыгал в сторону, снаряд рвался сзади, впереди или сбоку, осколки горохом стучали по броне, и машина опять застывала, как огромный серый камень. По распоряжению генерала танк стали обстреливать из двух орудий сразу. Земля на полигоне поднялась тучей, танк скрылся в ней, но потом, когда пыль и песок осели, он снова оказался невредимым, спокойно и равнодушно ожидающим следующих выстрелов.

К двум часам пополудни все уже устало от жары и неудобного стояния в окопе.

— Ну, отлично,— сказал генерал.— Это все была оборона. Теперь как насчет наступления? Отдайте танку приказ, чтоб он начал обстрел блиндажа.

— Пожалуйста,— ответил изобретатель.— Одну минуту.

Он один был невоенным здесь, выделялся среди других помятым штатским костюмом, с небрежно, не в тон подобранный рубашкой и фразами вроде «С удовольствием... Сию минуту». Он подошел к прибору, напоминающему небольшой радиоприемник, открыл верхнюю стенку, посмотрел что-то там, взялся за ручку настройки.

— Но приказа «начать обстрел» я не могу отдать машине. Зря она обстреливать не будет. Поскольку люди не боятся. Танк вступит в бой, когда получит сигнал страха. И будет в дальнейшем руководствоваться этими сигналами. Так включать?

Он посмотрел на генерала. Его голубые глаза светились.

— Давайте, давайте,— сказал генерал. Он глянул на часы.— Пусть танк немного постреляет, а потом пойдем обедать.

Изобретатель повернул ручку. В приборе что-то пискнуло и оборвалось.

— Готово.

Все смотрели на танк. На полигоне было тихо.

— Ну? — сказал полковник с челюстью.— Что-то заело, да?

Изобретатель живо повернулся к нему:

— Нет, все в порядке. Ничуть не заело. Но машине нужен сигнал. Она не стреляет сейчас, потому что это было

бы безрезультатно. Она не расходует боеприпасы бесцельно, как это часто случается с вашими специалистами. Солдаты в укрытии, и снаряд в них не попадет. Необходимо, чтоб они ощущали себя уязвимыми и боялись, что танк их уничтожит. Одним словом, опять-таки нужна Е-волна. Но на сей раз Е-волна страха. Как только кто-нибудь станет бояться машины, она сразу откроет огонь. Принцип тут в том, что жертва, если можно так выразиться, должна руководить палачом.

— Уф-ф,—вздыхнул майор.— Может быть, мы тогда все-таки сначала пойдем пообедаем? — Он был самый полный здесь и больше других мучился от голода.

— Ладно,—согласился генерал.— Пообедаем, а затем приступим к дальнейшему. Вообще-то вещь перспективная.

Идти до павильона с двойной крышей было далеко. Члены комиссии растянулись на добрых сто метров. Последними шли изобретатель и генерал с полковником.

— Послушайте,—сказал генерал, когда изобретатель остановился, чтоб завязать шнурок на ботинке.— А вы ее выключили, вашу машину?

Штатский поднял к нему бледное лицо с капельками пота на висках.

— Она не выключается. У нее нет такого устройства.

— Как — нет? — спросил полковник с выпяченной челюстью.

— Так. Я не предусмотрел.

— А когда же она кончит работать?

— Никогда. Это же самозаряжающийся автомат. Получает энергию от солнечных лучей. Если кончатся снаряды, будет давить противника гусеницами. Но и снарядов довольно много.

— Весело,—сказал генерал.— А как же мы ее будем увозить отсюда, если танк начнет отстреливаться? Как мы к нему подойдем?

— Мы его и не увезем,—ответил изобретатель. У него никак не ладилось со шнурком.— Он нас всех уничтожит.

Двое помолчали, глядя на штатского.

— Ну, пойдемте, полковник,—сказал генерал.

Они отошли на несколько шагов, и генерал пожал плечами:

— Черт их разберет, этих штатских. Остроумие учено-

го идиота? «Он нас всех уничтожит»... К сожалению, без них теперь не обойдешься.

— В том-то и беда,— поддакнул полковник.

III

Выпили соки, разнесенные вестовым генерала, и поговорили о погоде и о гольфе. Генерал высказался в пользу тенниса. Несмотря на свои пятьдесят два года, он обладал отличным пищеварением, превосходным здоровьем и почти каждый миг жизни — даже в ходе самых серьезных заседаний в министерстве — ощущал свое тело, крепкое, налитое, все еще жадное на движения и на пищу.

Съели картофельный суп и поговорили об альпинизме. Генерал пожалел, что в наше время молодые офицеры уделяют мало внимания благородному конному спорту. Разговаривая, он тоже постоянно ощущал свое тело, вспомнил о том, как месяца три назад у него начала побаливать поясница и как по совету своего врача он, добавив несколько упражнений в утреннюю зарядку, излечился от этой боли.

Съели второе и припомнили, где и как кого кормили в различных дальних поездках, командировках и компаниях. Генерал рассказал, как одно время было трудно со снабжением в Конго и как все время было легко со снабжением во Вьетнаме. Он единственный из присутствующих был участником военных операций в обеих странах, и, несмотря на то что военные действия трактовались им прежде всего с гастрономической точки зрения, его выслушали в строгом молчании.

Изобретатель в течение всего обеда молчал, скатывая пальцами на столе хлебные шарики. Когда кофе был выпит и члены комиссии закурили, он взял ложечку и постучал ею по чашке.

Все повернулись к нему.

— Попрошу минуту внимания.— Он подался вперед.— Я хотел бы сообщить вам, что параллельно с испытанием самозащищающегося танка я решил на этот раз провести еще один небольшой опыт. Так сказать, изучение реакций у людей, безусловно обреченных на смерть... Несколько слов о причинах, побудивших меня предпринять это скромное исследование. Дело в том, что все вы здесь являетесь

военными и, если можно так выразиться, профессионально связаны с убийством. Вот вы, например, генерал, планировали операцию «Убийца» и операцию «Петля» в одной «банановой» республике. И еще несколько им подобных. Кстати, именно в этой стране у меня погиб второй сын.

— Я выражаю вам свое сочувствие,— сказал генерал.

Штатский отмахнулся.

— Благодарю вас... Итак, вы планируете войны, но они предстают перед вами в несколько опосредствованном виде, не правда ли? На карте — в качестве планов, приказов, смет. Такое-то количество пропавших без вести, такое-то — раненых, такое-то — убитых. Одним словом, слишком абстрактно. Так вот, я поставил своей задачей дать вам почувствовать, что это такое — лежать в окопе с пулей в животе или ощущать горящий на спине напалм. Это будет завершением вашего образования. Позволит вам хоть один раз довести начатое дело до логического конца.

Он встал, отбросив стул.

— Итак, имейте в виду, что машина не выключена. Теперь старайтесь не испугаться. Помните, что танк реагирует на Е-волну страха.

И поспешно вышел из столовой.

Зазвонил телефон. Капитан — самый младший здесь по званию, блондин с вьющимися волосами — автоматически потянулся к аппарату.

— Капитан у телефона.

Всем был слышен голос сержанта-артиллериста в трубке.

— Извините, мы уже можем выйти, сэр? То есть мы уже выходим, но выключена ли эта штука?

— Можете,— сказал капитан.— Пообедайте, и чтоб через полчаса быть на месте.

Он положил трубку на рычаг, тупо уставился на нее, затем губы у него шевельнулись, испуг мелькнул в глазах, и он схватил трубку опять.

— Эй, сержант! Кто там есть! Эй! — Он кричал так громко, что вены у него на шее набухли.— Эй, сержант!

Он опустил трубку и растерянно посмотрел на присутствующих.

— Пожалуй, этим нельзя выходить, раз такое дело. А? — Он вскочил и выбежал из павильона.

Остальные тоже встали.

Солнце заливало остров отчаянной жаркой белизной. Все как бы плыло в голубоватом мареве, в отблесках океанской равнины. По песку от блиндажа шагали две фигурки.

— Эй, сержант! — закричал капитан. — Эй, опасность! — Он замахал руками в тщетной надежде, что артиллеристы поймут эти знаки как приказ вернуться в блиндаж.

— Минутку, — сказал полковник. У него отвисла челюсть. — А мы?

Генерал с салфеткой в руке посмотрел на него. Он побледнел, и эта бледность как бы передалась всем. Полковник вдруг сорвался с места и, согнувшись, с быстротой почти непостижимой бросился к зарослям бамбука.

А в следующий момент раздался резкий свист. Сверкнуло пламя, звук выстрела и грохот разрыва слились в одно. Горьковато, напоминая войну, беду, несчастье, пахло пороховым дымом.

IV

Полковник, раненный осколками, сидел в окопе, сжавшись, и прислушивался к рычанию танка неподалеку.

Полковника трясло. Он всхлипывал, и слезы катились по его худощавому лицу с мужественной челюстью. Он плакал не от боли. Обе раны были несерьезны и перестали мучить сразу после первого шока. От обиды и переполнявшей ненависти. Ему было сорок лет, он ни разу в жизни не совершил ничего предосудительного. Всегда слушал указания начальства, никогда не пытался внести в мир что-нибудь новое, свое. Он был безупречен со своей точки зрения, и вдруг оказалось, что руководители предали его. Танк, предназначенный для других, гнался теперь за ним.

Его трясло от злобы и обиды. Первым из членов комиссии, стоявших у входа в павильон, он сообразил, что случилось, и, как зверь, не рассуждая, бросился в заросли. Полковник слышал взрыв позади, слышал, как два снаряда ударили по артиллеристам, которые тоже, видимо, испугались. Он видел из кустарников, как одиночный снаряд вдребезги разбил и утопил катер у берега вместе с сидев-

шим там мотористом, который при первой же тревоге стал поспешно заводить двигатель.

А потом машина начала охоту за ним.

Полковник непрерывно двигался, прыгая из ямы в яму, и несколько раз ему удалось ускользнуть от прямых попаданий. Потом он сообразил, что надо попытаться попасть в мертвую зону — туда, где наклон орудия не позволит машине достать его выстрелом. Ему удалось приблизиться к танку, и он спрыгнул в окоп. Танк был теперь метрах в тридцати от него и не стрелял более — серая глыба на фоне неба.

Полковник знал — машина не стреляет лишь потому, что он понимает, что в него нельзя попасть. В том-то и заключалась дьявольская сила изобретения — жертва должна была командовать палачом.

Полковник закусил губу и выглянул из-за бруствера. Танк стоял неподалеку, спокойный, равнодушный. Люк для танкистов был заварен. И фары, помещающиеся обычно под башней по обеим сторонам люка, тоже были сняты. Это неживое существо не нуждалось в том, чтоб видеть дорогу перед собой — его вели мысли и страхи тех, за кем он охотился.

Низколобый, приплюснутый, серый, танк ждал...

Полковник всхлипнул еще несколько раз. Здесь он находился в сравнительной безопасности, и ему злорадно подумалось, что лишь его одного осенило бежать не от машины, а к ней... Потом он вяло сказал себе, что генерал и все другие просто не успели сообразить, куда бежать. Их снесло первым выстрелом.

Он оглянулся в сторону разрушенного павильона, затем снова посмотрел на танк, и вдруг в голову ему пришла мысль о гусеницах. Ведь изобретатель говорил, что танк может использовать и это.

И тотчас танк зарычал, гусеницы послушно пришли в движение, и машина рванулась вперед.

Полковник упал на дно окопа. Танк приблизился, рыча, гусеницы показались над бруствером, смяли его и легли на противоположный край окопа. Брюхо машины было теперь как раз над головой полковника. Он сжался, стараясь сделаться как можно меньше, и затем с облегчением подумал: «Не достанет».

И тотчас мотор умолк.

«А если он начнет вертеться?» — спросил себя полковник.

Мотор взревел, гусеницы двинулись, и танк стал вертеться над окопом, стараясь разрушить его. Но стенки окопа были достаточно прочны, укреплены балками, и полковник с облегчением сказал себе, что из этого ничего не выйдет. Он не успел додумать эту мысль до конца, как мотор выключился и танк остановился.

Ужасно! Полковник скрипнул зубами.

Было тихо, как будто остров уже совсем вымер. Полковник пощупал плечо. Кровотечение остановилось, рана не болела. Жара усиливалась. Не хватало воздуха, пот катился по лбу полковника, спина взмокла. Лежа, он видел, как постепенно меняет цвет и вроде как бы сгущается небо. Оно становилось синее и одновременно чуть краснело.

Полковник стал размышлять, иногда прерывая свои мысли судорожными всхлипываниями. Ну хорошо. Вот он лежит теперь. Но как долго можно выдержать это? На военной базе, откуда они прибыли, вероятно, хватятся через какое-то время. Но не скоро. Вся операция так засекречена, что никто толком и не знает, где они и когда должны быть обратно. Комиссия вообще не подчинена командующему этой ближайшей базы. Он будет сначала связываться с министерством в столице, начнутся переговоры, поиски нужных людей, полетят радиogramмы, и, может быть, недели через две сюда придут катера... Через две недели! А ему и двух суток не выдержать без пищи и воды.

И даже если он выдержит. Что тогда?.. Вот пришла помощь, люди высадились, ходят по острову. Пока еще они не понимают, в чем дело, пока не боятся танка, им ничто не грозит... Вот к нему подошел человек. Он, полковник, сообщает, что танк держит его здесь в окопе. Человек моментально пугается, в тот же миг танк начинает пальбу и расстреливает всех приехавших.

Но можно сделать иначе. Ничего не говорить про танк, а просто приказать, чтоб ему дали в окоп рацию. А затем с ее помощью связаться с базой, объяснить, в чем дело. Но, конечно, приехавшие все равно почувствуют что-то неладное. Они бросят его и смуются.

Нет, сказал он себе, это не выход. Уже не говоря о том, что прихода катеров ему ни за что не дожидаться.

Он еще раз с ненавистью подумал о генерале — уж с

тем-то, наверное, все кончено. И поделом. Нельзя же быть такой шляпой.

Полковник посмотрел на днище танка над ним. Эх, если бы была граната!

Танк вдруг ожил, мотор включился.

Но ведь нет гранаты.

Мотор выключился.

Проклятье!.. А что, если вылезти из окопа позади машины и взобраться к башне? Полковник стал на четвереньки, осторожно приподнял голову. Только бы танк не отъехал и не развернулся!

Двигатель сразу зарычал, танк отъехал и, лязгая, развернулся.

Полковник застонал и сел на дно окопа. Безвыходно.

Он посмотрел на машину. А что, если она сейчас отъедет, оставит между им и собой достаточное расстояние и тогда произведет выстрел? Окоп-то ведь не спасет. Он подумал об этом и тотчас схватился за голову. Нельзя было об этом думать! Нельзя, потому что танк вздрогнул, взревел и задним ходом, грохоча, покатил прочь. В том-то все и дело было, в том-то и весь ужас, что машина делала как раз то, чего ты боишься, чего не хочешь, чтоб она делала.

Придерживая рукой плечо, полковник вскочил. Он знал, что вопрос жизни для него — не отставать. В ту самую минуту, когда он поймет, что танк уже может стрелять по нему и испугается, машина выстрелит.

Танк наращивал скорость, и полковник побежал за ним. Все годы его комфортабельной жизни, все годы занятий спортом должны были вложиться в этот бег.

Танк пошел быстрее, прибавил скорости, потому что полковник подумал, что ведь он может и прибавить...

Толстого майора и генеральского вестового разорвало в клочья первым же выстрелом.

Капитан, ему было всего двадцать девять лет, получил несколько тяжелых ран сразу. Но страха он не испытывал, и это исключило возможность новых выстрелов по нему. Он лежал на песке, исходя кровью, придавленный упавшей крышей павильона. Он думал только о жене и о своих двух девочках. С поразившей его самой ясностью он рассчитал, какова будет пенсия семье: для этого следовало учесть и

срок службы, и звание, и род войск, и даже обстоятельства гибели — в полевых или не полевых условиях. Пенсия получалась достаточная, это успокоило его. Затем ему пришло в голову, что даже хорошо, что испытания не удались. Если б эта штука вошла в мир, в конце концов могло б дойти и до его девочек.

«Уж лучше я», — подумал он облегченно и с последними проблесками мысли сказал себе, что где-то в самом начале пошел, вероятно, не той дорогой. В глазах у него поплыли радужные круги, обескровленный мозг уже ощущал недостаток кислорода, и капитан заснул навсегда.

А генерал умирал медленно. Первым его ощущением после шока была боль. Он даже не понимал, куда ранен, боль пронизывала все тело. Как и полковник, он резко ощутил несправедливость случившегося. Ведь он же был не из той касты, не из тех, кого надо было и можно было убивать.

Затем боль ушла, но вместо нее явились бессилие и какая-то ужаснувшая его муторность. Она все росла, и генерал даже чуть приподнял голову, чтоб приказать этому прекратиться.

Он приподнял голову и увидел изобретателя, который присел возле него на корточки. Лицо этого человека было спокойно и, как всегда, равнодушно. Он протянул руку и положил что-то на грудь генералу.

— Медаль, — сказал он. — Медаль «За заслуги», которой был посмертно награжден мой сын в шестьдесят пятом году. Вы сами вручили ее мне.

Медаль давила, как гора. Генерал не понимал слов изобретателя, он просто чувствовал, что не может, ну просто не может так дальше, потому что с каждой секундой все росла и уже совершенно нестерпимой делалась эта муторность. Генерал ни разу в жизни не был ранен, ни разу даже не подвергался операции. Он не знал, что примерно так, ужасаясь и страдая, умерли те тысячи людей, смерть которых он планировал прежде, и примерно так должны были бы умереть, согласно его новым проектам, миллионы.

Изобретатель некоторое время смотрел на умирающего генерала, затем поднялся, разыскал в развалинах павильона свой чемодан, вынул оттуда ласты и побрел к берегу. Он слышал рев танка где-то вдалеке, но не оборачивался. Собственное существование было ему безразлично. Он ощу-

шал внутри ужасную пустоту. Пустоту, которую можно чувствовать, когда сделал уже решительно все, что вообще в жизни собирался сделать...

Полковник гнался за танком. Тот все увеличивал скорость, и настал миг, когда полковник понял, что ему уже все равно — не хватало воздуха, легкие жгло пожаром, а сердце так стучало в грудной клетке, что удары отдавались по всему телу.

Он прошагал, шатаясь, еще десяток метров и остановился. Пусть!

И танк тоже остановился. Это было как чудо.

Жажда жизни тотчас снова вспыхнула в сознании полковника, придав ему новые силы. Он пошел было вперед, а затем остановился, сообразив, что, поскольку здесь поблизости нет никакого укрытия, танк может попросту раздавить его гусеницами. Он застонал в отчаянии, стараясь отогнать эту мысль, вытравить ее из мозга. Он затряс головой, зажмурил глаза и услышал, как зарычал двигатель внутри ожившей стальной глыбы...

Изобретатель плыл, мерно выбрасывая вперед руки. У него была мысль добраться до соседнего острова. О том, что будет дальше, он как-то и не задумывался. Он все еще был наполнен бесконечными дебатами в накуренных кабинетах, резолюциями всевозможных инстанций, указаниями, сметах, планами. В его ушах все еще звучали сегодняшние выстрелы и стоны умирающих.

Но постепенно это уходило.

Волны, журча, обтекали его. Опуская голову, он видел полосы солнечного света. Они колебались в такт движению пенных гребней прибоя, яркие у поверхности и гаснущие внизу. Стайки макрелей невесомо парили под ним, затем вдруг поворачивали все разом, как будто заранее сговорившись, сосчитав до трех, и исчезали в том общем жемчужно-зеленоватом сиянии, которым был пронизан у поверхности ток вод.

Важно, неторопливо двигались медузы, похожие на яркие, с оборками старинные зонтики. Какая-то река — странная серебристая полоса, движущаяся во всех своих частях сразу, — струилась в океане, в стороне. Человек подплыл к ней и замер. То были рыбы, неизвестные ему, крупные. Их были тысячи, а может быть и сотни тысяч. Они возникали из синего мрака, снизу светящиеся, сверкаю-

щие неповторимыми оттенками фиолетового и палевого, возникали ряд за рядом бесчисленные, бесшумные, сосредоточенные, поворачивали в одном и том же месте и уходили опять в бездонную глубину.

Какие тысячи километров они уже прошли, двигаясь, быть может, от поросших лесом берегов Африки или с другой стороны — от саргассовых водорослей, через пиратские моря мимо Антильских островов, Гаити и Пуэрто-Рико? Куда они стремятся теперь и почему именно эту точку выбрали для поворота?

Зачем они так щедро прекрасны в изобилии своего светящегося хода?

Изобретателю подумалось, что хотя уже нет в живых его детей, но ведь есть еще и другие дети. Любопытные глаза, глаза, которым так хотелось бы увидеть чудеса морей, лесов и городов... Может быть, еще есть для чего жить?

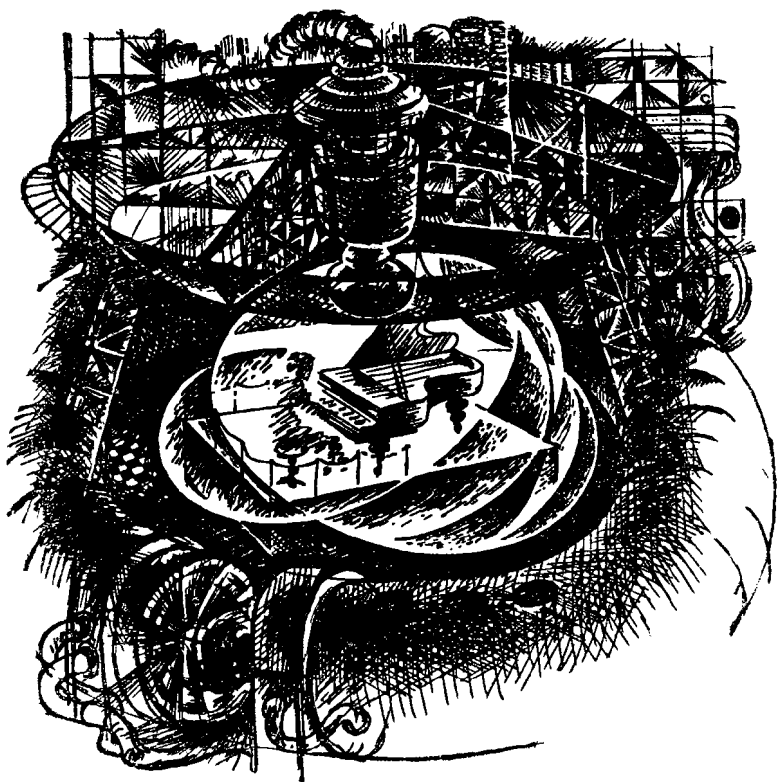
Он вдруг подумал, достаточно ли отплыл от острова. Не достанет ли его выстрелом собственная машина?

Изобретатель поднял голову, и в ту же секунду пронзительный свист ввинтился в воздух.

V

За ночь на острове поработали над трупами муравьи и крабы. С наступлением дневной жары они исчезли, а на следующую ночь опять принялись за дело так споро, что к утру на песке остались лишь белые кости. Постепенно собирался тайфун, он ударил на третьи сутки после гибели комиссии. Первыми же порывами ветра унесло остатки павильона — строители поставили его на открытом месте, а не в низине, как индейцы свои хижины. Гнулись пальмы, бешеный ветер передвигал дюны. Потом тайфун унесся к берегам материка, пальмы выпрямились, и от всего, что привезли военные, остался лишь танк, полузасыпанный песком.

Вернулись жители деревни. Пока не наскучило, дети лазили на странную тяжелую глыбу, внутри которой, притаившись, механический мозг ожидал, чтоб пробудиться, импульсов ненависти и страха.



ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО

Лех и Чисон миновали больницу и пошли вдоль фасада огромного перенаселенного дома. Возле стены грелись под лучами вечеряющего солнца старики, старухи, перебивая одна другую, рассказывали о том, каких хороших детей они вырастили и как у них всегда все было в порядке в хозяйстве. Тут же ребяташки играли в чехарду,

перекидывались мячом и с криками гонялись друг за другом.

У подъезда мальчонка лет четырех мелом рисовал на стене портрет девочки. Руки, как грабли, косички — двумя палочками. От усердия художник высунул язык. Зрители — всё мелкота — застыли в благоговейном молчании.

Из углового подвала неслись звуки старого разбитого рояля. Кто-то играл «Песню без слов» ля-минор. Чувствовалось, что руки детские, слабенькие. Но не так уж плохо получалось.

— Вот всегда здесь играют,— сказал Лех.— Как ни иду, всегда.

Они пересекли канал по стальному мостику. Вода внизу была черная, как отработанное масло, и казалась тяжелой, густой. Отсюда начинался район особняков.

— Вообще-то с Бетховеном — это гомеопатия,— сказал Лех.— Зря, по-моему, это придумали: воскрешать Бетховена.

— Какая гомеопатия? — Чисон остановился.

— Ну, когда передают на расстояние всякие там мысли и чувства.

— При чем тут гомеопатия? — Чисон возмущенно фыркнул.— Вот всегда ты ляпнешь что-нибудь такое. Гомеопатия—это из медицины, что-то с лекарствами. Не знаешь, лучше не говори.

— Да, хотя...— Лех задумался.— Правильно, не гомеопатия, а эта, как ее... телепатия. Ошибся. Ну конечно, я всех слов не знаю. У тебя это тоже часто бывает. Ты вчера, например, сказал «стриптизм». А надо было «спиритизм». Ну, пошли.

Дело было в том, что оба в детстве обучались по новейшей системе. Каждому за полгода вложили в голову содержание чуть ли ни всей «Британской энциклопедии». И без всякого труда с их стороны.

Через открытую калитку они вошли в сад Скрунтов.

— Обеды у них хорошие,— сказал Лех.— Останемся, пообедаем. Прошлый раз подавали рябчиков «по-русски».

Перед самым домом большой участок был разбит под «альпийский садик». С фиолетовыми и желтыми крокусами, ирисами и мелкими розовыми рододендронами. Все было хорошо ухожено, но по середине теперь шла траншея, а на цветах, смяв их, валялись части какой-то желез-

ной конструкции. Ощущалось, что хозяева затеяли очередную перестройку.

В вестибюле лакей Ульрих взял у них шляпы и пошел наверх доложить.

Едва он успел скрыться, как из-за мраморной колонны выскочила бабка Скрунтов и кинулась Леху на шею.

Бабке Скрунтов недавно исполнилось сто четыре, но благодаря серии омолаживательных операций и фигура и кожа у нее были почти как у двадцатилетней. Только рот подкачал, скривился. Тут уж ничего нельзя было сделать, как ни бились. Ну и с головой, естественно, было не все в порядке.

— Тише-тише! — Лех отдирает ее от себя. — Успокойтесь.

— Ах, мне нехорошо! — воскликнула бабка и стала валиться на пол, закатывая глаза.

Лех придержал ее.

— Притворяется, — объяснил он Чисону. — Это у нее всегда так: хочет, чтоб за ней поухаживали. — Он мотнул головой, откидывая нависшую на лоб прядь волос. — Ничего. Сейчас придет Ульрих, она его слушается.

При слове «Ульрих» бабка открыла один глаз.

Лакей тем временем возник на площадке второго этажа. Он быстро сбежал по ступенькам, остановился в двух шагах от гостей и внушительно сказал:

— Веда Скрунт, вернитесь, пожалуйста, к себе.

— Ах, Алек, — пролепетала старуха как бы в забытьи. — Ну что же ты, Алек?

— Веда Скрунт! — Лакей Ульрих повысил голос.

Бабка встрепенулась, проворно стала на ноги и скакнула за колонну. На прощание она игриво подмигнула Чисону.

— А кто этот Алек? — спросил Чисон, когда они с Лехом поднимались по лестнице.

— Да никто! Прошлый раз был Ян.

Чисон вздохнул.

— Дали бы ей помереть спокойно, прости ее господи, чем всякий раз омолаживать.

— Не хочет, — возразил Лех. — Что ж она, по-твоему, с такими деньгами будет помирать, как всякая. Не соглашается. Теперь затекает какую-то полную перестройку организма.

Лин Лякомб, хозяйка, встретила их в холле. (Лякомб, потому что фамилию она оставила себе по третьему мужу.)

— Это Чисон,— сказал Лех.— Помните, я вам говорил. Троюродный племянник того самого Чисона, который «Нефтепродукты и твердый бензин».

— Очень приятно. Как вы прошлый раз добрались домой? — спросила хозяйка Леха, глядя при этом на Чисона. (Такая уж у нее была привычка — разговаривать с одним, а смотреть на другого.) Не выслушав ответа, она сказала:— Ну, прекрасно. Сколько вы у нас не были? Полмесяца, да?.. Сегодня мы покажем вам три новые вещи... Хотя, нет. Четыре... Познакомьтесь, кстати, с моим мужем.

Чисон горячо пожал руку появившемуся тут же плечистому мужчине.

— Да нет, не этот! Это представитель фирмы. Пмоис.

Чисон пожал руку второму мужчине, скромно державшемуся позади.

— Идите,— сказала хозяйка.— Во-первых, у нас теперь есть нечто такое, чего нет ни у кого в городе. Вы будете поражены, Лех. (Она смотрела при этом на Чисона.) Настоящее чудо.

Они прошли зал, потом второй, где двое рабочих пробивали дыру в резной деревянной стене. Тут же кольцами лежал кабель толщиной в руку.

— Венецианская работа,— пояснила Лин Лякомб, показывая на стену.— Делали специальный контейнер, когда везли через океан. Семнадцатый век... Пришлось пробить, но тут уж ничего не сделаешь. Тянут линию для сеанса.

Винтовой узкой лесенкой поднялись в комнату, где едва слышно пахло пылью и царил полумрак.

— Стойте здесь.

Лин Лякомб, стуча каблучками, подбежала к окну, потянула шнур.

Стало светло. Все молчали.

— Ну как?

— Очень здорово,— неуверенно начал Лех.— Кажется, Матисс?

— Нет. Матисса мы еще не убрали. Вот эта.

Рядом с Матиссом на стене висело темное полотно.

Лех и Чисон подошли ближе.

— Это же подлинник,— сказала Лин. В ее голосе что-то треснуло.

— Рембрандт?

— Конечно. «Отречение святого Петра». Его главный шедевр. Вы не узнали?

— Но подлинник, кажется, в Амстердаме,— сказал Чисон.

— И в Амстердаме, и у нас,— отрезала Лин.— Теперь могут быть два подлинника. В том-то вся и штука. В Амстердаме подлинник, и это тоже подлинник. И не скажешь, какой подлинник подлиннее. Изготавливается второй экземпляр, который повторяет первый на молекулярном уровне. Поняли?.. Молекула в молекулу. Объясните им, Пмоис.

Плечистый выдвинулся вперед и заговорил, как будто его включили на половине фразы:

— ...стоящий вторичный оригинал является новым достижением фирмы «Доступное искусство», которая стремится... В течение трех месяцев по специальному разрешению голландского правительства... методом трансструктурного синтеза слой за слоем молекулярное строение разных уровней... Самые тщательные исследования не найдут... не является более подлинным, чем другой. Картина так же будет темнеть со временем, как и амстердамский вариант.

— Ловко, да? — Лин Лякомб победно посмотрела на присутствующих, потом повернулась к картине.— Удивительно, что можно иметь дома вот такое сокровище. Это облагораживает. Как-то совершенно меняет человека. Лично я уже не могу жить так, как жила раньше... Между прочим, от чего он тут отрекается — святой Петр? Напомните-ка, Пмоис.

Представитель фирмы набрал в легкие воздух.

— Тема картины,— он заговорил сразу и без передышки, как будто читал по учебнику,— столкновение человека, носителя высокого гуманного идеала, с жестокой правдой действительности. Апостол Петр отрекается здесь от Христа, как бы осуществляя высказанное вечером пророчество: «Еще трижды не пропоет петух, и один из вас предаст меня». Душевная драма, которую переживает Петр, обусловливается необходимостью сделать выбор: либо предать своего уже арестованного учителя, либо самому оказаться под стражей. Молоденькая служанка, поднеся свечку к лицу Петра, говорит: «И этот был с Христом из Галилеи». Воин в шлеме, готовящийся отпить вино из фляги, подни-

мает голову и с подозрением смотрит на старика. На лице апостола, застигнутого врасплох, выражается мучительная борьба. Его одухотворенные черты контрастируют с грубой и жестокой физиономией римлянина, а юное лицо девушки как бы образует переходную ступень между этими двумя. Резкое противопоставление света и тени на холсте подчеркивает драматизм происходящего.

Наступило молчание.

— А эту служанку он писал со своей знаменитой Саскии,— пояснила хозяйка.

— Н-не совсем,— замялся плечистый.— Саскии тогда уже не было.

— Ах, да! Точно,— поправились Лин.— С этой второй своей жены... Как ее?

— Хендрикье тоже не было. Она умерла раньше. Картина датируется тысяча шестьсот шестидесятым годом... Видимо, какая-то случайная натурщица.

— Ну, правильно,— согласилась Лин.— Тысяча шестьсот шестидесятый. Естественно, никого уже не было... Но все равно. Я просто сама не своя с тех пор, как этот шедевр у нас в доме. Подлинник Рембрандта! Я уже вся изревелась.— Она достала из кармана платочек и вытерла глаза.— Вчера поднялась сюда одна, сижу реву и все думаю: «Великий, неподражаемый Рембрандт. Он стоял перед этим самым холстом, и перед ним была Саския...» То есть думаю: «Он стоял перед этим самым холстом, и перед ним была случайная натурщица». Часа два просидела.— Хозяйка внезапно повернулась к Чисону: — Знаете, чего мне это стоило?

— Конечно,— сказал Лех. Он уже приспособился к манере Лин Лякомб.— Больших душевных...

— Нет, я в смысле денег. Четыреста тысяч! Почти годовой доход заводов Веды.

Все значительно переглянулись.

— Давайте всмотримся в нее еще раз.

Всмотрелись.

— Даже трещинки в краске все подлинны,— сказала хозяйка.— Ну, пойдемте.— Она взглянула на часы-перстенек.— У нас еще пять минут до сеанса. Мы со Скрунтом успеем показать вам наше второе достижение.

Пока спускались, Лин Лякомб объяснила:

— Понимаете, теперь все доступно. За то время, пока

вас не было, Лех, мы сделали из Скрунта великолепного художника и отличного стрелка. Метод гипнотического обучения.

Они вошли в комнату, одна стена которой была сплошь в дырках. На столе лежали спортивный пистолет «БЦ-3» и грудка патронов к нему.

Лин протянула пистолет супругу.

— Увидите, как он стреляет. Попадает в монету на лету. Почти что мировой рекорд. Фирма «Доступный спорт». За десять тысяч он стал стрелком-рекордсменом. Во сне... Здорово, да? Ну, давай, Скрунт.

Молчаливый Скрунт зарядил пистолет, расставил ноги и поднял правую руку.

— Он сейчас попадет в монету на лету.

Лин Лякомб пошарила в карманах платья, извлекла монетку и с полным бесстрашием стала к стене как раз под пистолетное дуло.

— Раз... Два... Три!

Монета взлетела. Грянул выстрел.

Чисон, оглушенный, помотал головой.

— Блеск, верно? — Лин сощурилась, ища на полу монету. — Сейчас я вам покажу след от пули... Ага, вот она. Никаких следов на монете не было.

— Странно. Ну, еще раз.

Она вернулась к стене.

— Внимание!.. Два...

Невозмутимый Скрунт поднял пистолет.

— Три!

Выстрел.

Чисон снова помотал головой.

Лин Лякомб подобрала монету и выпрямилась с покрасневшим лицом.

— Вот... Хотя, нет. Опять ничего. Странно... Ну, неважно. Все равно это феноменальный результат. В общем, понятно, что здорово, да?.. Теперь идемте в зал, уже пора. Сейчас самое главное — Бетховен будет играть «Лунную сонату». Лично он сам. А уж после Бетховена мы продемонстрируем, как Скрунт рисует.

Миновали лестничную клетку с копиями греческих скульптур, вышли на южную половину дома. Тут-то и стало понятно, как сильно перестраивается особняк. Перекрытия двух этажей были сняты, образовался огромный трех-

светный зал. Установка заполняла его почти целиком, оставляя место только для небольшой площадки, размером пять метров на пять, огороженной со всех сторон канатами наподобие ринга для бокса. Тут и там на полу высились груды штукатурки и мусора. Всюду тянулись кабели и провода. Двое техников копошились внутри гигантского механизма.

На площадке за канатами были поставлены рояль и стул.

Лин Лякомб усадила Чисона с Лехом в кресла, уехала сама и вдруг вскочила:

— Черт! Совсем забыла — Жанена ведь должна прийти. Извините, я сейчас ей позвоню.

И умчалась, ловко лавируя между мусором.

Представитель фирмы тоже куда-то отлучился. Лех и Чисон остались наедине с хозяином дома.

Некоторое время царило молчание. Скрунт неуверенно пошевелился.

— Хорошая сегодня погода, да?

— Погода? — Чисон посмотрел в окно. — Да, ничего... Хотя, впрочем, собирается дождь.

Еще помолчали.

Лех вынул сигаретку, потом раздумал курить и сунул в портсигар.

Лин вернулась.

— Ерунда какая-то. Все помешались на этой материализации. У Бельтайнов сегодня материализуют Ньютона, и Жанена идет туда. Идиотизм!.. Представляешь себе, — это относилось к мужу, — Клер Бельтайн и Ньютон. О чем они могут говорить — она же полная дура.

Подошел представитель фирмы:

— Можно начинать?

Хозяйка кивнула, успокаиваясь.

— Пожалуйста. Только сначала скажите несколько слов. Что мы сейчас увидим, и так далее. Ваш метод, коротко говоря. — Она уселась в кресле поудобнее. — Дайте сигарету, Лех. У вас какие?

Пмоис откашлялся, посмотрел на установку.

— Смонтированный здесь квадровый материализатор представляет собой в известном смысле венец усилий фирмы, поставившей своей целью дать нашим клиентам возможность познакомиться с величайшими произведениями

искусства в интерпретации их прославленных авторов. Мильтон, декламирующий отрывки из «Потерянного рая», Шекспир, разыгрывающий перед публикой сцены из «Гамлета», Шопен, исполняющий свои бессмертные фортепьянные баллады — таков был наш идеал. Предлагаемая вашему вниманию материализация Бетховена является плодом примерно двухлетней напряженной работы. Научные лаборатории фирмы, во-первых, переработали всю доступную информацию о композиторе, во-вторых, по особой договоренности с австрийским парламентом, извлекли частицы праха из могилы гения и, в-третьих, учли биопсихологические характеристики живущих в настоящее время отдаленных родственников материализуемого лица. На основе всего этого возникает живой биологический аналог Бетховена: возрожденный к новой, хотя и недолговечной, жизни человек прошлого века. Вместе с тем, оживший автор «Девятой симфонии» явится перед нами, господа, как материализованное представление о нем. В этом смысле он будет более правильным Бетховеном, чем даже тот, которого знало девятнадцатое столетие. Наш экземпляр... Простите, что вы сказали?

— Ничего,— ответила Лин Лякомб.— У меня погасла сигарета. Продолжайте.

— Наш экземпляр освобождается от мелочей быта и от не учитываемых наукой случайностей. При этом, строго говоря, Бетховен будет Бетховеном только первые полчаса. Далее начинается неизбежный процесс приспособления к нашему веку и нашему окружению, что повлечет за собой выработку у личности некоторых новых качеств при утере некоторых старых. Принимая во внимание, что действие квадратного по... Извините, что вы хотели?

— Я схожу позвоню Биксам. Может быть, они придут.

— Да, конечно.

Лин Лякомб вышла.

Несколько секунд было тихо, потом Лех и Скрунт одновременно издали какой-то горловой звук. И тотчас повернулись друг к другу.

— Простите, вы, кажется, что-то хотели сказать.

— Я ничего. Это вы хотели что-то сказать.

— Я тоже ничего.

Еще помолчали.

Хозяйка вернулась.

— Альфред говорит, что они у Иды Элвич. Но Ида я звонить не буду.— Она уселась.— Давайте приступать.

Пмоис кивнул.

— Сейчас.

— А разговаривать с ним можно будет?

— Естественно. Только не входите в границы quadro-вого поля.— Он задрал голову.— Эй, у вас все готово?

— Ага! — донеслось сверху.

— А у вас?

— Да.

— Включайте.

Прозвенел длинный тревожащий звонок. Что-то загудело. Томление нависало в зале, запахло электричеством. За канатами на площадке возникло светящееся пятно с темной областью в центре. Оно уплотнялось.

— Бетховен,— прошептала Лин и облизала губы.

Серое пятно еще уплотнилось, образуя формы сидящего на стуле человека в темном камзоле с темным галстуком поверх кружевного жабо. Голова и руки сначала были почти прозрачными, потом загустели. Лицо покраснело. Черные растрепанные волосы над выпуклым лбом вихрами торчали в разные стороны.

Кто-то из сидящих громко сглотнул.

Человек у рояля глубоко вздохнул, выпрямился, поднял голову, невидящим взглядом скользнул по физиономиям хозяйки и ее гостей. На лице его выразилось страдание. Он повел рукой возле уха, как бы отгоняя что-то.

— Какой маленький,— прошептала Лин Лякомб.

— Бетховен и был небольшого роста,— сказал Чисон.

— Тише,— попросил представитель фирмы.— Материализация совершилась. Вы хотели послушать «Лунную»?

— Да-да, «Лунную».— Лин заложила ногу на ногу и откинулась на спинку кресла.

Пмоис сделал знак механикам.

— Выключите.

— Угу.

Гудение смолкло.

— Сосредоточьте его на «Лунной». Опус двадцать седьмой. Притормозите все остальное.

— Сосредоточили.

— Ну, давайте,— сказала Лин Лякомб. Она склонила голову набок и полуприкрыла глаза.— Давайте.

Человек у рояля закусил губу и помотал головой. Он задумался. Потом положил руки на клавиши и стал играть.

С минуту все слушали. Затем Лин недоуменно посмотрела на представителя фирмы.

— Что-то не то.

Плечистый пожал плечами.

— Да, почему-то сразу вторая часть. Аллегretto.

— Зато он освобожден от мелочей быта,— сказал Чисон. Какое-то смутное раздражение нарастало в нем. Он не мог его подавить.

— Что? — Лин повернулась к нему.

— Я говорю, он освобожден от мелочей быта. От случайностей.

Пмоис мельком взглянул на Чисона. Потом он встал и задрал голову.

— Эй! Остановите его и дайте сильное торможение. Пусть начнет сначала.

Наверху завозились. Щелкнул какой-то переключатель.

Человек в камзоле опять помахал рукой возле уха. Что-то боролось в нем. Он положил руки на клавиши, затем снял их. Потом придвинулся ближе к роялю и сыграл «Лунную сонату» от начала и до конца.

Умолкли последние аккорды.

— Блеск! — воскликнула Лин. Глаза у нее сияли. Она схватила руку Леха и приложила к своей щеке.— Чувствуете? Я вся горю.— Она повернулась к Пмоису.— Теперь можно с ним поговорить, да?

— Пожалуйста. Только имейте в виду, что скоро начнется приспособление и надо будет всё прекратить.

Хозяйка подалась вперед.

— Алло! Как вы себя чувствуете?

Молчание.

— Он же не понимает,— сказал представитель фирмы.— С ним нужно говорить по-немецки.

— Ах, верно! Действительно, по-немецки. Я как-то упустила из виду... Кто-нибудь знает немецкий?.. Вы, случайно, не знаете?

Чисон пожал плечами.

— Как-то глупо получилось,— сказала Лин.— Нельзя тогда быстро переделать его в Байрона, например?.. Нет, нельзя?.. Тогда для чего мы всё это предприняли?..— Затем ее лицо вдруг просияло.— Пойдите, я сама вспомнила.

Она вскочила, подошла к самым канатам и, вытянув шею, прокричала:

— Sprechen Sie deutsch?

И с торжеством оглянулась на гостей.

Человек в камзоле что-то брезгливо пробормотал. Разобрать можно было только «...onnerwetter».

— Время истекает,— сказал Пмоис.— Надо начинать дематериализацию.

Он поднялся, сделал несколько распоряжений. Все пошло обратным порядком. Раздалось гуденье. Сильнее запахло электричеством. Человек на стенде делался прозрачным. Через несколько секунд все было кончено, установку выключили.

— Я сейчас приду.— Лин Лякомб сорвалась с места, стуча каблуками.

Мужчины закурили.

Скрунт откашлялся.

— Как будто бы собирается дождь...

— Что вы говорите? — Лех посмотрел в окно.— Да нет, вроде рассеивается.

Хозяйка явилась разгневанная.

— Слушайте, я все-таки позвонила Иде Элвич, и, оказывается, они тоже воссоздавали Бетховена. Разве так можно? (Представитель фирмы развел руками.) Хотя с другой стороны, это даже интересно.— Лин задумалась на миг, глаза ее зажглись.— Действительно, получилось бы очень здорово. Сделать двух Бетховенов, а между ними поставить эту, как ее, которой он посвятил «Лунную».

— Джульетту Гвиччарди,— сказал Пмоис.

— Да-да. Или даже составить целый оркестр из одних Бетховенов. Вот была бы штука! А рядом более современный оркестр — например, из Равелей. И послушать, что лучше.— Она резко повернулась к Чисону.— Что же, идемте обедать. У нас сегодня рябчики «по-русски». А после мы покажем, как Скрунт рисует,— его тоже научили под гипнозом... Пошли!

Чисон посмотрел на Леха.

— Обедать. Я сегодня...— Он замялся.— Пожалуй, у меня сегодня не выйдет. В другой раз. Большое спасибо.

Хозяйка согласилась с птичьей легкостью.

— Ну, как хотите. Давайте тогда еще раз взглянем на Рембрандта.

Никто не возражал, и они поднялись снова в светелку на третьем этаже.

Постояли перед «Отречением».

— Удивительно! — с фальшивым восторгом сказал Чисон. Он протянул руку и дотронулся до картины. — Совершенно подлинная трещинка.

Хозяйка смотрела на «Отречение святого Петра» каким-то странным взглядом. Губы ее были плотно сжаты.

— Черт возьми, я была абсолютно убеждена, что эта служанка — Саския. — В ее голосе звучало разочарование. — Или, на худой конец, Хендрике. — Она злобно взглянула на Пмоиса. — Почему вы меня раньше не предупредили?

В вестибюле она сказала Чисону с Лехом:

— Так вы приходите еще через неделю, у нас приемные дни по вторникам. Меня как раз осенила блестящая мысль. Знаете, что мне пришло в голову — мы воссоздадим Фидия, и он сделает мой скульптурный портрет. При нас же, на месте. И, кроме того, Скрунт прочтет лекцию о направлениях в современной физике. Он у нас скоро будет выдающимся теоретиком. Фирма «Доступная наука». Они из любого берутся сделать Эйнштейна.

Лех и Чисон молча пошли.

Дождь действительно так и не собрался. Развеялось.

Отовсюду неслась музыка. Хозяева особняков пели почти как Карузо. Играли на рояле почти как Рахманинов. Наверное, они еще писали картины почти как Ренуар и Репин. Благодаря новым методам можно было стать чуть ли не гением в какой угодно области искусства и в любой отрасли науки — и без всякого труда.

Лех и Чисон вступили на мостик через канал, когда позади раздался скрип тормозов.

— Эй!

Они обернулись.

Из-за руля желтого лимузина Скрунтов выглядывал лакей Ульрих. Он поспешно выбрался из машины, держа в руках здоровенный пакет.

— Мистер Лех...

— Ну?

— Лин Лякомб дарит вам картину «Отречение святого Петра». Подлинник.

Лех неуверенно взял картину. Лакей Ульрих влез в

лимузин. Автомобиль дал задний ход, съехал с моста, развернулся и укатил.

Лех смотрел на пакет, затем он глянул на Чисона. Внезапно его прорвало:

— Никакой это не Рембрандт. Все собачья ерунда. Ту картину действительно Рембрандт писал. И мучился, переживал с ней. А это...

Он размахнулся и швырнул второй подлинник в черную тяжелую воду канала. Отряхнул руки и повернулся к приятелю.

— И Бетховен — это тоже не Бетховен.

Они пошли дальше и, не сговариваясь, остановились у большого дома. У подвального окна.

Все так же доносились звуки разбитого рояля.

Женский голос сказал:

— Подожди. Вот опять неправильно. Как ты берешь педаль?.. Педаль должна быть, как лунный свет... И потом — вот тут у тебя легато... Ну, начни еще раз.

И голос девочки ответил:

— Сейчас, мама.

Друзья слушали, потом Чисон поднял руку.

— Вот это настоящий Бетховен.

И они зашагали дальше.

(На самом-то деле это был не Бетховен, а Мендельсон: «Песня без слов». Но все равно Чисон был прав.).



ТРИ ШАГА К ОПАСНОСТИ

Радиосеть с легким щелчком включилась, там внутри чуть слышно загудело. Вдалеке в этом гуде возник, а потом быстро приблизился по мере того, как нагревался приемник, равнодушно бодрый голос:

... Таким образом, это уже вторая крупная группа, покидающая в течение недели сферу производства. Один из

выходящих в отставку, Грудер Пом тридцати двух лет, сказал, что отнюдь не чувствует себя расположенным к переходу на государственное обеспечение. Остальные на совещании поддержали его красноречивым молчанием. Тем не менее выступивший тут же президент ассоциации поздравил присутствующих с новым статусом, официально заявил, что не следует ожидать обесценения инвестированного в класс услуг «С» капитала и что наметившееся падение курсов акций будет тотчас приостановлено...

Мужской голос умолк, сразу его место заступил такой же бесстрастно уверенный женский. Как будто они соревновались наперегонки, и теперь женщине удалось выйти вперед.

Продолжаются поиски Сокрушителя № 9. Согласно утверждению начальника полиции городского сектора В., ни один из переведенных в прошлом месяце из актива в пассив дождевальщиков не связан с преступлением. Свидетели единодушно описывают Сокрушителя как мужчину высокого роста и...

Лех окончательно проснулся и лежал теперь, глядя в белый потолок. Радио продолжало бубнить, он не прислушивался, чувствуя себя совсем разбитым. Мозг был как вата. Неопределенно вспомнилась внесенная ему когда-то в голову теория, будто днем, в процессе активной жизнедеятельности, мышечная ткань организма накапливает вредные вещества, которые должны затем во время сна выноситься прочь. Так или не так, но у него ничего не вынеслось. Сон не помог, яды притаились в пояснице и в шее, все кругом заволочло каким-то молочным туманом.

Он вздохнул, скосил глаза к столику с «усилителями».

Зазвонил телефон. Как в бреду, подумалось: наверное, Ви Лурд.

С усилием подняв руку, он нашарил первую коробочку и нажал несколько кнопок.

В голове зашумело, потом шум оборвался, в мозгу начало проясняться. Стало как-то понятнее, кто он и где находится.

«Усилители» были на краю столика. Лех нажал кнопку, ту, что имела отношение к мышцам спины. Снова нажал, ощутил, что может наконец сесть. Сел. Но руки пока еще висели, как плети, и шея едва удерживала голову. Он включил «усилитель» сначала для шеи, потом для правой

руки и принялся составлять комбинации из «усилителей». Через минуту сил значительно прибавилось. Во всяком случае, физических.

Радиоголос — там где-то далеко к микрофону опять стал мужчина — рассказывал:

...Затем профессор сказал, что в ближайшее время ожидается окончательный уход людей из Подземного Города и что этот новый шаг в сторону полной автоматизации несомненно вызовет изменения в финансовой структуре, а также дополнительно привлечет внимание общества к кино, телевизору и «усилителям»... С докладом «Поведение среднего человека в эпоху отсутствия стимулов» выступил доктор Едигера Фовн...

За окном уже полностью рассвело, голубел кусок неба, очерченный черным квадратом рамы. Напротив через улицу на крыше здания светились буквы неоновой рекламы Р-КРЕМ ДЕЛАЕТ ЩЕКИ СВЕЖИМИ. В тот момент, когда Лех взглянул на надпись, она погасла.

Он прошелся по комнате, проверяя, одинаково ли работают обе ноги, и вдруг почувствовал такое нежелание жить, что застонал и едва не улегся тут же на ковре. «Поведение среднего человека в эпоху отсутствия стимулов». Тьфу, дьявольщина — снова забыл энергии. С трудом удерживаясь, чтоб не закричать от отчаяния, он подошел к шкафу, взял плоскую коробочку, трясущейся рукой нажал кнопку пять раз подряд. Тотчас сердце забилось с невероятной громкостью, стало весело. Все в комнате — и неприбранная постель, и пластиковый надломленный стул, и зеленая штора — сделалось победным, сияющим, бьющим в глаза. Кожу на спине закололо тысячами приятных точек. Радость жизни хлестала через край, хотелось схватить что-нибудь, сжать, сломать...

Слишком много!

С той же поспешностью он разыскал на полке «успокоитель», включил, закрыл глаза... Стук сердца утихнул, мышцы несколько обмякли. Жизнь перестала быть вызовом, и все вроде бы вошло в норму. Впрочем, вошло ли?.. Лех уже сам не понимал, где его собственные сила и настроение, где купленные. Порой ему казалось, что его самого уже вообще нет.

Опять зазвонил телефон.

У Ви был виноватый голос:

— Я тебя разбудила?

Он промолчал.

— Но ведь мы же договорились на восемь? Ведь верно же, Лех, да?.

Внезапно его охватила жалость. О господи, разве можно ее обижать! Одинаково они с ней воспитывались, одинаковыми получились.

Он крепче взял трубку.

— Ничего. Все в порядке. Я через десять минут выйду.

Ткнул кнопку электропечки. Там зашипело, стрелки давления дрогнули, и через полминуты крышка отбросилась на шарнирах. Готово.

Лех с тарелочкой присел к столу.

Радиосеть молчала. Шел фон — потрескивание, мягкий меховой шумок. Затем резко щелкнуло там, и, еще не понимая, в чем дело, Лех почувствовал, что у него жарко-жарко делается в спине и огнем горят щеки.

Голос был по радио. Но не тот обычный, бодро равнодушный, а совсем другой, искренний. Пугающий полупшепот, который сначала не содержанием того, что говорилось, а еще только тональностью заставил смутиться и задрожать.

Внимание... Слушайте все... Так нельзя, так нельзя.

Протестуйте, иначе мы все пропадем...

Лех застыл с ложкой в руке. Комната вдруг сделалась враждебной, предающей. Все предметы, мебель, потолок, стены и пол уже знали, видели, могли подтвердить, что он слушает, присутствует и не предпринимает ничего.

Это гибель цивилизации. Это гибель. Надо бороться...

Что-то резко, как выстрел, ударило на звуковой сцене. Послышался шум борьбы, стон. Бодрый голос сказал совсем рядом:

Перерыв на десять минут.

И все. Даже фон прекратился.

У Леа дрожали руки, он положил ложку. Что это?.. Какие совсем другие сферы ему открылись?..

От страха мутилось в голове. На ослабевших ногах подошел к шкафу, включил «успокоитель». Выпил. Сделалось чуть легче.

В чем, собственно, состоит его вина? Ну действительно, он находился в комнате. Однако ведь ему не было известно, что должно произойти... Даже допустим, что он со-

вершил нечто ужасное. Но не один. Трансляция шла на весь город, на всю страну... Он еще раз включил «успокоитель». Похлопал себя по груди. Ладно, пустяки. Чего он испугался? Его ведь никогда ни за что не преследовали. Просто уж характер такой, что боится. Воспитание, среда, атмосфера такие, что страшишься неожиданного. От не приспособленности.

Усмехнулся, сунул тарелку в моечную машину, шелкнул дверным замком, спустился на лифте. На улице повернул к метро и нырнул на эскалатор. Загрохотало в подземных туннелях, цепочка вагонов услужливо подошла, раздвинулись двери. Кроме него, на линии не было и живой души — даже странным казалось, что вся могучая техника, всякие там автоблокировки и прочее обслуживают одного-единственного человека. Лех вспомнил о тех, что ушли сегодня из сферы производства. Уйти-то они ушли, а вот куда прибыли?.. Дома, наверное, сидят.

Текли километры. Он входил, садился, вставал, выходил, ехал и, наконец, поднялся на площади у фонтана.

На лотках продавали георгины и астры — головка к головке они лежали свежими боролистыми разноцветными массаи. Только они и были здесь на площади живыми. А все остальное — квадратное, прямоугольное, плоское с обрубленными краями, с отчетливыми гранями... Цветы, впрочем, никто не покупал. Дорого. Естественный все же продукт, не искусственный.

Человек в синем, отутюженном, как налитом на него костюме медлительно проводил Леха взглядом. Глаза у него были кошачьи или тигриные — со странным маленьким зрачком. Зябко становилось от равнодушия и остроты, с которыми он смотрел.

На углу возле табачного автомата Лех обернулся.

Синий продолжал остро смотреть ему вслед. Зачем это ему?..

Ви стояла на перекрестке.

— Хорошо, что мы будем первые, да? Правда, как ты считаешь? Не видишь тогда всех этих физиономий, верно? — Она заглядывала ему в лицо. — Мне, например, гораздо больше нравится, когда мы приходим и еще никого нет... А что Чисон? Не звонил тебе?

Он подумал, не рассказать ли ей про радио, и решил, что не надо. То есть наверняка не надо.

— Что ты сказала?.. Чисон. Нет, не звонил. Дома, пожалуйста. Он ведь теперь не ходит на Вокзал.

— Я слышала, он с Пмоисом подружился... А про Лин Лякомб рассказывают, что она уже все промотала. И еще, знаешь, я интересное слышала. Про этого старика, Толера. Он, оказывается, все время спит.

Такой она и была — Ви. Начинала говорить и уже не останавливалась, лихорадочно стараясь заполнить, закидать словами ту бездонную пустоту, в которую сколько ни сыпать, все мало. Правда, только по утрам ей и удавалось подолгу не умолкать. Вечерами, когда они возвращались, говорить было совсем не о чем.

Лех искоса глянул на нее. Тоже не умеет правильно определить дозу энергина. Глаза блестят, словно у девчонки, спешащей на первую в жизни вечеринку. И походка излишне пружинистая. Как у лошадки в цирке — при каждом шаге остается неизрасходованный запас энергии. На самом-то деле, если б ни «усилители»...

— Знаешь,— у нее тон вдруг стал более искренним,— у меня стиральная испортилась, и я сама кофточку постирала. Руками. Приятно, когда самой можно что-нибудь сделать, да?

Он кивнул. Конечно, приятно. Только обычно из этого ничего не выходит. Сам недавно хотел починить стул. Но их как-то «выпекают» целиком, что ли,— ни склеить, ни прибить. Или эти шнурки от штор... Попробовал укоротить, обрезать, а превратилось в слизь — длинные молекулы. Вообще жизнь такая, что своими руками ничего не сделаешь.

Они вошли в сад, который им нужно было миновать по дороге к Вокзалу. Несмотря на ранний час, на прямоугольных скамьях было полно. Люди сидели вплотную, но каждый, безнадежно и тупо уставившись перед собой, пребывал в одиночестве. По мере того как Лех и Ви продвигались к южному выходу, все глаза с мольбой поднимались им навстречу: «Кто эти двое? Может быть, они собираются подойти ко мне и хотя бы заговорить? А может быть, они совсем переменят мою жизнь, дадут мне какую-нибудь цель?» Но Лех и Ви шагали дальше, люди на скамейках возвращались к вялому угрюмому безразличию.

Ви вдруг прижалась к Леху.

— Не могу! Ну просто не могу! — Она вся дрожала, и

в голосе у нее была злоба.— Зачем эти взгляды, это нищенство?

На скамейках люди насторожились. Что-то происходит, что-то случилось!.. Как это понимать, неужели есть еще на свете такое, из-за чего волнуются.

— Клянусь тебе, придет минута, я не выдержу и плюну кому-нибудь в физиономию. Ну что они выпрашивают, что? У нас ведь тоже не боже мой какое положение. Но мы не сидим вот так, с собачьим взглядом. Если б я...— Она увидела, что глаза у Леха вдруг стали тревожно, удивленно шириться, и осеклась, схватившись за щеку.— У меня что-то с лицом, да?

Он молчал.

Ви выхватила из сумочки зеркальце.

— Отвернись!.. Ну, скорее!

Лех поспешно стал к ней спиной. Звякал металл. Ви искала то ли интенсификатор для мышц лица, то ли косметiku. Молча боролась.

— Можно.

Он повернулся к ней — Ви снова была молодой и красивой.

У входа в здание Вокзала служащий проникновенно поздоровался с ними.

— Сегодня так рано, да?

Это прозвучало очень участливо, но в то же время во фразе не содержалось ни одобрения, ни порицания. Дело было в том, что недавно специальная комиссия магистрата едва не признала деятельность Вокзала антиморальной. Во всяком случае, его запретили рекламировать, и поэтому служащие натренировались говорить с клиентами необыкновенно выразительно, ровно ничего при этом не выражая.

Лех подал талон. Служитель нажал кнопку на щите картотеки, справился с цифрами на экранчике, компостером пробил в листке очередную дырку.

— Пожалуйста.

Ви заторопилась. Она что-то искала в сумке.

— Сейчас-сейчас... Иди, Лех, я догоню.

Он прошел вперед, потом сзади отчетливо, с отсечкой, как у той лошадки, простучали по бетонным плитам ее каблучки. В зал они вступили вдвоем.

Помещение было похоже на театр, за тем только

исключением, что строители не были заинтересованы в хорошей акустике. Поэтому звук здесь не распространялся, а гас на месте. Уже на расстоянии трех шагов невозможно было переговариваться. Слова, хотя и громко, отчетливо произнесенные, сливались для слушателя в свистящий шорох.

— Пойдем в пятнадцатый, — сказала Ви.

Сели и осмотрелись. Все-таки они не первыми сюда пришли. Впереди у глухой стены, где длинной шеренгой громоздились на высоких треногах связанные кабелем, похожие на птиц черные аппараты, уже сидело несколько человек. Левее Лех заметил Эдлая Макгиннеса, бывшего бухгалтера в «Ринкфармакопее», а через три ряда поправляла голубые волосы дама, с которой Лех дважды виделся на приемах у Скрунтов.

Ощувив, что на нее смотрят, дама безотчетно обернулась, и Лех опустил глаза. Здесь было неприятно узнавать.

Второй, внутренний служитель, маленький, щуплый, в черной, обтягивающей голову фуражке, которая делала его похожим на работягу-механика из стародавних комических лент, прошел мимо Леха и Ви, задержался на них значительным, но ничего не означающим взглядом и скрылся за железной дверцей в правом углу зала.

Через минуту один из аппаратов-птиц заискрил, по залу легкой, как дыхание, волной прокатилась вибрация. Кресла между тем заполнялись народом.

Ви вдруг подвинулась теснее к Леху, положила ему на руку горячую ладонь. Глаза у нее блеснули, и это было уже не только от энергина.

— Может быть, будет что-нибудь очень-очень хорошее? Верно, Лех? Как ты думаешь?

Его тоже охватил неожиданный подъем, он благодарно улыбнулся в ответ. Чем черт не шутит — может, в самом деле есть доля правды в тех слухах, что ходят о Вокзале.

Железная дверца приотворилась, служитель-механик высунул голову и снова задержался взглядом на них двоих. Лех откинулся на спинку сиденья, и сердце у него заныло от внезапно вспыхнувшей безумной надежды. Но ведь было же такое, было!.. Именно здесь, через Вокзал, полгода назад удалось бежать Гвину Сойеру, дальнему родственнику Ви. Потом вырвались, тоже бежав, второй муж Лин

Лякомб и еще кто-то. Возможно, в этом и крылась причина озлобленности магистрата к Вокзалу... Лех вспомнил, что вчера в телефонном разговоре Чисон произнес странную фразу о «совсем другом мире». Но ведь что-то он должен был иметь в виду.

Он заметил, что у него немеют пальцы — с такой силой руки вцепились в подлокотники.

Опять появился служитель, неторопливо повел взглядом по залу, как бы отыскивая кого-то. В рядах многие спали, уставившись перед собой остекленевшими глазами. Полный господин через кресло от Ви, почти лысый, с несколькими начесанными от уха рыжими прядями, сквозь которые просвечивала белая молочная кожа головы, разинул рот, дыша тяжело и со свистом.

Лех, закусив губу, следил за служителем. Подумал, что тогда, шесть месяцев назад, Гвин Соьер тоже говорил ему, что собирается...

Что это? Или ему показалось?

Служитель прямо посмотрел на Леа, едва заметно качнул головой и тотчас скрылся за дверцей.

Не веря себе, не позволяя верить, Лех повернулся к Ви.

Она, разом побледневшая, кивнула.

Тогда, глянув на полного мужчину, Лех поднялся, подошел к двери, повернул холодную никелированную ручку и сделал шаг в темноту. Тотчас его схватили за плечо. Дверь захлопнулась.

— Скорее!

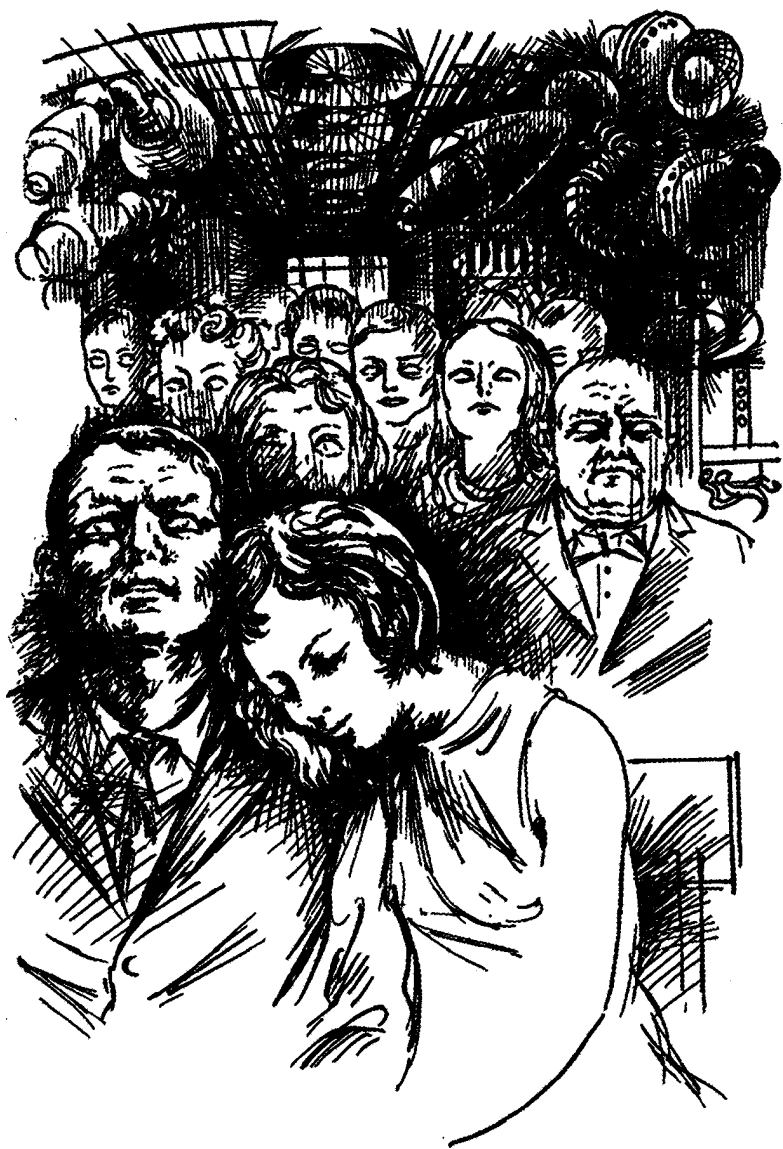
Чья-то рука взяла его собственную, потом он побежал через плохо освещенные помещения, похожие на кулисы театра. Служитель отворил новую дверь.

— Подождите здесь.

Задыхаясь от непривычки к быстрому движению, Лех сел на скамью. Комната была без окон, почти пустой. Прошла минута, другая... Стало нервно и неуверенно. Унылая обстановка навевала мрачные мысли. Выйдет ли?.. Из коридора, куда ушел служитель, доносился слитный говор. Лех тихонько встал, вытянул шею. Казалось, будто он слышит свое имя.

Увидев раскрытую дверь, он подошел к ней.

Помещение было полно мужчин. Некоторых Лех узнал со спины. Уинфред Оппер, молодой Руди из директората «Бернхейм». Все стояли, сгрудившись вокруг стола, за



В рядах многие спали...

которым сидел сам Пмоис, руководитель «Доступного искусства».

— Как вы его позвали? — спрашивал кто-то у щуплого служителя.

Тот пожал плечами. Черную фуражку он мял в руке.

— Мне же сказали, в пятнадцатом ряду.

— Вам сказали, слева в пятнадцатом. Надо было вызывать Макгиннеса, а не этого.

— Лех конченный человек, — сказал вдруг Оппер, и это прозвучало неожиданно громко. — Целиком живет на «усилителях». Ему их никогда не бросить.

У Леха разом вспотели ладони. «О господи! — с отчаянием подумал он. — А ты-то на чем живешь? А другие, за исключением, пожалуй, Пмоиса».

Молодой Руди пожевал губами.

— Так или иначе, надо что-то делать. Время идет.

Все посмотрели на Пмоиса. Он положил трубку на рычаг, задумался.

— Конечно, ошибка. Но если человека вызвали, нельзя бесцеремонно отправлять его обратно. Это даже просто опасно — может дойти до компании... Кстати, он уже здесь.

Все в комнате повернулись к Леху. Он прирос к полу.

Оппер спросил:

— Вы... Вы можете сейчас бежать? Согласны?

После этого кто-то знакомым, но странно сиплым голосом произнес:

— Нет. Не могу.

Мужчины продолжали смотреть на Леха, и по удивлению, нарисовавшемуся на их лицах, он понял, что это его собственный голос.

Руди, нахмурившись, спросил:

— Почему?... Или вы вообще не хотите?

И тогда Лех, ужасаясь сам себе и как бы воссоединившись с тем, кто только что сказал «не могу», ответил:

— У меня Ви... То есть Ви Лурд.

Несколько секунд длилась скребущая тишина. В голове у Леха билось: «Зачем, ведь это же единственный шанс в жизни?» По спине пролилась холодная струйка пота.

Пмоис, грузный, встал решительно:

— Так ведите ее скорее, черт возьми.

Лех и сам не понял, как без провожатого пробежал все

темные коридоры. Ви сидела в той же позе. Чувствовалось, оставь ее на месяц, она и месяц бы пробыла без движения, как вещь. Увидев Леха, она — вся внимание и надежда — и сейчас не позволила себе приподняться. Только вытянулась, уставившись на него.

Он кивнул. Она подхватила сумку, поправила волосы, осторожно переступила вытянутые ноги господина с лысиной и боковым проходом, как по воздуху, пронеслась.

Лех захлопнул дверцу. В темноте Ви не сказала — только выдохнула:

— Неужели да?

В комнате на скамьях уже сидели Оппер, Руди и еще несколько незнакомых. Все молчали, как-то отчужденно поглядывая друг на друга. Минут через пять вошли Макгиннес и дама, с которой Лех виделся у Скрунтов. Он вспомнил, что ее зовут Мартой.

Послышались решительные шаги в коридоре. Вошел Пмоис.

Все невольно встали, зашаркав.

— Все в сборе? — Взглядом Пмоис пересчитал собравшихся. — Итак, внимание. Каждый знает, зачем мы пришли сюда. Предупреждаю, что это будет нелегко. Возможно, многие погибнут — у компании достаточно сил и средств. Для утешения могу сообщить, что Гвин Сойер все же вырвался, и от него есть известия... Через несколько минут мы выйдем отсюда, сядем в закрытый автобус, который отвезет нас на аэродром. Все подготовлено, но могут быть и неожиданности...

Лех переступил с ноги на ногу. К чему эти разговоры? Раз решили, надо скорее.

— А теперь, — сказал Пмоис, — первый необходимый шаг. Каждый сию минуту вынет «усилители» из всех карманов и положит сюда на пол. Если в дальнейшем у кого-нибудь обнаружится хоть один стимулятор, этого человека мы сразу исключим из группы. Ну, прошу.

Секунду или две все стояли. Марта шагнула вперед, раскрыла черную сумочку, осторожно положила на пол коробку с «усилителем». Подумала, достала из сумочки вторую.

Задвигались и остальные. Кучка на полу быстро росла. Коробки с «усилителями», энергины, интенсификаторы различных видов.

Боком подошел бухгалтер из «Ринкфармакопей» Макгиннес, наклонился над грудой. У Леха сперло дыхание. Длинный молочного цвета аппарат из пористого стекла с красной полоской лежал поверх всего. Проин!.. Макгиннес дошел до проина. Вот отчего у него такие страшные лилово-черные круги под глазами. А Оппер еще сказал, что Лех конченный человек. Проин — это только на год. Начал и считай, что тебе осталось на этом свете двенадцать месяцев...

— Всё?

— Сейчас.— Худощавый шатен с интеллигентным лицом задержался над грудой.— Можно включить «усилитель»? Последний?

В тот же момент у Леха засосало под ложечкой. И ему ужасно нужен был «усилитель». Как курильщику затычка перед тем, как навсегда бросить.

Пмоис оценивающе смотрел на худощавого.

— Последний? — Он помедлил, потом повернулся к служителю в черной фуражке.— Свяжите его.

Сначала никто ничего не понял.

Служитель — у него в руках оказалось что-то белое — подошел к шатену.

— Что такое? — Тот растерянно огляделся.

Служитель стал завертывать ему руки за спину. Худощавый вырывался. Он покраснел.

— Но подождите! Не надо.— Он отшвырнул свой аппарат.— Я ведь только спросил. Послушайте...— Он обращался ко всем.— Разве я сделал что-нибудь плохое?

Кругом молчали.

— Раз нельзя, я отказываюсь.

— Свяжите,— повторил Пмоис.— Мы не можем взять этого человека. Он нас подведет.

К служителю присоединился Руди. Вдвоем они связали несчастному руки и ноги, положили его на скамью. Он перестал сопротивляться, только смотрел на всех огромными серыми упрекающими глазами. Ему завязали и рот.

— Постойте все здесь,— сказал Пмоис,— у стенки. Пусть каждый потом знает свое место, чтоб не путаться и не забегать вперед.

Все стали в неровную, ломкую шеренгу. Ви оказалась через одного от Леха.

— Сейчас выходим из здания. Не медлить и не разго-

варивать... Да вот еще — пусть каждый подумает, не видел ли он сегодня чего-нибудь подозрительного, когда шел к Вокзалу.

Моментально Леху вспомнился тот утренний с тигринным взглядом. Сказать или не говорить?.. Но если он скажет, все сорвется или отложится и его не позовут другой раз...

— Ладно. Пошли! — Пмоис шагнул к двери.

Но они не пошли, а почти побежали, суетливо наступая на пятки впереди идущим. Выходя из комнаты, Лех не удержался и взглянул на связанного мужчину. Тот смотрел в потолок, глаза у него стали огромные, как блюдечки.

Гуськом все спустились по крутой металлической лестнице, пробежали узким коридором... Еще коридор, опять две длиннейшие крутые лестницы вниз. Лезли в какой-то свежий пролом в стене и опять спускались.

Спотыкаясь, пошагали в полной темноте, каждый держась за впереди идущего. Пол вздрагивал под ногами, рядом что-то жужжало, откуда-то веяло ветром. Даже страшно было оступиться в сторону. Чудилось, будто они внутри живого организма.

Макгиннес впереди замедлил шаг, Лех навалился ему на спину.

Остановка.

Кто-то во главе цепочки зажег яркий электрический фонарь, и Лех ахнул.

Они были в низком, но бесконечно большом помещении. Стены уходили во мрак. Пахло горелым, дышалось тяжело, туманный воздух был пропитан масляной взвесью. И все помещение до потолка заполняли работающие машины. Они проникали одна в другую, заполняя каждый кубический сантиметр пространства, что-то передавали друг другу, плющили, резали, прокатывали, штамповали. Диски, червячные пары, какие-то некруглые колеса, ромбические и квадратные с зубчаткой, гусеницы, валы, маховики, фрезы, ленты транспортеров, резцы — все суетилось, вращалось, дергалось в непрерывном движении.

Подземный Город — вот это что! Один из его залов.

По цепочке передали, что Пмоис ушел и сейчас вернется.

Странно было, что здесь так тесно и душно. Лех тихонько тронул плечо Макгиннеса.

— У них тут даже света нет. И лампы не висят.

Бухгалтер косо оглянулся. Как конь.

— Это ж машины. На что им свет?

Ах да! Он не сообразил, что действительно не надо света.

Машины ведь не люди. Могут работать в полной темноте и без воздуха. В вакууме им, пожалуй, было бы еще лучше. И вообще они эмансипировались, отделились от человека. Даже никаких приспособлений для руки нет — ни рукояток, ни вентиляей.

Лех огляделся. Вот тут во мраке, безглазые и бесчувственные, машины и хлопочут в тесноте, как термиты. Вплотную одна к другой, без промежутков и просветов. Здесь ни ссор, ни распрей, все определяется чистой логикой производства... Лишь с трудом можно было выделить отдельные взаимопроникающие блоки. Пулеметом щелкал боек, сыпались на роликовый транспортер и тотчас уносились куда-то маленькие детальки. В другом месте угадывался мощный пресс, сдавленный другими механизмами, механическая рука выхватывала что-то из-под него, унося в темноту.

Над самым полом, заставив Леха вздрогнуть, вылез гибкий металлический шланг со светящейся головкой, ткнувшись в его ботинок, испуганно отпрянул...

Спереди передали, что Пмоис вернулся. Опять все побежали. Кругом ухало, рычало.... Лестницы, переходы, коридоры... Прошли через помещение, заполненное стенами, на которых вспыхивали и гасли миллионы зеленых огоньков. Пробежали мимо агрегата, который рыл землю, сразу устанавливая стойки и щиты.

Лех мельком подумал, что Уэллс ошибся, предсказав в «Машине времени» мир, разделенный на бездумных элоев и страшных морлоков, которые обслуживали в подземельях машины. Все правильно, но только морлоков нет. Они не нужны, машины сами справляются. Остались лишь элои — сам Лех, Ви и прочие...

Они уже поднимались теперь. У Леха жгло в груди от недостатка воздуха. Наконец из-за широкой спины Макгиннеса мелькнул свет, яркий, солнечный. Через люк они все вылезли в небольшой внутренний двор и один за другим забрались в металлический закрытый фургон. Слышно было, как кто-то пробежал мимо борта машины. Заднюю

дверь закрыли, задвинулись засовы. Пол дрогнул, у всех сжалось сердце. Поехали!

Шестым чувством ощущалось, как плывет, убегая, асфальт под ними, как разворачиваются углы зданий и косо, на всю длину возникают на мгновения и остаются позади оживленные дневные улицы. Едем, едем! Впервые в жизни так было, что Лех отделился от этого мира, поступает по собственной воле. Действует... Едем, и еще не поднята тревога! Едем, и уже километры отделяют нас от Вокзала!

В темноте люди зашевелились. Кто-то протискивался к Леху.

Ви.

Она дышала ему в ухо.

— Ты видел?

— Что?

— Ну вот эти машины?

Он кивнул. Ви прошептала:

— Повернись. Тут через щель можно смотреть.

Он с трудом повернулся в тесноте.

Машина остановилась перед светофором. Сквозь щель Леху видны были груды астр и георгинов на лотках. Значит, они на площади у фонтана. Там, где проходили с Ви каких-нибудь два часа назад. Но теперь-то они уже не принадлежали этой жизни. Автомобиль был маленьким островом. Отдельным государством, неким суверенным началом, которое позволит им и вовсе унести отсюда.

Лех смотрел в щель, и вдруг ему сделалось душно. Человек в синем костюме — тот самый — заинтересованно повернул голову. На лице его нарисовалось подозрение. Он подобрался весь, кошачьей походкой пошел к их машине, исчезнув из поля зрения Леха. Затем все услышали:

— Эй, что у вас с номером?.. Почему вы здесь с этим номером?

И тотчас автомобиль рванул... Крики. Свистки... Они бешено мчались, людей бросало, наваливало друг на друга. Потом резкая остановка при рычащем моторе, поворот, задний ход.

Опять машина пошла ровно. Но теперь уже в городе поднята тревога... Минуты бежали. Одиннадцатая... Пятнадцатая...

Мотор вдруг стих.

— Выходите!

Все вылезли через заднюю дверь, растрепанные, помятые, тревожно осматриваясь.

Они были уже за городом, его здания остались где-то там, за горизонтом. Кругом простиралась равнина, расчлененная на квадраты. Линия электропередачи тянулась на запад.

Пмоис остервенело выскочил из кабины.

— Умеет кто-нибудь вести самолет?

Молчание...

Макгиннес нерешительно пожал плечами.

— Я когда-то...

— Ну, скорее же!

— Пожалуй, я сумею.

— Нам придется изменить план, — сказал Пмоис. — Поскольку нас засекли, мы не сможем воспользоваться своим самолетом. Сейчас переберемся на другое шоссе. Там будет частный аэродром. Пошли. Автомобиль здесь не потянет через поле. Придется пешком.

Шагая через стенки квадратов, Лех подумал, как все неузнаваемо переменялось за городской чертой. И не поймешь, что к чему, — ни деревца, ни травинки. Квадраты покрывала серая пленка, проминающаяся под ногой, но не рвущаяся. Наверное, что-то вроде парников; под пленкой растения. Но, может быть, и не растения — он смутно слышал что-то о новых методах выращивания белков. В целом-то ведь неизвестно, как теперь делается пища. Платишь деньги, получаешь нечто желеобразное или, наоборот, хрустящее. Оно может быть и желтым и красным. Но из чего и как приготовлено, остается загадкой.

Неуклюже переваливался автомобиль. Пмоис, часто оглядываясь, прибавлял ходу.

Дошли до другого шоссе. Опять сели в машину. Заднюю дверь не закрывали, стало не так душно. Километров через тридцать автомобиль остановился. На поле, огороженном колючей проволокой, стоял, раскинув крылья, не то «Рамблер», не то «Эффо».

— Бегом! — командовал Пмоис.

Все перелезли через ограду и побежали к самолету.

— Расчехляйте моторы!

Двое кинулись снимать чехлы. Низенький мужчина с одутловатым лицом толкнул Леха.

— Снимайте струбины. Вот эти зажимы с элеронов.

Кто-то отчаянно закричал:

— Эй, глядите!

Далеко на дороге виднелись три точки. Они быстро вырастали.

Макгиннес с Пмоисом были уже внутри, в кабине. Зарокотал мотор. Одутловатый мужчина выбил колодки из-под колес. Пмоис помогал женщинам забраться в самолет.

Три машины с дороги, не задерживаясь, дружно ударили в ограду, повалили ее и мчались к аэроплану. Одна остановилась, выскочило несколько человек в черном — форма служащих компании. Раздались выстрелы.

Макгиннес дал газ. Лех едва успел подскочить к дверце. Ви втащила его за шиворот.

Две машины были рядом, но самолет уже бежал, подпрыгивая, по взлетной полосе.

Макгиннес, сжав зубы, что было сил навалился на штурвал. Что такое?.. Взлетная полоса кончалась, но хвост самолета так и не оторвался от бетона. С трудом развернув машину, бухгалтер опять ввел ее на взлетную полосу. С другого края поля неслись машины преследователей.

— О господи! Наверное, не сняты струбцины с руля высоты.

— Я сейчас.— Одутловатый мужчина с готовностью выпрыгнул из кабины.

Через мгновение снизу донеслось:

— Давайте!

Лех протянул одутловатому руку, тот схватил, и его проволокло несколько шагов. Но с ближайшей машины ударил выстрел, глаза одутловатого расширились, кровь хлынула у него горлом, и, выпустив руку Леха, он покатился по земле.

Самолет резко прибавил скорость, преследователи стали отставать.

— Эй, помогите! — Макгиннес жал на штурвал.— У меня не хватает силы.

Несколько человек бросилось ему на помощь, тесня друг друга. Навалились. Тряска вдруг кончилась, аэродромное поле провалилось. Горизонт качнулся, исчез, опять появился. Они быстро набирали высоту.

— Летим! Летим!

Кто-то запел, кто-то смеялся. Ви с блестящими, сияющими глазами повторяла:

— Ну, неужели? Неужели это возможно?

— Не упускайте штурвал! — крикнул Макгиннес, покрасневший, с капельками пота на лбу.

Самолет едва не упал в штопор. Трое мужчин опять нажали, машина выровнялась. Под прозрачным плексигласовым полом уходил вниз и влево квадрат аэродрома, и уже совсем крошечными сделались мечущиеся возле автомобилей крошечные фигурки.

— Держите пока над шоссе, — сказал Пмоис. — Большой высоты не надо, чтоб не засекли радаром.

Чуть качало в каюте, скрипели снасти, где-то внизу в трюме хлюпало. От непривычки Леху все это казалось полной тишиной, гнетущей. Рядом спала Ви, свернувшись калачиком, уткнувшись носом в переборку. Так случайно получилось, что они попали вдвоем в кормовой кубрик.

Пахло водой и одновременно звонким сухим деревом.

Уже дважды забегал Руди, ругался и звал наверх. Теперь была очередь Леха идти и делать что-то на палубе. Но не хватало сил подняться.

Они плыли уже целую ночь, а до этого шесть часов лети. Макгиннес все же оказался настоящим авиатором, приспособился. Полет был самым счастливым временем побегов — Лех знал, что такое не повторится. Они все расцвели в самолете, за исключением Пмоиса. Он что-то постоянно высчитывал, хмурился, заставлял Макгиннеса часто менять курс и сказал, что удачное начало ничего не значит. Когда солнце начало клониться к горизонту, они миновали бесконечные поля с квадратами, и бухгалтер посадил машину на болотистом, заросшем джунглями океанском берегу. Забросали самолет ветками — на это ушел час отчаянно тяжелой работы. Уже впору было отдохнуть, но Пмоис повел их тропинками ближе к океану. Стали дожидаться заката. Всеми завладела апатия. Разговоры умолкли, слышалось только, как гудят москиты. Перед самым вечером с воздуха потек рокот вертолетов — погоня нащупала след. Было около десятка машин, они кружили над окрестностью. Страх придал силы членам группы, они глубже ушли в болото, замаскировались в кустах. Один вертолет опустился совсем неподалеку. Пока там не включили мотор, ветер от винта поднимал беглецам волосы.

Охваченный каким-то оцепенением Лех явственно услышал голос того, с тигриным взглядом. Но пронесло. Солнце неожиданно быстро село за кустарники, вертолеты убралось. Пмоис с компасом в руке уверенно вывел группу к берегу, где они погрузились в небольшую яхту...

— Эй! — Это был голос Руди.

Затем раздалось два резких удара в дверь. Видимо, ногой.

Застонала и что-то пробормотала во сне Ви.

— Сейчас...

На этот ответ у Леха ушла чуть ли не вся наличная энергия. Он поднялся с койки, потом, охнув, сел. Руки упали на колени. Не хотелось ни дышать, ни жить. Вообще ничего. Удивительного тут не было — почти сутки без тоников.

Дверь в каюту распахнулась.

— Лех, будь ты проклят!

На лице у Руди было отчаяние. Он еле держался, готовый расплакаться.

— Ну, иду. Иду же!

Снаружи было светло, просторно, пустынно и свежо. Яхта чуть покачивалась, было видно, как впереди на нос набегают волны. Странной самостоятельной жизнью жили надстройки, фальшборт, снасти — все какое-то слаженное, сгруппированное, только для себя самого существующее. Туманилось, ориентиры отсутствовали. Большой парус на мачте вспучился, и только по этому можно было судить, что они движутся.

— Иди сюда.— Руди тянул Леха за руку.— Пмоис спит, а мы должны держать курс. Видишь эту черточку... Если цифра семьдесят пять будет уходить вправо, крути штурвал против часовой стрелки. И наоборот. В общем, это просто. А я пойду лягу. Просто на ногах не держусь.

Лех со вздохом взялся за штурвал. Перед ним был компас — нечто вроде окаймленной белым ободком тарелки. Деления и цифры. Тарелка вращалась, «75» повело влево. Лех стал поворачивать штурвальное колесо по часовой.

О, если б хоть немного энергина! У него начали болеть руки и ноги, закружилась голова. Слабость все росла, хотелось сесть прямо на белые доски палубы. Неожиданно он ощутил неприязнь к Пмоису. Конечно, это нетрудно —

требовать, чтоб «усилители» были выброшены. Но только если сам не употребляешь.

Постепенно на палубу выбирались другие. Марта, Оппер, Макгиннес, Виктор Брабант, маленький суховатый Танталус Брик. Это был удивительный парад неврастеников и уродов. Все опухшие, вялые, непричесанные, в мятой одежде и с мятыми лицами.

Макгиннес постоял некоторое время рядом. Черные круги под глазами сделались еще страшнее за ночь. В самолете он вел себя отлично, но теперь казалось, будто из него вынут какой-то стержень.

— Да-а...

Подошел рослый красивый Виктор Брабант — они с Лехом когда-то вместе учились в гипношколе. Вздохнул тяжело, протяжно.

— Не так-то все просто. Выдержим, а?

Опустил голову, стал рассматривать холеные руки с голубыми жилками.

И у Леха было такое чувство, что не выдержать. Он вдруг понял, что вообще все хорошее в жизни у него связывается с «усилителями». И если не будет энергина, то на кой черт ему все это надо? Сумасшедшая мысль мелькнула в голове. А что, если повернуть обратно?

— Да-а-а,— протянул опять Макгиннес.

Солнце наконец пробило туман, стало далеко видно. Справа на горизонте появился темный низкий остров. И небо, и морская гладь зияли непривычной пустотой, отталкивали равнодушным мертвым покоем.

Виктор вскинул голову.

— Нет. Мне, пожалуй, не вынести. Не тот человек... Зря я впутался.

Лех уже вознамерился сообщить, что и он не тот, как Марта негромко позвала:

— Смотрите, пароход.

Все оглянулись. То был не пароход, а лишь небольшое буксирное суденышко, которое нагоняло их, дымя короткой трубой. Поравнялись. Сначала на палубе буксира никого не было, потом вышел человек в морской фуражке. Поднял руку с мегафоном, спросил, как называется яхта, куда идет. Никто не ответил. Человек в фуражке опять осведомился, что это за яхта. Лех подумал, что они представляют собой странное зрелище — молчаливая, абсолют-

но не по-морскому выглядящая толпа. Кто-то прошептал сзади, что надо разбудить Пмоиса.

Судно стало поворачивать. Но не к ним, а от них. С яхты заметили теперь и рулевого в рубке. Он тоже с подозрением смотрел на них. Буксир пошел обратно.

Когда Пмоису рассказали о случившемся, он только спросил:

— А все так и стояли на палубе, как сейчас?

И начал отдавать приказания. Спустить паруса, поворачивать к острову... Впредь при появлении судов всем, кроме рулевого, немедленно убираться в трюм.

Не так-то просто оказалось спустить паруса. Пмоис только один и разбирался в этом. Кое-как все же повернули, потратив на это около часа. Пошли к островам — Пмоис надеялся переменной курса сбить со следа погоню. Возле ближайшего острова сели на мель, в песок. Несколько раз все перебежали с борта на борт, раскачивали судно. Но шел отлив, делалось мельче. Тогда их командир сказал, что надо в шлюпке отвезти на глубокое место якорь, а потом, наматывая цепь на брашпиль, стащить судно. Однако цепь оказалась слишком тяжелой, провисала. Пмоис и служитель в черной фуражке — его звали Микки — решили, что можно облегчить яхту, снеся весь груз с борта на берег. Уже все были мокрыми, замерзшими, несчастными. Тем не менее по грудь в воде принялись таскать бочонки с пресной водой, разные ящики и пакеты. Лех заметил, что Брабант постоянно уклонялся от усилий. Взявшись за канистру, подолгу стоял неподвижно, ждал, чтоб кому-нибудь подать с борта. Перекусили на берегу консервами. Отлив кончился, вода уже прибывала. Все время поглядывали на море, опасаясь увидеть судно или самолет. Когда солнце повисло совсем низко, Микки крикнул с яхты, что она всплыла. Все со страхом смотрели на Пмоиса — неужели заставит сейчас переносить груз на борт?

Он поднялся решительно.

— Давайте носить.

Макгиннес, Лех, Оппер встали, пошатываясь. Брабант продолжал сидеть, зябко обхватив коленки руками.

— А вы что?

Виктор безучастно поднял голову, глядя на Пмоиса.

— Не могу. Всё... Я, к сожалению, пас.

— Как — не можете? Это ж наше общее дело.

Брабант пожал плечами.

— Возможно. Но я уже выдохся.

Затылок у Пмоиса вдруг налился кровью, он шагнул к Виктору:

— Встаньте!

Лех почувствовал, что сейчас что-то произойдет. И знал, что он сам на стороне Брабанта. Нельзя же требовать от людей невозможного.

Марта странно кашлянула и рассмеялась. Все обернулись к ней. Она смеялась все громче, задыхаясь. Истерика.

Пмоис подскочил к ней, с силой ударил ладонью по щеке. Женщина тотчас умолкла, держась за щеку, отступила.

Так или иначе, они погрузились в тот вечер. Сатанинская была работа. Когда Лех взялся за ящик с консервами, подумалось, что ни за что на свете не поднять. И уж тем более не донести до шлюпки по скользким камням. Но потом им овладела злоба на Пмоиса. Ведь это именно Пмоис и другие, сильные, активные, сделали мир таким, каков он есть. Лишили Леха возможности хоть к чему-нибудь прилагать усилия. А теперь сам же требует работы. И злоба придала Леху энергии. Он хватал ящики и бросал их в шлюпку, как в лицо Пмоису. На же! На!..

(Видимо, у других тоже было это чувство.)

Отплыли ночью. Лех вроде еще и глаз не успел закрыть, как явился Микки-механик. В трюме открылась течь — скорее всего, когда сидели на мели. Надо было откачивать ручной помпой.

Откачивали и весь следующий день. Яхта шла под полными парусами курсом NW75. Когда солнце было в зените, Пмоис попытался определить положение судна — ощутилось, что он не очень силен в таких вещах. Впервые объяснил, что их цель — Удатский архипелаг. Но Лех ничего не почувствовал при мысли о свободе — очень был измучен. Из-за ящиков все тело было в синяках, руки покрылись волдырями. Вечером после очередной вахты на помпе он еле выбрался из трюма и на палубе оперся о фальшборт. Слева уходил в воду тросик лага. Волны катили быстро, обгоняя яхту — несоответствие было между внезапно стихшим ветром и скоростью их хода. Пробежавший Пмоис озабоченно бросил, что барометр упал. Тяжесть нависла в атмосфере, горизонт качался, то взмывая высоко вверх, то начисто опрокидываясь. При мысли о том, что

предстоят еще недели в море, а через четыре часа надо сменять Руди на помпе, Леху стало мучительно. И вдруг пришло облегчение. А зачем, собственно, мучиться? Ну, не вышло. Он оказался неспособным вырваться. И пусть. В конце концов это так просто — сделать шаг за борт.

Не позволяя себе ни о чем больше думать, он занес ногу на деревянные перила. В этот миг его сзади схватили за плечо.

Ви сказала:

— Подожди.

За двое суток она тоже сильно изменилась. Глаза поблекли, щеки висели, лицо стало серым. Отвернувшись, порылась где-то у себя на груди, извлекла зелененькую коробочку. Заслонила Леха от штурманской рубки.

— На.

И тут шторм обрушился на судно.

Они устроили военный совет в джунглях. Сели все на траву, и Пмоис стал рассказывать, что знал об этом острове.

Двадцать дней минуло с той поры, как Ви спасла Леха — дала «усилитель». Но ему-то это время казалось годом.

Тогда он помог Ви подняться после удара ветра. Небо сразу потемнело, в крошечной тьме они добрались до каюты. Там вода гуляла по полу, рядом в камбузе пистолетными выстрелами хлопали, раскрываясь и затворяясь, железные дверцы печки. Лех влез на койку, она вела себя подобно дикому коню — старалась скинуть. Держась немеющими пальцами за борт, он подумал, что так можно просуществовать минут двадцать, не больше. Но они выдержали все две недели, что продолжалась буря. Качали помпу по часу, ветер гнал судно прямо в центр океана. Разница между днем и ночью исчезла, солнце вовсе сгинуло, погасло или укатилось в другую галактику. Был момент, когда с глухим треском лопнул трос плавучего якоря, яхту развернуло бортом к волне. Огромный вал обрушился на них, но ветер сам выправил положение судна. Потом Лех понял, что, не будь урагана, они восстали бы против Пмоиса, но тут надо было жизнь спасать.

Эти четырнадцать дней остались в памяти Леха отрывками. Смыло за борт Оппера, Пмоису вывихнуло руку. Лех

не осознал сначала ни того, ни другого — просто приходилось больше стоять на помпе.

Затем однажды посветлело, и солнце осветило океан. Волны уже не ударили судно, а плавно, как на качелях, приподнимали. Беглецы вылезли на палубу, тупо смотрели, как прыгают в воздух неведомо откуда взявшиеся летучие рыбы. Пмоису вправили руку, он произвел счисление и сказал, что шторм сбросил их на три тысячи миль к югу. Трудно было представить себе этот гигантский прыжок.

Принялись осматривать судно. Паруса были изорваны в клочья вместе с ликтросами, в каютах доски пола плавали в воде. Когда убрали все, Лех по-новому оглядел своих товарищей. Одежда посеклась на швах, порвалась. Все были страшные, избитые, в ссадинах, но что-то живое светилось в глазах. Только Брабант съежился, молчал. Взяли курс SO240. Пассат надувал паруса; посмотрев на них, можно было представить себе, что вернулись времена смелых открывателей Земли — капитанов.

Так плыли неделю, и Лех начал ощущать в себе необычное. По утрам еще одолевала слабость, но к середине дня тело делалось упругим. Пальцы сильнее брали отполированную ручку помпы. Хотелось разговаривать и шутить. Он сказал Микки, который так и не расставался со своей черной фуражкой:

— Слушайте, почините печку. У вас такой вид с этим козырьком, будто вы механик. Или вы нас все время обманывали?

Маленький усмехнулся.

— А я и есть механик. Вернее, был до того...

Но потом пришла беда. Однажды в небе появилась черная точка, превратилась в гидросамолет.

— Японский, — сказал Пмоис, помрачнев. — Япония в союзе с компанией.

Они изменили курс, но на следующий вечер два самолета показались над горизонтом. Приблизились. Один опустился так низко, что все увидели летчика и еще человека рядом с ним. Лех закусил губу, почувствовал, что слабеют колени — опять был тот, тигриный, с широкими скулами. Тоской стеснило сердце — просто от понимания, какие бесконечно длинные руки у компании.

Не все сразу сообразили, в чем дело, когда в реве мо-

торов послышалась частая отчетливая дробь. Белобрысый Танталус Брик скорчился, схватившись за живот. Стали прыгать за борт. Налетела вторая машина. Раздался грохот. Лех в прыжке увидел, что на носу вспыхнул огонь. Опять делала заход вторая машина. Фонтанчики от пуль побежали по воде, опасно приближаясь к Леху. Он нырнул, сколько мог глубоко, окружилось зеленым туманом. Так повторялось трижды, и Лех решил, что один остается в живых. Смеркалось. Самолеты сделали последний заход и улетели. Лех поплыл к яхте, увидел, что на нее, полуза-топленную, карабкаются другие.

Пмоис, тяжело дыша, сказал:

— Танталус утонул. Ему пуля попала в живот.

Не сразу поняли, что нет еще кого-то.

— А где Виктор?

Марта, выжимая густые волосы, покачала головой.

— Его не ранили. Мы ныряли вместе, потом он поплыл не к яхте, а в другую сторону. Я его звала.

Но надо было думать о дальнейшем. Удивительным образом яхта осталась на плаву. Форштевень, носовой кубрик были уничтожены взрывом, вода подступила под палубу, но все же судном можно было пользоваться как плотом. Утром проверили запасы. В трюме гуляли рыбы; заглянув туда, можно было увидеть развороченные борта и синий бездонный провал. К счастью, в капитанской каюте у Пмоиса осталось два залитых парафином пакета сухарей.

С трудом на сломанной укороченной мачте поставили парус. Но как только он наполнился ветром, передняя часть палубы совсем зарылась в волны. Парус убрали, но палуба так и осталась наклоненной. Вскоре выяснилось, что яхта медленно погружается; на второй день после катастрофы они уже шлепали по воде. Пмоис подсчитал, что ближайшая земля — остров Двух Братьев. Обрубили снасти, сбросили за борт мачту, потом выкинули часть навигационных приборов, всю мебель из кают. Но на третий день вода дошла до щиколотки. Все перебрались на крышу штурманской рубки, Микки с Пмоисом лихорадочно законопачивали пробитые пулями борта спасательной шлюпки. Вечером сели туда, взяв с собой топор и карты.

Было еще пять отчаянных суток. Грести никто не умел, правда, ладони у мужчин уже закалились от помпы. Акулы бороздили волны на расстоянии вытянутой руки.

Тошнило от жары и морской воды, которую пили по-немножку. Ветер иногда падал совсем, однообразный круг океана простирался во все стороны, и не верилось, что удары весел вообще трогают их с места. А на шестой вечер Ви вскочила с банки, шатнув их суденышко. Земля!..

И теперь они сидели на поляне, отделенные от океана стеной зарослей. Черные, загорелые, в лохмотьях.

Пмоис со свойственным ему туповатым упорством долго разглаживал на коленях карту.

— Вообще-то остров принадлежит компании. В западной части у них аэродромы, радарные установки. Двигаться надо будет с севера на юг. На том берегу захватим какое-нибудь судно и тогда уж поплывем к Удатам. Всего тут километров двести восемьдесят.

Все посмотрели друг на друга — пройдем ли?

Марта, крупная, с широкими движениями, уверенно подняла голову. Она неожиданно оказалась очень сильной — гребла вместе с мужчинами.

Ви украдкой глянула на Леха и опустила глаза. Уж это-то в ней было — преданность и скромность. На коленях у нее лежал мешочек с сухарями. Так получилось, что она стала ответственной за пищу, сама распределяла, кому, ослабевшему, побольше. Посмотрев на ее тонкие загорелые руки, Лех ощутил прилив раскаяния — почему раньше не оценил, какая она. Ведь только были знакомые, больше ничего.

Микки ухмыльнулся: выдержим, мол.

Макгиннес, самый слабый из всех, откашлялся.

— Пройти возможно. Вообще-то с джунглями так: могут быть и врагом и другом. Я эти места знаю. Главная опасность — змеи. Есть одна маленькая, черная — укус убивает за пять минут... Если станет плохо с водой, по утрам будем слизывать росу с листьев.

В первый день прошли пятнадцать километров через заросли. Ветви кустарников протягивались, цеплялись. Стало легче, когда попадали в изреженный лес, где гигантские деревья стояли подобно колоннам храма. Но тут было сырее, нога по щиколотку увязала в гнилой листве. Микки вдруг подпрыгнул, заметался, крича, что кто-то укусил его в ступню. Все похолодели, но когда его заставили сесть, из ботинка выпал и скрылся огромный красный муравей. Ступня у механика потом вся посинела. И все



*На шестой вечер Ви вскочила с банки, шатнув их
суденышко...*

равно могли бы пройти еще километров пять, если б не Макгиннес. У него распух живот, сам он похудел и еле волочил ноги. На ночь, чтоб спастись от муравьев, забрались на большое развесистое дерево. Едва солнце село, леденящий вой раздался рядом. Лех чуть не упал со своего сука, но Макгиннес успокоил, назвал какую-то породу обезьян.

Ночь прошла так мучительно, что договорились следующий раз спать на земле. На день каждый получил два сухаря. Наткнулись на кустарники с красными ягодами. Бывший бухгалтер заверил, что они съедобны, объяснил, что вообще в джунглях можно есть то, что вкусно, а ядовиты те плоды, что горчат и жгут во рту. Пошли дальше, и Микки сорвал с дерева аппетитное матово-розовое яблочко. Макгиннес вышиб его из рук механика, сказал, что тот ослепнет, если сейчас коснется глаз. Микки потом несколько часов оттирал пальцы землей. Местность стала холмистой, туманное марево висело над лесом. Воздух был настолько горячий и влажный, что каждый вдох напоминал ингаляцию.

Видели тропинку в лесу. Пмоис сказал, что местные племена почти не затронуты цивилизацией, но, боясь компании, сотрудничают с ней.

Вечером очистили от травы поляну и легли прямо на теплую сырую землю. Спалось хорошо, но уже сильно мучил голод. Марта первая рискнула попробовать молодые побеги бамбука. Жевалось легко, но было уж слишком пресным и пахло землей. Из-за жары все ошалели, и Пмоис предложил двигаться ночью по звездам. Пролежали день в кустарнике и пошли, когда взошла луна. Утоляя жажду, слизывали вечернюю росу с листьев, и Леха укусил в губу жук. Съели по последнему сухарю, а идти оставалось еще около семидесяти километров только лесом.

Макгиннес слабел от часа к часу. Черные круги под глазами стали ярко-синими — будто их намалевали масляной краской. Губы поблекли, нос заострился. Его уже приходилось поддерживать, вести.

Утром он сел на траву.

— Всё. Теперь идите без меня.

Лех посоветовал ему заткнуться и сплюнул с большим трудом, потому что пересохло в глотке.

Макгиннес растегнул куртку, развязал платок, накру-

ченный на животе, и вывалил оттуда десяток сухарей. Объяснил, что уже много дней ест только четверть своей порции.

— Мне ведь все равно умирать. Я уже, когда бежали, знал, что осталось около месяца.

Все молчали. У Леха перед глазами стояла белая корбочка с красной полоской. Макгиннес попросил посадить его спиной к дереву.

— Черт с ним, умру, — и улыбнулся удовлетворенно, как будто пересилил кого-то.

Он действительно умер к вечеру. Вырыли могилу руками. Ви молча разделила сухари, их съели сразу. Через три часа на привале разговорились, вспомнили, как Макгиннес вел самолет, как держался во время шторма. Но все равно много не прошли, потому что у Пмоиса открылась дизентерия. На рассвете Микки метнулся в сторону, радостно закричал. В кустарнике тек ручей, и механик держал в руках огромную зеленую лягушку. Напились, съели лягушку сырой. Пмоиса через минуту вырвало. Он уже почти не держался на ногах. Лех взялся нести его, поднял на спину, но через десяток шагов осознал, что это не выход. Стало ясно, что без пищи им не обойтись своими силами.

Поздно ночью, двигаясь вдоль тропинки, увидели свайные дома в чаще. Лех — он как-то неожиданно для себя стал главным в группе — сказал, чтобы остальные уходили, если он не вернется через два часа. Вышел из леса на поляну. У костра сидели мужчины. Несколько пар глаз внимательно посмотрели на него, бородатого, в одежде, висящей клочьями. Он знаками показал, что хочет есть. Старик, высохший, весь увешанный амулетами, повел его к дому. Минут через двадцать девушка в одной только набедренной повязке поставила перед ним деревянное блюдо с какими-то распаренными зернами. Десяток ребячьих растрепанных голов, одна поверх другой, закрыли нижнюю половину входа. Было непонятно, как они все держатся там на узкой лестнице.

Беглецы пробыли в деревне неделю. Старик вождь дал Пмоису пожевать гладкие большие листья, и тут же у него перестал болеть желудок. (Мимо таких деревьев они сами проходили сотни раз.) Жизнь обитателей общего дома была очень наглядной. Охотились с луком, собирали плоды и корни. Ловили кабанов в сети, сплетенные из прядей коры

дерева, которое называлось «мантала». Пмоис попробовал разорвать одну ниточку и не смог. При беглецах сыграли свадьбу — жениху и невесте было лет по восемь. При них же устроили похороны — покойника подвесили на дерево в чем-то вроде плетеного кресла. Удивительно было думать, что у каждого из жителей — у хорошеньких девушек и тощих стариков — своя индивидуальная судьба, которая и начиналась и кончалась в глубине леса без всякой связи с огромным миром.

На дорогу им дали тяжелый, размером в детскую голову, слиток темно-желтой массы — пищевой концентрат. Он имел довольно неприятный запах. Когда отрезали кусок, место среза сначала было гладким, лоснящимся, но скоро покрывалось матовым налетом — это налет, собственно, и пах. Однако в целом это была необыкновенно вкусная, питательная штука.

Снова шли по лесной тропе, но уже уверенно. Однажды Руди предостерегающе поднял руку. Через заросли тянулась лента битумного шоссе. Послышался шум, все присели в кустах. Проехал открытый автомобиль с солдатами в тропических шлемах. Беглецы находились теперь во владениях компании, следовало удвоить осторожность. Еще три часа пути, и джунгли кончились, открылось поле, засаженное ровными кустиками.

Пмоис сорвал зубчатый лист, понюхал.

— Эквата.

— Что?

— Плантация экваты. Здесь на острове у них главные плантации... Может быть, кто хочет подойти поближе и познакомиться с представителями компании?

Все отшатнулись, посмотрели друг на друга, и как-то стало понятно, что они уже полтора месяца живут без контроля. Жутко было даже подумать о том, чтоб вернуться к прежнему состоянию.

Стали обходить плантацию, держась к востоку. Она тянулась бесконечно. На полях двигались различные агрегаты, там и здесь белели бараки-склады. Дважды видели издали мощные радарные установки. Подходил к концу полученный в деревне концентрат. Надо было что-то решать, договорились пересечь плантацию ночью.

Шагали по дороге в тумане, прислушиваясь. Через час оказались на какой-то площади. Подъехал грузовик, отту-

да высыпали солдаты, толпой пошли к баракам. Шофер задержался, проверяя скаты, увидел во мраке Леха, подозрительно окликнул. Лех громко пробормотал невнятное в ответ, независимо прошел мимо шофера, и остальные за ним. Обошлось. Было странно, что здесь так много солдат — как если бы предполагались военные действия. Пмоис объяснил, что остров является главной базой производства «усилителей». И кроме того, тут же сосредоточена служба по перехвату беглецов из Города.

Конец ночи застал их опять среди плантаций. На горизонте виднелась вторая полоса леса. От усталости потерялась из виду конечная цель пути. Оставалось только одно — непрерывно двигаться к югу.

И все-таки их схватили. Вернее, схватили Леха.

На рассвете, когда на поля стали выходить машины, шестеро поняли, что укрыться в низких редких кустах легче поодиночке. Договорились в течение суток собраться у кромки джунглей возле трех высоких пальм. Распределили груз, разошлись. Ви некоторое время следовала за Лехом. Он погрозил ей, она отстала. Лех продвигался к лесу ползком, а когда жара стала невыносимой, лег в борозде. Было душно, пахло грязью и потом, — он позавидовал зеленой мушке, прыгавшей по зубчатым листьям. В полдень близко послышался стрекот машины. Лех ящерицей метнулся в сторону, оглянувшись, увидел, что водитель в очках и шлеме смотрит на него из кабины, высокой, как штурманская рубка большого парохода.

И его взяли. Через десять минут поблизости зарывали моторы. Двое с автоматическими пистолетами подняли Леха под руки, сунули в коляску мотоцикла. Не грубо, а только равнодушно, как вещь. Повезли дорогой к лесу. Там километрах в пяти от трех высоких пальм был барачный поселок, а за ним аэродромное поле. Втолкнули в помещение без окон и мебели. Только пол, стены и потолок — все сделанное из пластика, не прозрачного, но пропускающего свет. Рядом на разные голоса гудели машины, с аэродрома доносился вой реактивных самолетов. Вечером дверь отворилась, высокий худой офицер безразлично спросил с порога:

— Где остальные?

Еще когда везли в мотоцикле, Лех почувствовал ужасную слабость. Потом упадок сил увеличился. Особенно рев

самолетов за стенкой заставил ощутить, как слабы они шестеро по сравнению с всемогущей безликой компанией. Но вопрос офицера в черном неожиданно все перевернул в нем. Черт с ним, пусть замучают до смерти, но про остальных он ни слова не скажет. Лех вдруг понял героев революции, богатырей духа и фанатиков, которые под пытками выплевывали в лицо мучителям свое «Нет!». Даже радостно стало на миг — ну пусть скорее приступают к нему с раскаленным железом или еще с чем угодно. Все, перенесенное в дни побега — аэродром, когда они еле ушли от преследователей, шторм, расстрелянная яхта, смерть Макгиннеса, — все-все было на его стороне.

Офицеру, вероятно, было не впервые сталкиваться с таким упорством. Он понял взгляд Леха сразу, отступил, захлопнул дверь. Стены помещения потемнели — зашло солнце. Лех не ел целый день, не пил. За ночь несколько раз забывался короткими снами. Уже кончались сутки, в течение которых друзья должны были ждать его возле тех пальм.

Утром дверь опять распахнулась. Тот же высокий в форме — за спиной три автоматчика — сказал: «выходить». Пошли к аэродрому, и Лех подумал на миг, что его собираются отвезти обратно. Но офицер, молча возглавлявший шествие, повернул к пустырям. Вскоре позади остались бараки и стоящие на стартовых дорожках самолеты. Пахло гниением, земля была в ямах и рытвинах. Солдаты шли, не произнося ни слова. Уже начинались кустарники. Офицер пропустил Леха вперед, скомандовал положить руки на затылок. Еще сильнее запахло гнилью.

— Стой!

Лех оглянулся и увидел, что охранники снимают со спины автоматы.

— Стань на колени.

Он спросил в изумлении:

— Слушайте, неужели вы хотите меня тут расстрелять?

— Руки! — крикнул высокий.

Потом Лех не сумел связно рассказать своим, как это произошло. Смутно помнил, что все возмутилось в нем. Он ведь был готов к смерти, но мученической, геройской, а не такой равнодушной. Прыгнул вперед, пробежал несколько шагов, свалился в ров. Очередь просви-

стела над головой, а затем солдаты и офицер погнались за ним. Это его и спасло — что они больше не стреляли. Метнулся в серо-зеленую пыльную гущу кустарников, пропорол ее насквозь, как кабан. Резко свернул, бросился в новую заросль, густую, едва пробиваемую, и затих. Преследователи подбежали, офицер, сразу потерявший свою презрительную хладнокровность, оказался рядом.

Даже не интуитивно теперь, а с полным сознанием того, что делает, Лех нашарил комок сухой земли, осторожно занес руку, бросил. Земля, рассыпаясь, прошелестела по листьям в десятке шагов от него. Тотчас солдаты принялись палить в то место, поливать кустарник очередями. В этом грохоте он отступил дальше в кусты, а когда стихло, повторил свой фокус. Ему сделалось как-то злобно-весело — неужели это он сам, недавний безвольный человек, у которого все валялось из рук, способен мгновенными решениями менять на годы вперед свою судьбу? Быть таким, о которых пишут в книгах?

Стреляли солдаты, черный офицер ругался, а Лех уходил все дальше. К вечеру выбрался на поляну возле трех палым. Одинокая фигурка поднялась навстречу — Ви.

— А другие?.. Ушли?

— Спят.

Опять все смотрели друг на друга. Поджарые стали, подсохшие. Но руки у Руди, когда он на радостях обнял Леха, были как стальные. Казалось, брось любого хоть в центр безбрежных песков, не пропадет, выживет.

Расстелили карту, призадумались. Выходило еще километров двести пустыни до противоположного берега, а им не во что было даже запасти воду.

Неподалеку по шоссе прокатила машина. Микки сказал:

— А если нам захватить автомобиль.

Они захватили мотоцикл — при этом погиб Руди — и еще через двое суток с приключениями добрались к прибрежным джунглям. Вышли на берег. Катили могучие валы, солнце не обжигало, как в пустыне, а грело. Летели чайки, и белый блеск их крыльев смешивался с белизной пенных гребней. В четырехстах милях лежали за всхолмленной равниной вод Удатские острова, и грозной победной музыкой звучал в ушах беглецов непрекращающийся грохот идущего в наступление прибоя.

Четыре дня строили плот. Питались моллюсками в раковинах. Микки сделал удочку из нитей манталы.

За прибрежной чертой кончалась власть компании, ее самолеты не могли летать дальше к югу. Все же, чтоб не рисковать, отплыли ночью. Поставили парус, и дующий с суши ветер к утру оставил между ними и береговой полосой двадцать миль. Так разительно непохож был на первые дни плавания в яхте этот второй морской переход. Тогда море казалось однообразным, пустым. Думалось, что если там внизу в черном холоде и есть жизнь, то все равно она низшая, скользкая, бессмысленная, чуждая человеку. Теперь же они ощущали себя частицей океана, всей земли, и завораживающе интересным был ход тунцов в теплых струях, копанье рачков на водоросли, наплеснувшейся через бревно плота, и просто цвет воды — то зеленоватой, то синей, меняющей оттенки с каждой фазой дня. Но главное состояло в том, что они плыли вместе — пятеро уверенных, что любой отдаст жизнь за остальных. Дышалось вольно, они чувствовали себя выздоравливающими. Вечерами, лежа на спине, Лех прислушивался к разговору волн, скрипу мачты, ощущал, как проходят через него какие-то «надматериальные вздохи Вселенной». Хотелось, чтоб душа была без дна, способной вместить и дружбу к товарищам, и чувства рыбы, проходящей под ними в глубине, и титанические пульсации сверхзвезд где-то в тех космических далях, куда и мысль достигает лишь едва-едва. Порой жутко делалось, когда задавался вопросом, кем стал бы теперь он в городе при всех «энергинах» и «усилителях», не спутай его тогда Микки с Макгиннесом. Тревожно, страшно было спрашивать себя об этом.

Доплыли до Удатских островов незаметно. Вечером на веслах подошли к берегу. Бронзовый атлет появился на пляже, назвался Гвином Сойером. Пожал руки, без всяких предисловий сказал:

— Вот там, наверху, за мысом, можете поставить дом. Я покажу. На первых порах у нас никакой помощи не полагаются, только даем инструменты... Вообще выживают те, кто работает. Потом, когда сами станете на ноги, вас позвуют.

Станут ли они на ноги?.. Не было смысла обсуждать это. Они даже не переглянулись. Просто молча стояли, ждали, что он скажет еще.

...Прошел год.

Лех спускался с обрыва к морю. Было воскресенье, день отдыха. Он обещал Ви набрать жемчужниц и, кроме того, намеревался посмотреть одно интересное место на дне лагуны.

Кончалось время прилива, но вода еще шла в проход между рифами. Прыгнув в воду, он поплыл, часто поднимая голову, чтоб осматриваться. Когда он опускал ее, становилось видно дно. Солнечный свет рассеивался под водой, предметы не отбрасывали тени. Все становилось радужным, сверкающим, трепещущим. Белые морские уточки шевелили жабрами среди водорослей, неторопливо передвигались в песке морские звезды. У входа в подводную пещеру Лех заметил большого губана. Он знал эту рыбу, она тоже знала его и не боялась. Уже близились рифы, стало глубже, дно исчезло в голубоватом мерцании. Леху хотелось проверить одну свою мысль, он нырнул, сильно работая ногами и руками. Так оно и было. Из лагуны в океан текла по дну песчаная река. Широкая, она струилась силой собственной тяжести, а не влекомая водой: вода сейчас во время прилива, наоборот, отталкивала ее назад.

За рифами уже приходилось быть настороже. Все кипело кругом, волны с силой бросались на коралловые стены. Лех поплыл дальше, ныряя время от времени. Внизу песчаная река поворачивала к океану, становилась шире, мощнее. Отплыв на полкилометра от рифа, Лех набрал побольше воздуха в легкие и погрузился еще раз. Здесь был край шельфа, дно уступом уходило в темную бездну, и туда же падал песчаный водопад. Лех подумал, что на суше не может быть такого. Песок тек бы и скоро стек весь, а тут его массы были включены в вечное движение течений, ветров, Земли вокруг своей оси, планеты вокруг Солнца и даже, наверное, самого Солнца вокруг чего-нибудь еще. Песок пульсировал, всплескивался, как бы дымил — невозможно было представить себе неисчислимость песчинок, кативших в пропасть.

Обломок коралловой скалы вдруг снялся со дна и стал косо подниматься. Реакция мгновенно сработала в Лехе, он напрягся, но затем сразу расслабился. То плыла черепаха, двухметровый самец, чей панцирь оброс моллюсками и ракообразными. Увидев человека, животное не обнару-

жило страха. Они достигли поверхности одновременно. Волны качали обоих. Лех осторожно приблизился к гиганту. Черепаха важно и близоруко смотрела на него, поводя большой головой. Черные плечи животного подались вперед, как бы намереваясь выбраться из тесных лат, через несколько секунд вдвинулись обратно, и Лех понял, что черепаха так дышит. Полюбовавшись, он поплыл вдоль рифов, затем оглянулся и увидел, что теперь не один. Черепаха следовала за ним. Он взял мористее, еще раз обернулся. Черепаха не отставала.

Внезапно он ощутил неприятное жжение под мышками. В нескольких метрах от него полупрозрачные белесые ленты тянулись из глубины. Внизу был виден и медленно поднимающийся владелец этих длинных рук — студенистый шар с ярко-красным гребнем.

Тропическая медуза. Физалия!

Он дернулся назад, оглянулся. Черепаха исчезла, а за его спиной колыхалась новая гроздь щупальцев. Стало жечь и за ушами — он понял, что яд проникает в воду. Надо было выбираться, но, глянув в сторону берега, Лех увидел, что все пространство между ним и рифами покрылось рядами красных гребней. Щупальца ближайшей медузы, колеблемые ветром, приближались. Лех попробовал оттолкнуть одно ножом. Охотно, не оказывая сопротивления, оно развалилось, и через полминуты уже несколько кусков плавало возле него. А все новые и новые животные поднимались со дна. Он попал в центр огромного скопища физалий. Все кругом пестрело красными и синими гребнями, и от каждого уходили вниз щупальца, как стропы парашюта.

Чесалось все тело. Он уже не пытался отталкивать немолимо приближающиеся ленты, понимая, что отдельные куски, ничем не связанные, становятся еще опаснее. В отчаянии набрал воздуха и пошел отвесно ко дну, как в узкий колодец. Щупальца кончились, он поплыл под зеленой бахромой, через минуту почувствовал, что больше не может, ринулся вверх. Качались кровавые гребни, до края скопища было далеко, и этот путь уводил все дальше от берега. Но выбирать было не из чего. Лех нырял, судорожно проплывал несколько десятков метров под смертоносными стропами, выныривал по колеблющимся туннелям и снова погружался. Наконец гребни стали редеть на поверхности, он отплыл еще мористее и лег на спину отдохнуть.

Солнце шло к зениту, ему пришло в голову, что уже вовсю идет отлив, которого он не сумеет преодолеть.

Высунулся сколько мог из воды, дождался, пока его взнесло на гребень, и увидел... только гладкую стену ближайшего водяного вала. Его уже слишком далеко унесло от острова. Снова и снова он поднимался на волнах и только единственный раз смог уловить на горизонте тонкую исчезающую полоску. Тогда он понял, что погибнет, но эта мысль не вызвала у него страха. Ну ладно, подумал он, ведь это не означает конца всего и всех. Будут жить его товарищи. У Ви родится сын. Поселок расширится, станет городом. И никогда-никогда у них не получится так, что машины отберут у человека труд и ему нечем будет заниматься на земле. И никогда они не позволят одним губить, оглуплять «усилителями» других, подменяя жизнь пустыми снами... Ему стало теплее при мысли, что друзья сегодня еще не начнут беспокоиться о нем. Просто решат, что он задержался у приятеля, и горькое понимание случившегося придет к ним только через восемнадцать — двадцать часов.

Журчала вода, круг неба простирался над его головой — синего в центре, голубеющего по краям. Его вдруг осенило: не будет ли это предательством, если он сдастся просто так. Конечно, шансы на спасение ничтожны, равны нулю. Но бесчестно по отношению к Ви, Пмоису и тем другим, не дошедшим, бросить себя полностью на волю волн. Если он станет плыть к острову все время, что длится отлив, его все же отнесет не так далеко.

Страшно сделалось при мысли об отчаянной борьбе, которой будут заполнены последние часы его жизни. Но делать было нечего. Лех глубоко вздохнул несколько раз, перевернулся на живот и поплыл брассом, экономя силы, делая мощный толчок ногами и подолгу скользя. Однако как он ни старался не напрягаться, через час начали болеть плечи, и каждый новый гребок руками давался все труднее.

Однообразно накатывали водяные валы, несоизмеримыми с их мощью казались собственные усилия. Он заставил себя думать о другом, принялся вспоминать последнюю встречу с тигриным и то, как они двигались через пустыню, захватив мотоцикл.

Тогда главную трудность составило то, что по обоим

сторонам дороги джунгли были расчищены и негде было спрятаться. Они положили Микки на повороте, чтоб он свистел, когда покажется машина с одним, не более, пассажиром. Сами легли метрах в ста от механика, а напротив, в канавке, притаилась Ви. Увидев подходящий объект, Микки должен был дать сигнал, и предполагалось, что Ви встанет и поднимет руку. Трижды проходили машины, Микки не свистел. Оказалось, что свиста просто не было слышно. Тогда все передвинулись ближе к механику. Совсем стемнело, взошла луна, машины как вымерли. В мучительном напряжении прошел час, и только на исходе второго механик дал сигнал. Ви мгновенно встала. Одинокaя фара показалась из-за поворота, мотоцикл остановился, двое в черной одежде повернулись к Ви. И в тот же миг Лех, подбежав, покотился по земле вместе с пассажиром из коляски. Он уже начал одолевaть и вдруг при тусклом свете луны увидел продолговатые глаза с точечкой-зрачком. Он, тигриный!.. И очутился внизу. Мужчинa, держа его за горло, второй рукой рвал с пояса пистолет. Лех кулаком — откуда такая сила взялась — ударил его в висок. Тот охнул, осел. Лех схватил камень с земли, принялся молотить. И это было возмездие, конец того пути, который начался еще в городе на площади, тянулся через океан, усталость, боль, голод. Как будто сошлись две разные линии жизни — обе под током — и произошла вспышка...

Большая волна захлестнула Леха, он захлебнулся, вынырнул, отфыркиваясь, и подумал: а все-таки плыву. Солнце переместилось назад, за затылок. Не чувствовались ни руки, ни ноги, и не мускульного, а волевого усилия требовали гребки. Мышцам стало легко, но ужасно, непереносимо трудно сделалось в уме приказывать себе плыть дальше. Опять он заставил себя отвлечься, принялся вспоминать прошлое.

...Они бредут по пустыне уже второй день. Местность повышается к югу, начинаются барханы. Если кто-нибудь останавливается на подъеме, бесшумно движущийся песок быстро и неумолимо засыпает до бедер. У Леха непрерывно стучит в висках от жары. Еще раньше Пмоис настоял на том, чтоб взять с собой большой кусок брезента из коляски сломавшегося мотоцикла — для паруса. Теперь они решают бросить его, но Марта поднимает и несет. До океана тридцать километров, но Пмоис не позволяет отдох-

нуть — еще двадцать четыре часа без воды прикончат их. Уже не стучит, а грохочет в висках. С вершины бархана открывается следующий, и нет ничего, кроме песка, яростного неба и безжалостного солнца. Лех бредет как в полусне и не сразу понимает, отчего все закричали и заторопились. Поднимает голову, видит впереди голубоватую поверхность воды. Все пятеро бегут к озеру, но оно отодвигается и исчезает. Мираж! Потом такие озера мучают их через каждые полчаса. Порой на берегу можно различить даже птичьи следы, кромку пуха, черную твердую корочку там, где песок был мокрым и высох. Подходишь ближе, и опять пустыня. В шесть вечера все, не сговариваясь, ложатся на песок. Неподалеку голубеет миражное озерко. Марта встает, шатаясь, бредет к нему. Пмоис кричит, чтоб она не тратила сил, Марта нагибается, и остальные не верят глазам, когда брызги сверкают на солнце, и она поворачивает к ним ошеломленное влажное лицо...

Он очнулся от воспоминаний. Вдруг понял, что уже не плывет, и испугался этого. Но через мгновение сообразил, что плывет. Тень мелькнула под ним, рядом всплыла акула. Стала делать круги, он видел ее морду со странной косой складкой у пасти. Исчезла акула — он даже не обрадовался. Принялся считать гребки, досчитал до трехсотого, сбился.

Изменился цвет воды. Слитная, колеблющаяся гигантская масса океана под ним сделалась гуще, непреодолимее. Солнце было уже далеко сзади. Когда очередная волна, догоняя, поднимала Леха, длинная тень протягивалась от его головы вперед.

Когда в привычном плеске воды вдруг послышалось новое, он не сразу осознал, что это. Его мощно взнесло наверх — совсем близко протянулась белая полоса пены на рифах.

Выбрался на берег, сразу его охватила теплота утомленного дня. С каждым шагом шум океана становился спокойнее, глуше. Глазастые крабы прыгали из-под ног. Твердым, неколебимо безопасным был нагретый крупный песок под ступней. Бабочки кружились у самого лица. Пошатываясь, Лех прошел сквозь пальмовую рощу, поднялся тропинкой на обрыв и дальше, дальше, мимо поля, где в предвечерней тишине дремали стебли саго, бросая ломкую тень на серо-фиолетовые комья земли.

У дома на поляне, утомленные, спали Пмоис, Марта и Микки. И Ви на веранде, положив на доски циновку. Лех сел рядом.

Внезапно его осенило — выдержал! Плыл около десяти часов без пищи и отдыха.

Он почувствовал прилив гордости, вытянул руку, любуясь ею. Нетолстая она была, но все мышцы отчетливо выделялись под кожей. Подумалось, что, возможно, в будущем люди выучатся совсем в одиночку и тысячи миль проходить в океане. Спать на волнах, питаться моллюсками, ориентироваться по звездам.

Скалы, поросшие зеленью, уходили перед ним вниз. Верхушки пальм на берегу виделись отсюда, как кустарник. Высоко стоял необъятный горизонт, и море было ярко-синим, словно в детстве на переводной картинке.

Лех погладил плечо Ви. Усталость овладела им наконец. Он счастливо вздохнул, думая о том, что завтра с утра так бесконечно много дел, что надо будет рано подняться. Прилег, заснул. И проснулся.

Он проснулся. В зале стучали креслами, стоял общий ровный шорох. Полный господин с начесанными от уха рыжими прядями вытирал платком вспотевшее лицо.

Ви повернулась к Леху.

— Ну, как ты? Хорошо было, да?

У него в ушах звучала, стихая, странная мелодия. Аккорд, и проваливается в небытие остров с пальмами. Аккорд, и пропадает море... Он помотал головой. Ну да, все правильно.

Опустив голову, стараясь ни с кем не встретиться взглядом, выходили из зала люди.

— А ты что — раньше проснулась?

Ви непринужденно пожала плечами.

— Я?.. Нет. Только, может быть, на одну минуту. Я проснулась, а потом сразу ты.

Они стали выбираться из ряда. Служитель на выходе проникновенно попрощался:

— Всего хорошего.

Тут не говорили «До свидания» или «До завтра». Но и

так было понятно, что не «до послезавтра». Кто начал ходить, уже не пропускает.

Над городом вечерело. Почти весь день был скинут, до сна оставалось немного. Резко очерченные прямоугольные громады домов врезались в желтеющее небо. Все было раздерганным, как-то поодиночке существующим, ни с чем другим не связанным. Асфальт отдельно, бетон тоже. Неизвестно откуда тянулись провода, неизвестно куда уходили улицы. Пряча лицо со страшными лилово-черными кругами под глазами, прошел бывший бухгалтер «Ринкфармакопей» Макгиннес.

Шуршали подошвы прохожих. Заходящее солнце било Леху и Ви в глаза, в его лучах поднимались пыль и автомобильные испарения. На прямоугольных скамьях вдоль домов сидели, уставившись перед собой, люди.

Леха и Ви обогнала высокая дама с голубыми волосами — он дважды виделся с ней на приемах у Скрунтов. Мартой, кажется, ее звали.

Она задела Леха плечом, извинилась, сделав вид, будто не узнала. Пошагала дальше, глядя вниз, крупная, замкнутая, отгородившая от всех свою мечту и свою трагедию. Пошла погибать в одиночку. И это была та самая Марта, с которой они делили сухари, та, что подобрала и понесла в пустыне брезент. То есть понесла бы, если б была возможность. Вся и беда-то, что нет этой возможности. Не в чем проявить себя. Люди стали бы добрыми, сильными, умными, ловкими, но только куда денешься, когда возможности нет.

Ви откашлялась.

— Что у тебя было сегодня?

— У меня?.. Так. Остров. Как будто мы бежали туда... А у тебя?

Она оживилась.

— Знаешь, что ты ученый. Что живем с тобой в маленькой квартирке, тесной, темной. И ты что-то создаешь, как в старинных романах. А я хожу куда-то зарабатывать, стирать. Такая страна, что машин нету. Готовлю дома, почти ничего сама не ем, все тебе. А ты и не замечаешь меня, все думаешь о своем, высчитываешь... Так чудесно было.

Он кивнул. Еще бы — работать, быть увлеченным, занятым, непризнанным. И, конечно, Ви ему все отдавала бы, сама не ела... Удивительно, что они там, на Вокзале, уме-

ют транслировать людям самое желанное. Видимо, поэтому предприятие и процветает. С каждым днем народу ходит все больше, хотя дорого. Просто они делают так, что людям снится, будто они живут настоящей жизнью, и самое прекрасное в ней — тяжелая работа, голод, лишения. Пожалуй, фирма и вправду попала в точку. Возможно, человеку, чтоб быть человеком, как раз нужны страдания и боль... Но, может быть, это и не так. Не особенно-то поймешь. Не такие мозги нужно иметь, чтоб разобраться. Не такую голову, как у него, у Леха.

— И чем же это все кончилось?

— Что?

— Ну, когда я ученый.

— Кончилось? — Голос у Ви был беззаботный, но с какой-то трещинкой. — Да ничем. Так, в общем, все и было.

Он насторожился. Обычно у них кончается чем-нибудь определенным.

Они вышли к саду. Всё так же сидели там старики и молодые. Ну конечно. Именно оттого, что там внизу, в Подземном Городе, с такой скоростью вращаются колеса, здесь бездельно, бессильно лежат на коленях ослабевшие руки... На площади неподалеку от табачного автомата стоял человек в синем, как налитом на него костюме. Он в упор смотрел на приближающихся Леха и Ви желтоватыми глазами со зрачком-точкой. Но не тигриный был у него взгляд, а пустой.

У Ви совсем опустили плечи.

— Между прочим, забыла тебе сказать. Гвин Соьер развелся с женой. Помнишь, мой троюродный племянник. Правда, он уже совсем докатился, почти не просыпается.

Лех кивнул... Интересно, как это у них получается на Вокзале. Видимо, начинают гипнотизировать сразу, когда ты сел в кресло. Нервный подъем, а потом кажется, будто знаешь людей, которые бежали через Вокзал. Хотя на самом деле ничего такого не было... А убежать бы в действительности. Хотя они уже один раз пробовали с Ви. Взяли билеты, сели в трейн, выехали из города. Кругом квадраты с серой пленкой, непонятные машины. Постояли, посмотрели и обратно. Все кому-то принадлежит, все для чего-то предназначено. Никто их не преследовал, зачем? Сами как миленькие заторопились домой, к «усилителям» и кнопкам. Так уж сложилось, что без этого они не могут.

Видимо, в жизни каждому определено место, каждый должен сидеть там, куда попал. Маленькая группа живет и действует, а остальных поставили, словно пустые ящики, и транслируют через них придуманные страсти, конфликты и борьбу. Получается, что раз уж кто-то захотел зарабатывать на их несчастье, так тому и быть.

Ви вяло встрепенулась.

— А как Чисон живет? Ты его не видел в последнее время?

— Нет. Уже неделю ему звоню, он трубку не поднимает. Не ходит теперь на Вокзал, всё читает книги.

— Знаешь, у меня стиральная машина испортилась и я сегодня кофточку сама постирала. Руками. Но только она не выстиралась, расползлась.

— Ты мне уже об этом говорила. И про Чисона тоже спрашивала.— Он посмотрел на нее внимательно. Что-то у нее случилось, у Ви.

Он остановился.

— Слушай, у тебя, наверное, деньги кончаются? Ты сегодня брала билет на меньший срок, чем я?

Ви закусил губу, глаза у нее наполнились слезами. Да, действительно, у нее кончаются деньги. Билет придется брать совсем ненадолго. Это уже давно так. Они познакомились полгода назад, и вот уж два месяца, как она все высчитала и поняла, что больше, чем на десять минут, ей нельзя покупать. Так что остальное время она сидит и просто смотрит на Леха. Хорошо еще, что администрация пока разрешает.

Он нахмурил брови, беспомощно оглядываясь.

Ви достала из сумочки зеркальце, носовой платок.

— Знаешь, я иногда даже думаю — вот эта компания, которая «усилители» продает. Что она станет делать, когда у людей кончатся все деньги? Наверное, сами начнут применять свои средства и погибнут, как мы.— Она вытерла глаза и убрала платочек.— Я тебя хочу попросить. Когда совсем не смогу ходить на Вокзал, ты там в мечтах представляй, что я с тобой. Хорошо?.. А мне уж придется сидеть в саду.

Он промолчал. О господи, ну почему жизнь сделалась именно такой?! Еще двести — триста лет назад, если верить книгам, так удивительно было. Аисты углом летят в небесной голубизне, землепашец, подняв голову, следит за

их полетом. Светит солнце, в пустой церкви органист играет хорал, а у берега на волне поднимает белые паруса корабль. Качнулся морской горизонт, птица распростерла крылья, и все это куда-то зовет, стремится... Но куда, к чему? К тому, куда приехали мы — вывеска «Ринкфармакопей» и сад, где сидят безнадежно одинокие.

Ви вздохнула, затем насильственно улыбнулась.

— Не расстраивайся. Это шутка. Я тебе соврала, честное слово. Деньги у меня еще есть. Кроме того, мы ведь всегда можем бросить Вокзал. Мы еще не совсем на крючке, как другие. У нас и своя жизнь есть. Например, встречаемся с тобой... И вообще...

Ужасно жалобно прозвучало это «вообще».

Лех взял ее под руку, и они пошли дальше.

И вот они идут. Уже пал вечер. Зажглись огни реклам, все вертится и мигает на стенах. Пронесются машины, оглушающе грохочет механическая музыка. Улица представляется им странной, чужой. Необъяснимы предметы и явления, непостижимы силы, управляющие всем этим. Маленькие люди, Лех и Ви, в большом сложном мире. Но ведь и они жаждут настоящей жизни и, может быть, даже достойны ее.

Внезапно Леху приходит в голову, что не все так беспочвенно в его последнем сне. Искаженно, но он отражает реальность. Пусть нет черного офицера, который вел его на расстрел. Но все равно на дальнем конце цепочки и сейчас сидит кто-то живой, существующий, решивший заработать на чужом горе, сказавший себе: «Я вот так, а на остальных плевать». И неправильно, будто человеческое проявляется только в страданиях. Нет. Людям снятся лишения не потому, что именно нищеты и несчастий им хочется. Тут другое. Люди мечтают бороться за большое, иметь цель. Они хотят проявлять все свои способности, осуществляя человеческое право на улучшение мира, в котором живут.

Лех стискивает зубы. Он уже читал это у какого-то философа: наверное, первый шаг к потере самостоятельности, к опасности был сделан, когда люди научились грамоте. Затем второй шаг — промышленная революция, в ходе которой машины взяли на себя физический труд. А теперь совершилась и научная революция, когда машины стали считать и думать, и все это будто бы очень плохо,

Но с другой стороны, разве возможно для человечества оставаться вечно с каменным топором в руках? Может быть, не машины виноваты, ведь есть же страны, где они не пугают людей. Скорее, дело в том, что обществу наживы некуда дальше идти, оно изживает себя. Когда-то оно годилось «каждый сам за себя». Но теперь это губительно. Уже нельзя не думать о счастье других, иначе могущественные силы экономики опять низведут человека в положение раба природы, но только другой, механической, машинной.

Лех сжимает кулаки и оглядывается. Он вспоминает испугавший его утренний голос по радио, разговоры о «сокрушителях» и то, как странно ведет себя последнее время Чисон. Конечно, уже наступает кризис. Надо обязательно найти тех, кто хочет протестовать и бороться. Успеть объединить их, пока еще не поздно и сам он с Ви еще не погиб.



СПАСТИ ДЕКАБРА!

Снизу приглушенно доносились крики и кашель слонов-черов. Вернее, не совсем снизу. Просто звукоискатель-автомат, бесцельно шаривший вокруг, поймал этот шум и донес сюда, в прозрачную просторную кабину, на стометровую высоту.

Андрей, не вставая, протянул руку, тронул рычажок под микрофоном, и звук чуть стих.

Все было в порядке.

Венерианское вечеряющее небо бескрайним куполом стояло над головой. В зените оно было белесо-зеленым — того нездорового оттенка, который впервые отметили здесь около пятидесяти лет назад. К западу зеленый переходил в белесо-синеватый, затем синий, фиолетовый и, наконец, над самым хребтом Эйнштейна, в пурпурный. Солнце скрылось за гигантской неподвижной тучей, его лучи кое-где радужно пробивали плотные карминные массы, вырывая внизу из полумрака отдельные склоны и пики горной системы, голые, безжизненные. Было чуть туманно, в воздухе стояла тяжесть. Атмосфера расположилась в несколько этажей и так застыла. Казалось, эту неподвижность можно даже потрогать рукой.

Рельеф внизу выглядел как жеваная, мятая, темная бумага. Только поверхность озера в пяти километрах от Центра отражала небо, была светлой, напоминая жидкий, застывающий металл из домны — яркое пятно среди чересполосицы, среди окаменевшей сумятицы провалов и возвышений.

Все было в порядке вокруг, и все равно ощущение тревоги не покидало Андрея. Предчувствие надвигающейся беды. Страх, который тем сильнее, чем меньше для него логических оснований. Дежурный подумал, что так могло быть, вероятно, у солдат во время войны: фронт замер, ни выстрела, ничего не известно, но тишина предвещает...

Он опять осмотрелся.

Ожидалось, правда, землетрясение, но Центр был готов к нему. Система блоков, талей, стрел, тысячетонные (и такие легкие на вид) ажурные конструкции сбалансировали бы так, чтоб оставить в неприкосновенности и научные, и жилые, и производственные блоки. Центр выдержал тут уже десятки сбросов.

Впрочем, и разрушья Центр, это не имело бы большого значения. Он был брошен, не нужен, так же как и другие центры и опустевшие города. Люди ушли, покинули планету, и только два человека оставались пока здесь. Он сам, Андрей, и Вост (второй дежурный). Лишь они двое и погибли бы на Венере, вспучись она землетрясениями вся сразу. Но такого-то не могло быть.

Андрей посмотрел сквозь прозрачный пол на стадо слоночеров, коричневой массой расположившееся километрах в трех от него у подножия опорных башен. Слоночеры пришли, и не было силы, способной сдвинуть их теперь с места. Будут есть ползучую траву. Будут мотать тяжелой головой, выдирая стебли из почвы, проглатывая их вместе с землей, и уберутся на другое пастбище, лишь когда ни кустика не останется на этом. Хорошие звери, добрые, могучие, но с одним недостатком, который состоял в том, что они ничего не боялись. Любое животное на Земле можно перегнать с одной территории на другую, пугая его. Но со слоночерами это не действовало. Андрей знал, что, если он спустится сейчас вниз и войдет в стадо, крупные сильные существа будут поглядывать на него с любопытством, некоторые подойдут, чтоб осторожно обнюхать, но ни одно не побежит прочь. Можно махать руками, кричать, можно взорвать гранату перед самым носом слоночера, устроить пожар, и животное будет гореть, но шагу не сделает в сторону. Человек оказался бессильным перед этим спокойным, уверенным равнодушием. Если слоночеры приходили, они приходили, и всё тут. Оставалось смотреть на это, как на солнечные пятна, которые либо есть, либо нет... Когда-то слоночеры бегали, но с каждым годом они двигались всё медленнее. Главный дежурный не застал той прежней эпохи. Он был знаком лишь с рассказами первых исследователей планеты, с описаниями могучего прекрасного бега огромных стад. Он никогда не слышал и трубного звука, похожего на пение органа, которым вожак поднимал своих сородичей. Слоночеры делались всё более вялыми, они мельчали, какие-то болезни убивали их, а топот неисчислимых стад и органное пение ушли в прошлое вместе с лесами, которые когда-то покрывали горы вокруг.

Андрей вздохнул: может быть, и не тревога терзает его. Просто тоска. Вот пришли слоночеры, съедят в окрестности всю траву — без остатка, невосполнимо, так, что она уже никогда не будет расти здесь. А потом потянутся дальше, оставив мертвых и больных. Побредут, чтоб в другом месте тоже вытравить пастбище и еще сократить то пространство, на котором только и могут существовать.

Но ведь слоночеры появились вчера, а тогда это не повергло его в уныние. Наоборот, с интересом следил, как

они приближаются. Стадо выходило из-за холмов над озером. Животные появлялись по одному, двигаясь гуськом в узком проходе, — темные пятна, как бусинки, нанизанные на объединяющую их голубоватую ниточку тени. В бинокль можно было разглядеть каждое подробно. Вожак, гордый зверь, вышел первым в долину. Он покачивался, осматриваясь, переступал с ноги на ногу в своем непробиваемом роговом панцире, сочленения которого заставляли вспомнить о средневековых рыцарских латах. Подошли другие вожаки, казалось, они совещаются. И потом все двинулись к башенным опорам Центра...

Андрей вздрогнул. Страх снова волной прокатил по груди. Что за дьяволыщина?!

Он протянул руку, передвинул рычажок на панели.

— Вост...

— Что?

Ответ пришел мгновенно, будто Вост знал, что главный дежурный сейчас обратится к нему, и ждал,

— Что ты делаешь?

— Ничего... Слушаю слоночеров.

Голос был рядом, как если б Вост сидел тут в двух шагах от Андрея, а не в километре от него, в такой же прозрачной кабине.

— Скажи, тебе страшно?

— Да. Тебе тоже?

— Ага. Может быть, так и должно — от одиночества. Как представишь себе: крикни, и звук так пойдет и пойдет над черными пустынями, и никто не услышит.

— Да брось ты! И так тоска... — Вост помолчал, а потом добавил: — В общем, мне тоже страшно не так, как бывает перед землетрясением. По-другому... Ну ладно, подождем.

Андрей кивнул, хотя Вост не мог этого видеть. Передвинул рычажок в прежнее положение. Затем повернулся в кресле и включил Книгу Погибших.

По-настоящему то была не книга, а магнитофонная запись. Полстолетия назад потерпела аварию экспедиция «Юпитер-1». Корабль должен был сделать облет планеты, но оказался втянутым в гигантский газовый шар. С самого начала три члена команды понимали, что от рокового мгновения, когда изменилась орбита полета, им остается считанный срок. Они летели навстречу гибели, им предстояло долго лететь, Некого было винить в случившемся,

они никого не винили. Молодые, полные энергии, трое были обречены, человеческая помощь не могла дотянуться до них через миллионы километров черного космического вакуума. Трое оказались один на один с равнодушным мирозданием, и эти последние недели они наговаривали свои мысли на пленку, транслируя наобум. У них прервалась связь с Землей — радиационный экран «Юпитера» не пропускал. Они не знали, дойдет ли что-нибудь до людей. Но автоматическая станция на Ганимеде поймала большую часть передач, и так Книга Погибших вошла в мировой фонд классики.

Спокойно, непретенциозно, понимая, что сказанное уже никак не повлияет на их собственную судьбу, трое — с той, окончательно объективной стороны, из-за грани — говорили о судьбах человечества. Андрей особенно любил Третьего — члены погибшей команды не поставили имен под своими текстами, и, хотя позже анализ показал, что кому именно принадлежит, записи были изданы так, как сделаны.

Чуть глуховатый голос диктора-чтеца заполнил кабину. «...Сегодня двенадцатые сутки. Сделали расчет, и ясно, что осталось еще восемнадцать. Если, конечно, ничего не случится раньше. Каждый тут же подумал, что лучше, если б раньше и внезапно, но все промолчали. Вообще, я жалею теперь о нашем решении не обсуждать проблему смерти, вовсе не упоминать о ней. Сгоряча мы взяли на себя этот обет, теперь он гнетет, как всякая догма. Приходится притворяться, будто мы не думаем о гибели, хотя она неизбежна. Лицемерие утомляет, но все равно каждый поглядывает на другого, думая про себя: «Уж я-то не нарушу слова, пусть лучше он»... Так или иначе, настроение «утром» в 6.00 было неважным. Прозвучали цифры, стало тихо, никак было не придумать, о чем говорить. И тут нас снова выручил наш бельчонок, Белк. Всё разрядил. Белк вспрыгнул на панель стигометра, сел, сложив на животике лапы и выставив вперед одну заднюю ногу. И стал похож на толстенького монаха-францисканца из Рабле или Шарля де Костера, который после плотного обеда лукаво размышляет о греховности всего земного. У Белка

есть очень много поз, но такой мы еще не видели. Третий показал на него, и мы все улыбнулись — ладно, пока еще живем.

Даже странно, как много он нам дает — маленький живой комочек. Присутствие зверька постоянно напоминает нам о том, что мы люди. Наверное, если бы на Земле с самого начала не было живого, кроме человека, он никогда не стал бы Человеком с большой буквы. И наоборот, час — если такой придет, — когда на нашей планете не останется живых существ, кроме людей, будет началом гибели человечества. Для понимания того, кто мы, нам нужно постоянно сравнивать себя с тем, что не есть мы.

Здесь, в бездонных глубинах космоса, особенно отчетливо понимаешь, как ценно это тончайшее, хрупкое и такое редкое образование — жизнь. Теперь, когда известно, что ее нет на Марсе, что ближайшие звезды лишены планет, мы оказываемся едва ли не одинокими во всей Вселенной. Когда-то на Земле было важным одно, когда-то — другое, но сейчас бесспорно, что главнейшее для судьбы человечества — это сумеет ли оно спасти и сохранить основной капитал, то количество видов и оттенков живого, которое мы, люди, застали, сделавшись хозяевами Солнечной системы. Вероятно, в будущем пройдут (к несчастью, запоздало) процессы над теми, кто превращал плодородные земли в пустыню, уничтожал леса, отравлял реки, гонясь за минутным успехом, и на тысячелетия вперед ограбил идущие поколения. Мне вспоминается столетней давности фотография в каком-то журнале — английский лорд-охотник в тропическом шлеме сидит на груде черепов. Ужасно! Антилопа рождается только от антилопы, носорог — только от носорога. Тут ничего не сделаешь другим путем, и если уничтожить последнюю носорожью пару, их уже никогда-никогда не будет. Они произошли от каких-нибудь бронтотериев, те, в свою очередь, от палеотапируса, и так дальше в глубь времен от самых первичных клеток живого. А ведь процесс эволюции неповторим. Даже когда гибнет великое

произведение искусства, мы можем его частично восстановить или найти похожее. Но исчезнувший отряд животных — это другое. В природе если теряешь, то навсегда.

Поэтому меня все больше беспокоит положение на Венере».

Андрей закусил губу. Он не напрасно беспокоился, тот, Третий. Человечеству пришлось пережить катастрофу, перед которой побледнели нашествие Чингис-хана и ужасы гитлеризма. Трагедию, наложившую тень на несколько поколений. Потому что с Венерой что-то не вышло.

Первые отряды застали цветущий мир. Ярko сияли небеса, ползучие травы переходили с одного склона на другой, леса медленно путешествовали, умирая в одном месте и возрождаясь в другом. Здесь все было движущимся — и растения и животные. Бродили неисчислимые стада слоночеров, сопровождаемые небольшими ласковыми копытными, похожими на земных лам. Стаи белых бабочек закрывали порой небо от горизонта до горизонта, полные живности моря плескались о континенты. Первооткрыватели прорубались сквозь чащи, выходили к берегам полноводных рек. Вернулись времена Колумба и Магеллана, дрожал в синем мареве край зубчатых зарослей: что там дальше, иди узнай! Оглушали, ошеломяли яркость красок, пьянящее изобилие всего. Травы были ошарашивающей густоты — стояли, как щетка. Временные дороги иногда прокладывали прямо по верхушкам стеблей. Лес налезал на выстроенные здания, не давая опомниться. Подобно некоему сверхорганизму живое на планете зализывало любую рану, насылая полки растений и животных на обнажившееся место. Здесь, ближе к Солнцу, чем на Земле, вечерами замирали труды на всех широтах, и умолкали люди — такими были закаты на небесах. Резко, решительно наступало серое, красное боролось и отражало, само теснимое золотым, оранжевым, красным, фиолетовым. Солнечные лучи пронзали тучи и гасли, встреченные сияниями. Час любования этой безмерной по масштабам битвой снимал любой степени усталость. Нервные выздоравливали — это было как пить сказочную живую воду. И только сначала мешали декабры. Жуткие звери, целиком уничтожившие несколько первых экспедиций, с когтями алмазной твердости, которые на бегу складывались в ко-

пыта. Свирепые, хитрые, они могли и красться и скакать. Декабр сокрушал даже металл — не могло быть речи о защитном костюме. Миллионы лет здесь между мирными слоночерами и хищником шло соревнование. Первые всё укрепляли свою роговую броню, у второго тверже становились зубы и кинжальные когти. Декабр врезался в стада спокойных гигантов, как меч, резал слабых и непроворных, прорубая те панцири, что даже и лучшие стали с трудом могли взять. Человек оказался бессильным перед этой всепобеждающей яростью. Колонистам пришлось вооружиться специальными сжигающими пистолетами. Их никто не снимал с пояса, и тогда декабров истребили так быстро, что даже не успели изучить. Да они и не поддавались исследованию — все равно что изучать молнию в тот момент, когда она на поле ударяет в тебя. А зверь как раз и бил подобно молнии. Никто не видел его иначе, как нападающим — даже фотографии сохранились лишь мертвых, сожженных декабров. Только через десятилетие, по следам и рассказам, стали исследовать их зоологию и образ жизни. Один ученый установил, что черепа декабров свидетельствовали о богатой изощренной мимической мускулатуре. Спohватились — не начало ли тут Разумного? Но нет, декабр был слишком физически специализирован, чтоб развиваться. Тупиковая ветвь, которой надлежало стигнуть через миллион, может быть, лет, уступив место чему-нибудь другому. Долго удивлялись, что все убиваемые звери — самцы. Потом обнаружилось, что ласковое животное, бродившее вместе со слоночерами, было самкой декабра. Спутала полная непохожесть — самка травоядное, а самец хищник. Маленькие ламы сами вымерли лет за пятнадцать, и опять-таки лишь позднее обратили внимание на то, что, согласно первым свидетельствам, слоночеры не обижали нежных копытных, а напротив, оберегали их в тяжеловесной гуще стад.

А поток переселенцев струился на Венеру, несмотря на трудности транспортировки. Открылся новый мир. Круг биологической жизни здесь представлялся сначала более простым, чем на Земле. Ползучая трава — побег дает новые корни в полуметре от старых, которые затем отмирают. Передвигающиеся леса и слоночеры. Конечно, было много еще всякой живности и растений, но первые три фактора выглядели основными. Далее, с годами, картина

несколько изменилась. Не то чтоб на Венере отсутствовала земная сложность, просто она была другой. Некий нервический потенциал, биорадиационная связь объединяли всё живое, и вторжение цивилизации что-то пресекло. Это не сразу заметили. Шла эпоха великого завоевания, в ходе которого не замечались мелочи. Земля сама не была еще объединена, соперничали страны и группировки стран.

И нарушилось нечто тонкое. От неведомых причин стали гибнуть слоночеры. Мор хлестал с материка на материк. Был случай, когда у моря Павлова самолет обнаружил миллионное скопище умирающих гигантов — смрад распространился на сотни километров вокруг. Трава постепенно переставала ползти, новые корни тут же уходили в почву, истощая ее. При первых исследователях стебли стеной поднимались на высоту человеческого роста, а Андрей застал только слабые кустики. Обнажались равнины и горные склоны, планета лысела на глазах. Неделями подряд дули пыльные бури, однажды засыпало целый городок. Начал меняться состав атмосферы, небо делалось белесым. Великолепные закаты ушли, жара донимала, делалась невыносимой. Сначала люди покинули экватор, затем стали уходить с умеренных поясов.

И наконец — это было при Андрее — Всемирный Совет принял решение об эвакуации. Эксперимент не удался. За шестьдесят лет было разрушено то, что создавалось на Венере в ходе пятидесяти миллионов веков, — биосфера...

А голос, нарочито безличный, незмоциональный, тек из микрофона:

«...Сегодня мы расстались с цветком африканской фиалки. Трудно установить причину его гибели. Мы прошли холодный слой атмосферы, за бортом сейчас около 200°C. В кабине жарко, с каждым днем температура повышается. Но растение было у нас под колпаком с повышенной влажностью, и ртутный столбик там ни разу не показывал выше 25°. Тем не менее листки поблекли и опустились. Цветок был с нами около двух лет, стал другом, поэтому похороны устроили торжественные. Извлекли растение из почвы со всеми корешками, положили на диск электрической печки и подвергли кремации. Второй включил что-то из Мендельсона, и под эти звуки то, что осталось

от фиалки, сгорело. Мы теперь несколько сентиментальны, пожалуй. Стало грустно. Второй сказал: «Все-таки это был смелый кусочек жизни. Как далеко он забрался».

Это верно. Мы уже в 500 000 000 километров от источника животворного света — Солнца. Сейчас кабина еще выдерживает возрастающее внешнее давление газов, кое-что мы увидим до тех пор, пока нас не сомнет. В 15.00 в третий раз попали в прозрачную освещенную зону. Фантастические пейзажи. Пары метана здесь светятся ярко — красным и коричневым. Другой свет бьет снизу, как бы из центра планеты: что там светится — неизвестно. Несколько часов неслись как в туннеле с бахромчатыми стенками, затем развернулся простор, и мы оказались над бесконечным красным морем. Внизу были пляжи, чуть седоватые, и красные волны. Слева стояла, уходя в бесконечность, коричневая стена, и у всего этого был масштаб, создававшийся облачками водорода, которые, чем ближе, тем были больше. Справа били радуги — и не одна, а несколько перекрещивающихся — и тоже подчеркивали размеры разряженности. А небо сверху висело сталактитами, которые на наших глазах превращались в руки и головы каких-то чудовищ. Одна из рук стала расти-расти, затмила радуги, дошла вниз до «моря» и рассеялась.

Жаль, что никто не увидит этого так, как увидели мы. Однако горько делается оттого, что все это бессмысленно, что массы материи и титанические движения не сознают себя, миллиарды лет не будучи оживлены ничьей оценкой. Вообще говоря, удивительны сияния, туманности, кроны далеких светил, но это мир, который в ответ на твое любопытство не выскажет своего. Все перемещается, но все мертво и равнодушно.

Снова начинаешь думать о редкости жизни. Вся Солнечная система — газ, плазма и камень, за счастливым исключением нашей родной планеты и Венеры, где на границе адских холодов создавалась пленочка жизни. Здесь, в холодном блеске равнодушных спектаклей мертвого, особенно чув-

ствуешь случайность ее порождения. Миллионы чудес миллиарды раз должны были свершиться, чтоб сформировался какой-нибудь жучок, и мы до сих пор еще не знаем, чему нас могут научить тончайшие сбалансированные структуры этого существа.

Через три часа тьма опять поглотила нас, я поздравил бельчонка — он ткнулся носом мне в руку. Да, недаром в эпоху Великих Открытий в дальнейшее плавание обязательно брали собаку. Паруса она не могла убирать, но чему-то важному помогала. У человека разум, у животного другое, но без этого другого Земля и Вселенная были бы пустее, скучнее, безнадежнее. И вообще развитие живого зависит, видимо, от живой среды, от того биохимического, электрорадиационного и, в конечном счете, нравственного обмена, который идет между различными видами существ...

А до конца нам осталось примерно восемь суток».

Андрей поежился в кресле. Вот так они и неслись тогда к гибели, пятьдесят лет назад. И думали о том, как уберечь жизнь. С Землей-то все в порядке. Последние капли нефти упали в моря и реки еще в 70-х годах. Начиная с 1980-го порча природы рассматривалась как тягчайшее преступление.

Но вот с Утренней Звездой не вышло.

Он огляделся. Солнце уже опустилось за хребет Эйнштейна, наступили светлые венерианские сумерки. Андрей повернул рычажок звукоискателя, опять в кабину донесся кашель слоночеров. То было одно из последних стад на планете. Теперь уже знали, что именно от одетых в броню гигантов зависит рост трав — слоночеры как-то оплодотворяли движущиеся растения, но только в том случае, если двигались сами. Но двигаться они перестали. И людям тоже не удавалось сдвинуть их с места. Ничем не приманишь и не испугаешь. Тут было иначе, чем на Земле. Слоночеры не имели болевого центра в мозгу и болевых рецепторов в организме — во всяком случае, ни того, ни другого не удалось обнаружить. Пока трава была у них под ногами, они ее выедали, и все тут.

Андрей представил себе покинутые города — там, даль-

ше, за облысевшими холмами. Пустыни, где еще при его родителях леса шелестели под солнцем. Теперь это был почти лунный пейзаж — пыль и камень. Возможно, люди еще придут, когда в отдаленном будущем истощатся сырьевые ресурсы Луны. Но уже не так, как пришли в конце XX века. Будут установлены колпаки — защита от жарких солнечных лучей и пылевых бурь. Машины пророят глубокие шахты к залежам марганца, никеля, меди. Венера сделается обогатительной фабрикой, но не станет сбывшейся мечтой о прекрасном.

Предчувствие беды опять охватило его.

— Что такое? Откуда?

Может быть, ожидается действительно гигантское землетрясение. Одно, сильнейшее, было не так давно, но это не резон, чтоб второго не последовало сразу. Однако, не то было ощущение. Обессиливающее, не мобилизующее. Андрей вспомнил, как отец рассказывал о том, какой непонятный ужас овладевал людьми перед появлением декабра. На кой черт! Хищников уничтожили напрочь. Мамонта и то скорее встретишь в подмосковной роще на Земле, чем декабра здесь.

Дежурный встал, заходил по кабине, потом щелкнул переключателем на панели.

— Вост!

— Да.

— Слушай, я просто не могу. Что-то со мной делается. Не усидеть на месте.

— Мне тоже.

— Давай спустимся.

— Давай.

Андрей быстро вышел на площадку, сел в лифт. Выскочил вниз. Дверь, брошенная рукой, громко хлопнула.

Огляделся.

Станным, непривычным все вокруг стало. Опоры башен росли будто из тумана. Свет нескольких ленточных фонарей боролся с сумерками. Таинственностью заволокло здание электростанции, брошенные жилые блоки. Андрей неожиданно почувствовал, что не знает, что там дальше, за корпусами. Должно быть, пустые горы, а теперь неизвестно что.

Вост стоял неподалеку от первой стафометрической будки.

— Ну?

— Не знаю.— Голос у Воста был хриплый.— Говорят, вот так хотелось бежать от декабра.

— При чем тут декабрь?.. Скорее всего, просто одиночество. Понимаешь, на Земле человек не бывает одинок. Даже на необитаемом острове. Все равно есть окружающая планету атмосфера жизни.

— По инструкции,— Вост вдруг перешел на шепот,— мы должны быть в кабинах при угрозе землетрясения.

Туман сгустился, он лег полосами.

Второй дежурный схватил Андрея за руку:

— Слушай.

Странный звук возник и приблизился. Что-то вроде конского топота.

— Лошадь?.. Хотя какая тут может быть лошадь?

Они вглядывались в полосы тумана. Все стихло. Только в двух прозрачных будках стафометров — одна напротив другой — из распахнутых дверей доносилось негромкое тикание счетчиков, отмечавших боренье подземных сил глубоко внизу под почвой.

Какая-то тень возникала в молочной мгле, крупная, высокая, и у обоих одинаково разом сжалось сердце. Зловещим было это существо с раскачивающейся походкой, длинной мордой, мускулистыми передними лапами, которые висели вдоль тела.

Декабрь!.. Действительно, декабрь.

Зверь шел наобум, пошатываясь. Большие глаза, одновременно и жалобные и злые, глянули на затаивших дыхание Воста и Андрея пусто, слепо и не увидели их. Чуть полыхнувший ветерок донес запах гниения, свалившейся шерсти, какой-то тоски.

— Люди уходят, а он пришел,— прошептал Вост.— Он почувал, что мы уходим.

Декабрь вел себя, как пьяница, вдруг пробудившийся в незнакомом месте, в одиночестве. Попавший с окраины в центр, ночью, так, что все непонятно кругом, нигде ни души и не у кого спросить дорогу. Он смотрел и не видел, не признавая окружающее своим. В десяти шагах от Андрея он опустился на передние лапы — когти сложились в копыта,— скакнул, но неловко, косо. Поднялся опять и нырнул в туман. Стук его шагов удалялся постепенно, поворачивая вправо, к жилым блокам.

— Он слепой,— сказал Вост.— Может быть, ему сожгли глаза из пистолета.

Андрей помотал головой.

Не в этом было дело. Декабр просто не видел при искусственном свете — это выяснили еще при первых встречах. Но он перекрывал свою слабость развитым слухом и обонянием. Колонистам начальной эпохи не удавалось укрыться от него нигде. Хищник взбирался по отвесным каменным стенам, быстрый и верткий, как паук, цепляясь когтями за малейшие неровности. Он вламывался в окна, его не могли остановить даже металлические решетки. Начав охоту, он убивал обязательно, если прежде не успевали убить его.

Стук копыт приближался теперь, но с другой стороны.

— Сейчас он учует,— сказал Андрей.— Ветер от нас.

Декабр вновь возник из тумана совсем рядом, и Андрей, не успев понять, что делает, очутился в кабине лифта. Стукнула дверца, чуть зашелестел подъемник, и тут же человек услышал скрежет внизу. Декабр взбирайся по арматуре. На миг пришло в голову: «Доберусь до верха, а там — вниз. И так буду ездить. Вост тоже убежал, и все в порядке». Но сразу он вспомнил рассказ о том, что вот так погиб на строительстве обсерватории монтажник, пытавшийся спастись от неминуемой смерти. Зверь перегрыз трос, и кабина рухнула.

Андрей доехал до верха — черная мохнатая масса отстала всего метров на тридцать — и побежал по эстакаде. В просветах настила под ногами мелькали крыши складов, маленькие совсем. Поверхность озера вдали потемнела, сливаясь с холмами, небо сделалось черным, только над хребтом сохранилась светлая область.

Он добежал до обмерной площадки и сообразил, что не знает, куда дальше.

— Эй, скорее! — это был голос Воста.

Конец двадцатиметровой стрелы крана приближался к Андрею в воздухе. Он прыгнул, как акробат в цирке, схватился за какую-то поперечину, почувствовал, что его несет. Подтянулся, влез на арматуру, быстро пополз на четвереньках.

Вост, тяжело дыша, прошептал:

— Спрячемся в стафометрах. Они крепкие. Отсидимся.

Вдвоем они втиснулись в кабину второго лифта, до-



ехали вниз. Как на стометровой дистанции, бросились к будкам. Вост влез в одну, Андрей в другую рядом. Эти будки были самыми прочными сооружениями здесь, рассчитанными, чтоб выдержать, даже если завалит сотнями тонн грунта. И замки в дверях остались еще с той поры, когда персонал Центра жил с семьями, с детьми. Только места между прибором и стенкой было очень мало — как раз на одного.

Сначала Андрею показалось, что декабр совсем потерял их. Но зверь спустился с башни, принюхиваясь. Он снова ослеп, попав в зону искусственного света. Встал на



задние лапы, неуверенно побрел к стафометрам, Натолкнулся на столб фонаря, отскочил и, рассвирепев вдруг, взмахнул когтистой кистью. Столб упал, светящаяся лента оборвалась. Стало темнее на площадке, но для декабря положение переменялось. Он видел теперь. Выпрямился, решительно пошагал к той будке, где укрылся Андрей.

Он обнял будку когтистыми лапами и в упор посмотрел на человека. Их разделяла трехсантиметровой толщины прозрачная стенка.

Вост завопил в соседней будке, что-то крикнул. Но первый дежурный не повернул головы. Он смотрел на

декабра, понимая теперь, отчего первые колонисты называли его помесью волка с обезьяной.

Грудь, могучие плечи и шея заставляли вспомнить о горилле. А морда была с длинными челюстями, так что пасть могла разеваться на четверть метра. Глаза были прозрачные, большие с удлинённым разрезом. И уши стояли прямо, возвышаясь над плоским лбом.

Целую минуту декабр был неподвижен. «Думает ли он?» — спросил себя Андрей. Нет, вряд ли. И даже не удивляется ничему. Вот пришли люди, разрушили весь его прежний мир, наставили свои сооружения. Но у него и представления нет, какой была его планета миллионы лет прежде: ведь родители ничего не сообщили ему об этом. Он зверь и исходит из данной ситуации. Здесь пища, а перед ней преграда. Он мыслит только о себе, ему свойственна полная самостоятельность, он весь в «сейчас» и «тут», его не омрачают, не просветляют ни прошлое, ни будущее.

Все это было так, и в то же время взгляд декабра, казалось, опровергал все это. В нем чудилась тоска, осознание того, что он уже пережиток, реликт на планете, которой впредь надлежит быть только камнем. Боль невозможности дойти до разума, понять и высказать понятое. Как будто он отвечал своим взглядом Андрею, увидев в глазах человека ту информацию, что шла не на словесном, сознательном уровне, а на том другом, на котором когда-нибудь, возможно, сумеет общаться все живое в Солнечной системе. И несмотря на страх, Андрей не мог не ощутить гордую отчаянную силу животного, не мог не залюбоваться лапами декабра, мощными, массивными и при этом гибкими и «нервными», на которых связки, кровеносные сосуды и каждый мускул выступали резко, отчетливо, ежесекундно меняя меру выпуклости и напряжения.

Зверь вдруг жалобно завыл, прижался грудью к стеклу. Андрей отшатнулся.

Опять что-то крикнул Вост в своей будке и махнул рукой.

А затем Андрей почувствовал, что им пропущено нечто. Зверь прыгнул к Восту. Но даже не прыгнул, потому что самого движения не было видно. Просто декабр сначала был в одном месте, а потом сразу оказался в другом. Без промежутка.

Декабр обхватил вторую будку и потряс ее. Но она

стояла прочно. Тогда он поднял лапу, и резко проскрежестало что-то. Андрей в ужасе закусил губу, потому что кристаллизованное стекло поддалось. Пять тоненьких стружек — по одной из-под каждого когтя — брызнули в воздух, постояли и разрушились, падая. Снова взмах, и еще раз как будто струйки воды, внезапно иссякнувшей, повисли и опали. Зверь пустил в ход обе лапы, он рыл и царапал стекло, как собака роет землю. Через несколько секунд в двери образовалась дырка. Андрей видел, как Вост старается вжаться спиной в прибор.

Декабр попробовал сунуть лапу в отверстие, она еще не лезла. Он снова взялся царапать. Сама природа научила его этому: так он и мясо убиваемых им слоночеров добывал из-под стальной несокрушимости панциря.

Счетчик стафометра на уровне затылка Андрея зашелкал неожиданно громко, торопясь, захлебываясь. Но первый дежурный не услышал. В голове метались обрывки мыслей. «Вот он, Вост, рядом. Сейчас он погибнет... И пусть. Мы же ссоримся все время, пока остались здесь вдвоем. Даже сидеть не можем в одной кабине. Когда-то дружили, он был отличный парень, но теперь его присутствие непереносимо. Обрывает меня на каждом слове. Разве так можно?..»

Он нажал замок двери, ударил ее ногой и выскочил из будки.

— Эй, ты! Жри меня!.. На.

Но в этот момент стафометр за его спиной забился, заверещал. Что-то сгустилось в воздухе, он стал ощутимым, плотным. Свирепо дрогнула почва, металлические конструкции Центра задрожали, зазвенели. Один удар, второй... Андрей почувствовал, что его поднимает.

При первом толчке землетрясения декабр сделал гигантский прыжок от будки на открытое место. Он сел, как собака, уперев передние лапы в песок, подняв вверх морду, прислушиваясь.

Еще раз качнулась почва, Андрей едва устоял на ногах.

Стафометр забормотал и смолк. Стало тихо. Издалека, со стороны озера, где расположились слоночеры, донесся хриплый кашель.

Первый дежурный смотрел на декабра. Тот прислушивался, вытянув шею. Поднял лапу, поскреб себе грудь. Завертелся на месте и опять застыл.

Еще раз едва уловимо донесся кашель издалека.

Декабр стал во весь рост, сделавшись очень похожим на человека. Опустился на все четыре лапы и уверенным галопом поскакал прочь.

Стук копыт слышался некоторое время и стих.

Андрей глубоко вздохнул. Силы вдруг оставили его. Он сел на землю.

Распахнулась дверь второй будки. Вост вышел, пошатываясь. Он сделал несколько шагов как-то бесцельно, оглядываясь по сторонам. Остановился, рванул с пояса пистолет, направил его на стафометрическую будку.

Ярко, ослепляюще вспыхнул пятиметровый рукав плазменного пламени, белого в середине, синего по краям. Пахнуло жаром. Будка, вся оплавленная, покосилась. Вост направил пистолет на столб фонаря. Вспышка — и столб покосился.

Потом второй дежурный отшвырнул пистолет, подошел к Андрею и опустился рядом с ним на песок.

— Ты понял, что я тебе кричал?.. Чтоб ты не выстрелил.

— Я бы и не стал стрелять,— сказал Андрей.

— И я бы не стал.— Вост кивнул.— Даже если б он сожрал тебя. И если потом меня тоже.

Уже совсем стемнело кругом.

Пустыни Венеры, ее горные хребты лежали там во мраке. И где-то в неизвестном убежище выжили, выдержали несколько последних декабров. Люди покинули планету, и один из прежних хозяев вышел на разведку.

— Не может быть, чтоб он сохранился единственным,— сказал Андрей.— Их тридцать лет не видели, а живут они меньше. Значит, где-то сохранились.

Вост открыл рот, намереваясь что-то сказать, но тут они оба опять почувствовали колебания почвы. Однако стафометр в будке молчал. То было не землетрясение, другое. Там, между башнями и озером, двинулись в путь тяжеловесные слоночеры. Древний инстинкт не изменил декабру. Он ворвался в стадо, калеча и убивая слабых. Погнал могучих животных, которые были устроены так, чтоб бояться только его одного. Заставил двинуться тех, от чьего движения зависел тут круговорот жизни.

Андрей и Вост посмотрели друг на друга, затем оба подались вперед, прислушиваясь.

И он пришел.

Издалека, все обнимая, исподволь, низом сначала и поднимаясь все выше, донесся звук органной басовой трубы. То вожак слоночерьега стада поднимал своих подданных к бою и бегу.

Вост взял руку своего друга:

— О, если бы!..

И Андрей ответил ему пожатием.

О, если сохранился где-нибудь хотя бы десяток нежных самок декабра и свирепых самцов! Если б не подрезали под корень этот вид! Тогда взведенная на планете пружина жизни опять возьмет свое. Трава пойдет в рост, лесами оденутся горы, выюжными метелями полетят белые бабочки. И люди вернутся сюда, но уже по-другому. И синим станет небо над Утренней Звездой.

Андрей вскочил.

— Бежим! Надо дать радио на Землю — всем, всем, всем! Пусть сегодня же узнает весь мир.

А к органному призыву вожака присоединились другие самцы. И дрожали холмы.

СОДЕРЖАНИЕ

Мечта	5
Дом с золотыми окошками	30
Соприкосновение	63
Электрическое вдохновение . . .	94
Восемнадцатое царство.	112
Но если...	134
Ослепление Фридея	151
Полигон	172
Доступное искусство	192
Три шага к опасности	206
Спасти декабря!	252

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Гансовский Север Феликсович

ТРИ ШАГА К ОПАСНОСТИ

Научно-фантастические рассказы

Ответственный редактор И. М. Б е р к о в а. Художественный редактор Е. М. Гуркова. Технический редактор В. К. Егорова. Корректоры Л. М. Короткина и К. П. Тягельская.

Сдано в набор 16/I 1969 г. Подписано к печати 30/VII 1969 г. Формат 84x108¹/₃₂. 8,5 печ. л, 14,28 усл. печ. л. (14,94 уч.-изд. л.). А 07784. Тираж 100 000 экз. ТП 1969 № 585. Цена 62 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 3090.



